

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1974

## СОДЕРЖАНИЕ

Р. А. Будагов (Москва). Категория значения в разных направлениях современного языкознания . . . . .	3
Г. А. Климов (Москва). Фридрих Энгельс о критериях языковой идентификации диалекта . . . . .	21

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. Краус (Прага). К общим проблемам социолингвистики . . . . .	27
В. К. Журавлев (Москва). Генеzis аканья с точки зрения теории нейтрализации . . . . .	37
Ю. Н. Караулов (Москва). О некоторых лексикографических закономерностях . . . . .	48
В. М. Живов (Москва). Проблемы синтагматической фонологии в свете фонетической типологии языков. . . . .	57
В. Б. Касевич (Ленинград). О восприятии речи . . . . .	71

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. Э. Базелл (Лондон). Маргинальные звуковые законы . . . . .	81
Е. И. Царенко (Донецк). К вопросу о фонологической системе протокечуа . . . . .	87
Р. З. Мурясов (Уфа). Некоторые вопросы словообразовательной структуры слова . . . . .	97
И. Г. Добродомов (Москва). Отражение двух разновидностей ротацизма в болгарских заимствованиях славянских языков . . . . .	106
А. А. Дементьев (Куйбышев). О так называемых «интерфиксах» в русском языке . . . . .	116

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

В. З. Панфилов (Москва). А. Н. Жукова. Грамматика корякского языка. Фонетика и морфология . . . . .	121
С. М. Толстая (Москва). А. Zareba. Atlas językowy Śląska . . . . .	125
А. И. Моисеев (Ленинград). А. Bartoszewicz. История суффиксальной отсубстантивной деривации существительных в русском литературном языке . . . . .	129
А. Е. Карпович (Ленинград). А. Mielczarek. Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej . . . . .	131
В. М. Моквиенко (Ленинград). Л. К. Скрипник. Фразеологія української мови . . . . .	135
Г. В. Степанов (Москва). Revista española de lingüística . . . . .	138

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	143
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,  
 Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),  
 Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
 О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Р. А. БУДАГОВ

КАТЕГОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

Проблема значения (семантики)<sup>1</sup> решается с диаметрально противоположных позиций в разных направлениях лингвистики наших дней. Для одних ученых без категории значения в лексике и грамматике не может быть и речи о лингвистической науке, другие же ученые всячески подчеркивают, что категория значения является внешней по отношению к языку, а поэтому и не имеет никаких оснований занимать какое-то положение в науке о языке. Не касаясь пока вопроса о том, что такое значение, подчеркнем исходное различие при определении места категории значения. Только что отмеченное различие не дает никаких оснований говорить о «категории значения в современной лингвистике», как это обычно делают<sup>2</sup>. Можно лишь ставить вопрос о категории значения в р а з н ы х направлениях современной лингвистики. Уже тот факт, что диапазон оценок категории значения колеблется от нуля до признания ее исключительной важности, не позволяет говорить о единстве современной лингвистики. Эта последняя предстает перед нами в своих р а з л и ч н ы х н а п р а в л е н и я х, теоретически и методологически нередко совершенно противоположных и несовместимых.

Проблема резко осложняется, если учтем, что даже в тех языковедческих теориях, которые уделяют значению внимание, сама категория значения понимается настолько различно, что не позволяет говорить об однолинейном противопоставлении: «признание значения» — «непризнание значения». Приходится постоянно иметь дело с многомерным противопоставлением: признание значения с одних теоретических позиций — признание значения с других теоретических позиций и при другом понимании самого значения — сведение значения к разнообразным иным категориям (о чем дальше) — выведение значения за пределы науки о языке как категории экстралингвистической и т. д.

Подчеркну с самого начала, что в дальнейшем изложении *значение слова* я истолковываю как понятие, выраженное в данной системе языка, преломленное сквозь его призму. Что же касается собственно *понятия*, то это — мысль о предмете, выделяющая в нем общие и обычно наиболее существенные признаки. Понятие — общечеловеческая категория, хотя и зависящая от степени развития мышления разных народов. Значение слова, напротив, прежде всего категория данного языка, чаще всего существующая лишь в пределах его системы. Слово — единство значения и звучания. Столь же существенно значение и в грамматике. Здесь оно выс-

<sup>1</sup> В дальнейшем изложении *семантика* и *значение* употребляются как абсолютные синонимы.

<sup>2</sup> См., например, сб. «Проблемы грамматического моделирования» (М., 1973), в котором почти на каждой странице говорится о *современной лингвистике* без всякой дифференциации (в частности, на стр. 53, 56 и многих других).

туает в более обобщенном, чем в слове, виде, в категориальной форме. Это позволяет нам говорить о значении различных грамматических категорий, об их смысловых функциях в словосочетаниях и предложениях.

Чтобы разобраться в основных разногласиях в истолковании категории значения, необходимо проанализировать такие языковые материалы, которые на первых порах могут показаться элементарными. Между тем, опираясь именно на такие материалы и не уходя в область более сложных отношений, можно показать, в чём и как обнаруживаются основные теоретические расхождения в недрах разных направлений современной лингвистики. Подобные расхождения выступают наиболее отчетливо при осмыслении прежде всего повседневного языкового материала.

В истории русского и советского языкознания категория значения в лексике и грамматике всегда была в центре внимания исследователей. Стоит только вспомнить разыскания Буслаева, Потебни, Крушевского, Богородицкого, Шахматова, Корша, Щербы, Виноградова, Пешковского, Покровского, Винокура и многих других, чтобы убедиться в этом. Лишь у Фортунатова и некоторых его последователей категория значения как бы временно была отодвинута на задний план. Фортунатову казалось, что пристальный интерес к «формам языка» в широком смысле неизбежно вызывает ослабление внимания к его содержательным категориям. Впоследствии этот же довод — на мой взгляд, несостоятельный — станет встречаться и у других сторонников чисто формального изучения языка. И все же до шестидесятых годов нашего столетия большой и постоянный интерес к содержательным категориям языка (и в лексике и в грамматике) был всегда характерен для русской и советской лингвистической традиции.

В этом нетрудно убедиться. Стоит лишь обратиться к соответствующим фактам. В своем замечательном «Синтаксисе русского языка», впервые изданном уже посмертно в 1925 г., А. А. Шахматов подчеркивал, что синтаксис любого языка может плодотворно анализироваться лишь при учете глубокого взаимодействия языка и мышления, предложения и суждения<sup>3</sup>. В этом же, 1925 г., А. М. Пешковский публикует статью «В чем же, наконец, сущность формальной грамматики?», в которой доказывает, что попытки отдельных лингвистов вывести категорию значения за пределы грамматики и, шире, за пределы языкознания, обрекают грамматику на гибель, на бесплодное «описательство»<sup>4</sup>. В 1934 г. Л. С. Выготский в книге «Мышление и речь» прямо заявляет: «Слово, лишенное значения, не есть слово. Оно есть звук пустой, следовательно значение есть необходимый, конституирующий признак самого слова»<sup>5</sup>. Аналогичные принципы еще более последовательно и настойчиво защищались большинством советских лингвистов в сороковые и пятидесятые годы. Как мы увидим дальше, статус семантики осложнился в некоторых направлениях советского языкознания лишь за последние десять — пятнадцать лет.

Иначе сложились отношения к семантике у американских исследователей. Не имея столь глубоких традиций в прошлом, как советские ученые, американские лингвисты нашего столетия долго рассматривали семантику как метафизический феномен, по их мнению, типичный для «философствования европейских лингвистов». Американские исследователи обнаруживали в этом плане «туманные намерения» даже у Соссюра, не отказавшегося от понятий *значения* (*le sens*) и *ценности* (*la valeur*) в лингвистике. В 1963 г.

<sup>3</sup> См. об этом, в частности: Е. С. Истрина. Вопросы учения о предложении по материалам архива А. А. Шахматова, сб. «Академик А. А. Шахматов», М.—Л., 1947, стр. 317 и сл.

<sup>4</sup> А. М. Пешковский, Сборник статей, М.—Л., 1925, стр. 5.

<sup>5</sup> Л. С. Выготский, Мышление и речь, М.—Л., 1934, стр. 262.

американский ученый У. Вейнрейх так и писал, что понятие *значения* мучило лингвистов свыше ста лет, со времен А. Шлейхера, и что избавиться от этих мучений можно лишь одним способом — объявить полную автономность семантических и грамматических категорий в науке о языке<sup>6</sup>. Еще категоричнее оказывается Н. Хомский. В своих «Синтаксических структурах» он заявляет: «Много сил потрачено на то, чтобы ответить на вопрос: „Как построить грамматику, не обращаясь к значению?...“». С тем же правом можно спросить: „Как построить грамматику, не зная ничего о цвете волос говорящих?“<sup>7</sup>.

В 1964 г. один из советских лингвистов в предисловии к «Словарю американской лингвистической терминологии» Э. Хэмпта, отмечая отсутствие в словаре каких бы то ни было семантических терминов, подчеркивал «национальное отвращение к семантике» у большинства заокеанских языковедов. Вместе с тем автору предисловия казалось, что в наше время положение семантики меняется: интерес к ней рождается и у американских исследователей<sup>8</sup>. Можно утверждать, что у большинства советских лингвистов мы обнаруживаем пристальный интерес к семантике, в то время как у большинства американских исследователей этот интерес не самоочевиден: проблемы семантики нередко оцениваются ими иронически, как проблемы метафизические, экстралингвистические, как проблемы, сама постановка которых мешает формализации языка, формализации приемов его изучения.

Как только что было подчеркнуто, «соотношение сил» несколько изменилось за последние десять — пятнадцать лет. И среди советских лингвистов появились защитники тезиса, согласно которому категория значения является внешней по отношению к языку. Даже в лексике семантика стала объявляться нелингвистическим понятием.

«Отрицать у слов значение, — пишет, например, А. А. Реформатский, — никто не собирается, и в очень многих случаях этим и должен заниматься ученый. Но какой ученый? Кто по специальности? Вряд ли лингвист, если лингвист изучает язык как систему и структуру»<sup>9</sup>. Здесь совершенно прямо и недвусмысленно понятие *значения* противопоставляется понятию *системы* (структуры): либо значение, тогда нет системы, либо система, тогда не может быть значения. Пусть значением занимаются другие ученые (нелингвисты). Против этого автор не возражает. Лингвисты же, обязанные рассматривать язык как систему, тем самым лишают себя возможности заниматься проблемой значения. Такова логика рассуждений А. А. Реформатского.

Как это ни странно, анализируемая доктрина, полностью исключая семантику и семасиологию из науки о языке, была достаточно популярна в шестидесятых годах среди некоторой части советских лингвистов<sup>10</sup>. Эта же доктрина находит сторонников и в наши дни. Так, например, Д. Н. Шмелев, приводя только что цитированные слова А. А. Реформатского, замечает: «... при всей привлекательности идеи (? — Р. Б.) о не-

<sup>6</sup> У. Вейнрейх, О семантической структуре языка, сб. «Новое в лингвистике», V, М., 1970, стр. 197.

<sup>7</sup> Сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 505. Здесь обнаруживается постоянное стремление Н. Хомского, к сожалению, характерное и для некоторых других лингвистов наших дней, выражать свои мысли с помощью парадоксов. Но парадоксы весьма редко продвигают науку вперед.

<sup>8</sup> Э. Хэмпт, Словарь американской лингвистической терминологии, М., 1964, стр. 7.

<sup>9</sup> См.: А. А. Реформатский, Термин как член лексической системы языка, сб. «Проблемы структурной лингвистики. 1967», М., 1968, стр. 114.

<sup>10</sup> Ср., например: «значение — категория неязыковая по своей природе» (А. А. Волков, Язык как система знаков, М., 1966, стр. 61).

которой освобожденной от значения „сетки значимостей“ неясно, как можно изучать номинативные единицы, как таковые, игнорируя их номинативную функцию»<sup>11</sup>. Здесь тот же вопрос ставится уже более «хитро». Как и А. А. Реформатский, Д. Н. Шмелев убежден, что «освобождение от значения» в семасиологии весьма желательно («привлекательная идея»). Весь вопрос, однако, по мнению автора, сводится к тому, что осуществить подобное освобождение трудно: факты мешают операции освобождения лексики от значений. Как одному, так и другому исследователю кажется, что идеалу строгого анализа в лексике соответствует принцип «без значения». Различие между ними лишь в том, что в первом случае перевод подобного принципа из сферы теории в сферу практики представляется легко осуществимым, а во втором — трудно осуществимым. Признание подобной трудности дорого обходится ученому: ему приходится ввести в науку новый термин — *значимость*, при этом никак не разъясняя различия между *значением* и *значимостью* в пределах лексики.

Последовательное развитие тезиса Д. Н. Шмелева неизбежно привело бы к необходимости отказаться от мысли написать книгу под названием «Проблемы семантического анализа лексики». В самом деле. Уже само название должно убедить читателя: либо книга написана против «привлекательной идеи» об освобождении слова от его же значения, либо такого рода «освобождение» — это всего лишь фраза, дань странной моде, согласно которой строгость формального анализа в лексике будто бы несовместима с признанием важнейшей роли категории значения в той же лексике, а следовательно, и в науке о лексике, в семасиологии.

В истории языкознания подобная попытка — исключить категорию значения из лексики и грамматики — делалась неоднократно. Известны такого рода эксперименты в разное время, особенно в двадцатые годы нашего столетия. Так, в 1927 г. Г. Шпет в своей книге «Внутренняя форма слова», иронизируя над проблемой взаимодействия формы и содержания, утверждал: «... чтобы найти содержание языковой формы, надо выйти за границы языка»<sup>12</sup>. Вся беда, однако, в том, что книга Г. Шпета имела подзаголовок — «Этюды и вариации на темы Гумбольдта». Между тем известно, что вся философия языка выдающегося мыслителя В. Гумбольдта стремилась проникнуть в содержательные (смысловые) категории языка. Шпету и неудивительно, что, противореча своему же утверждению, Г. Шпет в этой же книге защищал и прямо противоположный тезис: «... понятие так мало может быть отрешено от слова, как человек от своей физиономии»<sup>13</sup>. Получалось, будто бы слово, минуя свое значение, вместе с тем неразрывно «прикреплено» к понятию (человек и его физиономия). Пренебрежение к значению жестоко мстило за само это пренебрежение: исследователь стал смешивать ряд языковых явлений и ряд явлений понятийного характера.

<sup>11</sup> Д. Н. Ш м е л е в, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 16. Аналогичная постановка вопроса в очень странной брошюре: А. А. В е т р о в, Методологические проблемы современной лингвистики, М., 1973, стр. 39—41. Здесь почти на каждой странице находим утверждения, с лингвистической точки зрения невозможные. Например: «Есть основания полагать, что именно синонимия и омонимия представляют собой главные препятствия на пути формальных исследований. Но синонимия и омонимия свойственны не всем языкам» (стр. 38—39). Как это так — «не всем языкам»? Автор и не подозревает, что он защищает концепцию, весьма неблагоприятную для сторонников «полной формализации языка»: чем богаче язык (синонимы), чем он сложнее (омонимы), тем труднее он поддается формализации. Но языки в процессе развития и совершенствования действительно становятся все богаче и все сложнее. Тем самым они «уходят» от возможности формализации в том ее понимании, которое защищает А. А. Ветров.

<sup>12</sup> Г. Ш п е т, Внутренняя форма слова, М., 1927, стр. 14.

<sup>13</sup> Там же, стр. 25.

Мы видим, таким образом, что противник у категории значения вполне реальный. Он существовал раньше, он существует и теперь. В наше время подобный противник обычно осторожнее формулирует свои возражения против категории значения, чем он это делал в прошлом. Чаще всего отрицается значение не «вообще», а значение как объект лингвистического изучения, причем само отрицание проводится под флагом защиты специфики языка. Самому значению от этого, разумеется, не легче: в обоих случаях оно оказывается за бортом науки о языке.

## 2

Противники категории значения обычно любят ссылаться на практику. Они рассуждают примерно так: практика изучения системы в лексике показывает, что без категории значения подобную систему понять легче, она предстает как более стройная и непротиворечивая, чем в тех случаях, при которых категория значения (прихотливая, противоречивая и будто бы субъективная) учитывается. Но ссылки на практику здесь бьют мимо цели. Серьезные практики-лексикологи и практики-лексикографы чаще всего приводят прямо противоположные доводы. Они подчеркивают, что без категории значения ничего нельзя понять ни в лексикологии, ни в лексикографии.

Приведу здесь лишь два весьма авторитетных свидетельства. Проработав свыше двенадцати лет над «Этимологическим словарем русского языка», М. Фасмер позднее подчеркивал: «Если бы мне пришлось начать работу снова, я уделил бы больше внимания... семасиологической стороне»<sup>14</sup>. Другой, не менее известный лингвист В. Вартбург, обобщая более чем сорокалетний опыт своей работы над капитальным, многотомным этимологическим словарем французского языка, пишет: «У будущих поколений вызовет улыбку пренебрежение семантикой и всесторонней жизнью слова, характерное для некоторых направлений современной лингвистики, точно так же, как теперь у нас вызывает улыбку та наивность, с которой в XVII столетии Менаж оперировал фонетическими соответствиями»<sup>15</sup>.

Подобные свидетельства доказывают, что ссылки на практику у анти-семантиков несостоятельны. Действительно серьезная практика требует как раз противоположного — всестороннего учета значений слов в процессе работы не только над лексикографией, но и над лексикологией. То, о чем писали Фасмер и Вартбург применительно к этимологическим словарям, в такой же степени относится, в частности, и к словарям толковым, где классификация, группировка и истолкование современных значений каждого слова превращается в важнейшую задачу составителей самих словарей. Без этого условия никакой толковый словарь немислим в нашу эпоху. И составители больших национальных словарей подобного типа неоднократно писали об этом.

Отрыв от конкретного, собственно языкового материала естественных языков народов мира, пагубно отражается на характере рассуждений о форме и содержании у тех лингвистов, которые сами никогда не находились «в гуще» подобного материала, никогда не исследовали отдельных языков или групп языков во всей их сложной непосредственной данности. Это сейчас становится все более и более очевидным. Поэтому вполне правомерно ставят вопрос те ученые, которые подчеркивают, что в наши дни прогресс в области семантики невозможен без параллельной и кропотли-

<sup>14</sup> М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, I, М., 1964, стр. 14 («Послесловие автора»).

<sup>15</sup> W. v o n W a r t b u r g, Problèmes et méthodes de la linguistique, Paris, 1963, стр. 125.

вой работы над конкретным материалом различных языков человечества<sup>16</sup>. У Э. Бенвениста были все основания заявить в 1962 г. на IX Международном конгрессе лингвистов: «Соотношение формы и значения многие лингвисты хотели бы свести только к понятию формы, но им не удалось избавиться от ее коррелята — значения. Что только ни делалось, чтобы не принимать во внимание значение, избежать его и отделаться от него. Напрасные попытки — оно, как голова Медузы, всегда в центре языка, околдовывая тех, кто его созерцает»<sup>17</sup>.

Забегая несколько вперед, замечу, что вопрос о том, входит ли значение или значения (при обычной для языка полисемии) в понятие самого слова, — это вопрос принципиально-методологического характера, исключительно важный для теоретической позиции всякого серьезного исследователя. Слово не может быть простым знаком, если значение признается его органической и важнейшей частью. Вместе с тем слово может «обернуться» знаком при условии, когда категория значения выводится за пределы самого слова. Следовательно, от решения первого вопроса зависят многие другие вопросы, играющие едва ли не главную роль в построении лингвистической теории.

В середине пятидесятых годов А. И. Смирницкий справедливо писал: «...где же область значения слова — *внутри* слова или *вне* его?»

Самый этот вопрос может показаться несколько наивным: слово — не коробочка, не орех или что-либо иное, о чем можно говорить „*внутри*“ или „*вне*“<sup>18</sup>. И все же это так, но в особом, гносеологическом смысле. Значение слова — «не просто связь звучания с обозначаемым предметом или явлением, а связь звучания с отображением предмета или явления... то, что здесь названо *отображением* предмета или явления, занимает центральное положение...»<sup>19</sup>. Как видим, интерес к внутреннему содержанию слова закономерно приводит исследователя к методологически важному заключению о слове, как средстве отображения предметов и явлений окружающего нас мира.

За последние десять — пятнадцать лет противники категории значения как категории лингвистической, стали прибегать к тактике, которая в другой связи и по другому поводу остроумно была названа одним из исследователей «тактикой упреждающего удара»<sup>20</sup>. Анализируя книги Ю. М. Лотмана, в том числе его «Структуру художественного текста» (М., 1970), Ю. Я. Барабаш воспроизводит аргументацию Лотмана и его сравнения фонвизинского Митрофана с противниками абстрактного мышления и фонвизинского учителя Цыфиркина со сторонниками отвлеченного мышления. Митрофану, как известно, *дверь* могла представляться именем прилагательным («потому что она приложена к своему месту») а Цыфиркин пытался безуспешно убедить великовозрастного болвана, что это не так. Цыфиркин понимал роль простейших научных отвлечений. Митрофан же и его матушка ничего не понимали. Подобно этому, современные защитники «чистой формы» в лексике и грамматике понимают функцию отвлечений и обобщений, тогда как сторонники смысловых «наполнений» в той же лексике и в той же грамматике этого не понимают. И хотя сам Ю. М. Лотман подобное сравнение ограничивает рамками поэ-

<sup>16</sup> G. M o u n i n, *Clefs pour la sémantique*, Paris, 1972, стр. 160.

<sup>17</sup> Сб. «Новое в лингвистике», VI, М., 1965, стр. 443.

<sup>18</sup> А. И. С м и р н и ц к и й, *Значение слова*, ВЯ, 1955, 2, стр. 81—82 (курсив мой. — Р. Б.).

<sup>19</sup> Там же, стр. 83.

<sup>20</sup> Ю. Я. Б а р а б а ш, *Вопросы эстетики и поэтики*, М., 1973, стр. 236—237 (хотелось бы выделить последнюю главу этой книги «Этот неотступный Сальери», написанную ярко и убедительно).

тики (сторонники и противники «чисто структурного» изучения художественных произведений), *mutatis mutandis* сказанное можно распространить на лексику, и на грамматику. Смотрите, мол, защитники семантики, вот кто ваши предшественники и единомышленники: не Цыфиркины, а Митрофанушки!

Сейчас я постараюсь показать, что «тактика упреждающего удара» широко применяется представителями одного из направлений лингвистики наших дней.

«...характеристика лингвистических единиц,— пишет С. К. Шаумян,— как пучков отношений, не дает никакого повода утверждать, что „материя исчезла, остались одни отношения“. В самом деле, отношения принадлежат к объективной реальности не меньше, чем другие свойства материи, и занимаясь изучением элементов языка, как пучков отношений, мы занимаемся тем самым изучением определенных сторон объективной реальности, то есть изучением определенных сторон материи»<sup>21</sup>. Обратим внимание на аргументацию автора. Он снимает проблему взаимодействия материи и отношений, в которых находится данная материя (в нашем случае — материя конкретных языков). По мнению автора, сами отношения одновременно и составляют материю языка. Не замечая своей же непоследовательности, исследователь, с одной стороны, отождествляет материю и отношения, в которых находится эта материя, а с другой,— как будто бы признает у материи наличие других свойств, помимо свойств, передающих отношения («...другие свойства материи»). Отношения и есть объективная реальность, отношения и есть материя. Материя не исчезла, ибо она выступает в самих отношениях. Такова концепция автора.

По моему глубокому убеждению, речь идет здесь о релятивистической концепции языка. Эта концепция имеет многих сторонников и в зарубежной науке и среди небольшой части советских лингвистов. Еще в 1957 г. можно было прочесть: «В плане чисто лингвистическом значение слова определяется его потенциально возможными сочетаниями с другими словами, которые составляют так называемую лексическую валентность слова»<sup>22</sup>. Получается, что значение слова — это лишь его отношение к другим словам. Субстанция слова не выявляется. Значение и отношения отождествляются. Тем самым снимается проблема взаимодействия значений и отношений, в системе которых бытует каждое данное значение.

Эта концепция, разумеется, не нова. Еще в 1943 г. датский лингвист Л. Ельмслев в своих «Пролегоменах к теории языка» заявлял: «Признание того факта, что целое состоит не из вещей, но из их отношений и что не субстанция, но только ее внутренние и внешние отношения имеют научное существование, конечно, не является новым в науке, но может оказаться новым в лингвистике»<sup>23</sup>. Здесь прямо переносится старая релятивистическая концепция из философии в лингвистику.

Между тем марксисты уже давно доказали, что субстанция и отношения — это разные понятия, которые недопустимо ни смешивать, ни отождествлять. К. Маркс в первой же главе первого тома «Капитала», на основе анализа огромного фактического материала, показал и доказал, что «...свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении»<sup>24</sup>. Эта классическая по своей ясности и точности формулировка имеет большое методологическое значение и целиком подтверждается материалом языков народов мира.

<sup>21</sup> С. К. Шаумян, Философские вопросы теоретической лингвистики, М., 1971, стр. 150.

<sup>22</sup> В. А. Звегинцев, Семасиология, М., 1957, стр. 123.

<sup>23</sup> См. сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 283.

<sup>24</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 23, 1960, стр. 67.

Многозначность слова, например, типичная для любого естественного языка, обнаруживает себя во всей своей функциональной подвижности во взаимодействии с другими словами и словосочетаниями одного и того же языка. Вместе с тем полисемия слова существует и вполне объективно, как свойство самой лексической «материи», независимо от тех или иных отношений, в которых оказывается эта материя. Полифункциональность категории падежа или категории времени (грамматическая полисемия), свойственная языку объективно, проявляет всю свою силу во взаимодействии с другими грамматическими категориями, во взаимодействии с контекстом в широком смысле. Поэтому отношения иногда способны создавать видимость того, что они сами являются субстанцией. Но это только видимость. Способствуя выявлению многоаспектных свойств субстанции, отношения как бы перетягивают на себя часть свойств самой субстанции. И все же это только «как бы». Всякий серьезный исследователь, имеющий дело с конкретным материалом разных языков, не имеет права смешивать то, что в самом языке никогда не смешивается. Поэтому ученые-материалисты имеют все права для обобщения: свойства любой вещи существуют вполне объективно.

## 3

В наше время многие исследователи настойчиво подчеркивают, что «релятивизация понятия о значении» является достижением науки XX столетия. В прошлом веке категорию значения рассматривали как категорию всегда абсолютную и не понимали всей ее сложности<sup>25</sup>. С этим утверждением можно было бы согласиться, но с неизменными двумя оговорками. Во-первых, классики марксизма уже в прошлом столетии прекрасно понимали сложность и многоаспектность категории значения. Во-вторых, из признания самого факта известной относительности значения можно сделать два противоположных, взаимно исключающих друг друга вывода: вывод несостоятельный, согласно которому релятивизация понятия о значении исключает объективность существования самого значения, и вывод обоснованный, фактически подтверждаемый материалом всех языков, согласно которому известная и частичная релятивизация категории значения нисколько не препятствует ее же совершенно объективному бытованию в языках народов мира. Таковы два, взаимно исключающих друг друга, вывода, следующие из признания несомненного факта частичной релятивизации значения.

Гиперболическая релятивизация категории значения несостоятельна не только теоретически, но и практически. Стоит только согласиться с подобного рода релятивизацией, так сейчас же последуют заключения еще более общего характера. По мнению, например, Н. Хомского, проблема взаимодействия субстанции и формы в языке и языкознании — это схоластическая проблема, так как сама субстанция представляется автору неуловимой<sup>26</sup>. Между тем не подлежит никакому сомнению, что именно эта проблема, как и проблема взаимодействия категорий значения и отношения, принадлежит к центральным проблемам теоретической лингвистики.

За последние десять — пятнадцать лет категория значения обычно отрицается, однако, не так прямо, а завуалированно, как бы стыдливо, с некоторыми оговорками. Имеется множество способов подобного завуалированного отрицания категории значения. Рассмотрим некоторые из них.

<sup>25</sup> Ср., например: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Содержание слова, значение и обозначение, М.—Л., 1965, стр. 89.

<sup>26</sup> Н. Х о м с к и й, Язык и мышление, М., 1972, стр. 17.

С одним из таких способов отрицания мы только что познакомились: отношения в языке будто бы и составляют сумму его значений. Второй способ аналогичного рассуждения: никто, дескать, не отрицает категорию значения, так как в языке все принадлежит области значения<sup>27</sup>. Как это ни странно с первого взгляда, от такого чрезмерного расширения сферы распространения категории значения сама эта категория становится совершенно неясной. Если в языке «все значение» (заключение, идущее в разрез с материалом любого языка), то как же это «все» передается в языке? Не говорю уже о том, что такая постановка вопроса точно так же снимает проблему в а и м о д е й с т в и я содержания и формы, значения и отношения, как и прямое отрицание значения. Я бы назвал подобный прием отрицанием категории значения с черного хода.

Прямое или косвенное отрицание значения, еще часто встречавшееся в шестидесятых годах, теперь уже перестало пользоваться кредитом у большинства советских лингвистов. Сейчас, в наши дни, обнаруживается стремление установить специфику чисто лингвистической категории значения в отличие от значения как категории философской, логической, психологической и т. д.

«...настало время отграничения лингвистической семантики от семантики отражения, т. е. области, входящей в ведение философии, логики, психологии и т. п. Совокупность объектов лингвистической семантики — слова каждого конкретного языка и их сочетания с номинативным значением, рассмотренные с содержательной стороны. Семантика отражения должна заниматься, по нашему мнению, возможностью отражения в сознании особенностей реального мира как основы познания, не будучи связанной данными определенных языков...»<sup>28</sup>. Подобный тезис, как будто бы совершенно беспорядный, при более внимательном его рассмотрении не может не вызвать возражений. Перечислим их, начиная с более частных и переходя затем к замечаниям более общего характера.

Непонятно, во-первых, почему лингвистическая семантика ограничивается сферой лексики (слово). Известно, что категория значения (тоже специфичная) не менее важна и в сфере морфологии, синтаксиса, фразеологии, стилистики. Разумеется, можно и должно говорить о своеобразии категории значения в каждой из этих и им подобных сфер или областей языка, но это несколько не умаляет огромной важности категории значения во всех перечисленных сферах (все они в компетенции лингвиста). Во-вторых, разграничение «лингвистической семантики» и «семантики отражения», само по себе необходимое и разумное, будет перспективным и интересным лишь в том случае, когда исследователю удастся показать формы и типы взаимодействия обеих этих разновидностей семантики. В противном случае «лингвистическая семантика», окажется замкнутой в самой себе. Останется неясным, как с помощью «лингвистической семантики» люди передают друг другу свои мысли и чувства, как они выражают свое отношение к окружающему их миру. «Л и н г в и с т и ч е с к а я с е м а н т и к а» б е з о п о р ы ж н а «с е м а н т и к у о т р а ж е н и я» п р е д с т а н е т м е р т в о р о ж д е н н о й. В-третьих, наконец, «чем более отвлеченным и общим является понятие, тем меньшую роль играют сопровождающие его конкретные предметные чувственные образы и тем большее значение приобретает для него чувственная форма слова... по

<sup>27</sup> W. S c h m i d, Poetische Sprache in formalistischer Sicht, «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», Wiesbaden, 1973, 3, стр. 260—270. «Вся грамматика — это сплошная область значений», — писал еще в 1917 г. Г. Шухардт («Schuchardt — Brevier», Halle, 1928, стр. 135).

<sup>28</sup> Н. А. С л ю с а р е в а, Проблемы лингвистической семантики, ВЯ, 1973, 5, стр. 15.

мере возрастания обобщенности понятий связь между понятием и словом становится все более тесной, а для абстрактных понятий, непосредственно не связанных ни с какими наглядными образами вещей, слова оказываются единственной формой существования понятий, их осознания, их жизни и функционирования»<sup>29</sup>.

В этом свете становится очевидным, что попытка представить себе «семантику отражения» вне всякой зависимости от конкретных естественных языков наталкивается на серьезные препятствия гносеологического характера. Самый принцип нерасторжимой связи языка и мышления выступает против построения «семантики отражения» вне всякой зависимости от конкретных языков, от их «материи» (терминология разных наук, номинация понятий и категорий и т. д.). Понятие «лингвистическая семантика» приобретает силу своим стремлением установить специфику семантики языка, но это же понятие оказывается слабым своими же последствиями: оно отгораживает язык от реального мира, в котором живет человек и который он не может воспринимать иначе, как сквозь призму прежде всего своего родного языка.

То, что с помощью аналогичных разделений исследователи вольно или невольно отделяют язык от функций, которые он же выполняет и обязан выполнять в обществе, не подлежит сомнению. Совсем недавно было информатив на страницах журнала «Вопросы языкознания»: «...передать информацию непосредственно о действительности при помощи языка нельзя»<sup>30</sup>. Сейчас же возникает вопрос: то есть как нельзя? Каким же способом можно это сделать? Неужели не язык, а что-то другое, служит подобной важнейшей цели? Концепция автора становится яснее по мере того, как он начинает утверждать, что с позиции лингвиста «одинаково истинны» и предложение *Волга впадает в Каспийское море* и предложение *Волга впадает в Индийский океан*<sup>31</sup>. И все это оправдывается разделением: предсемантики (она изучает идеальные референты) и семантики (она изучает собственно языковые референты).

Вновь мы убеждаемся, что разделение семантики на два типа (какими бы терминами подобное разделение ни обозначалось) до сих пор способствует не столько уяснению специфики собственно лингвистической семантики, сколько отделению и удалению самого языка от тех функций, которые он выполняет в обществе. Два предложения с существительным *Волга* никак нельзя признать «одинаково истинными», даже если прилагательное *истинный* здесь берется в кавычки. Предложение *Волга впадает в Индийский океан* могут признать «истинным» лишь те лингвисты, которых язык интересует прежде всего тем, что он без костей и поэтому все терпит. Вопрос этот гораздо сложнее, чем это представляется автору приведенных примеров. Недаром один из самых крупных русских лингвистов XX в. Л. В. Щерба считал, что проблема понимания — это одна из центральных проблем науки о языке<sup>32</sup>. В только что приведенном предложении понимание выступает лишь со знаком минус, как проблема нелингвистическая.

<sup>29</sup> Л. О. Резников, Понятие и слово, Л., 1958, стр. 18—19. См. также его же «Гносеологические вопросы семиотики», Л., 1964, главы вторая и третья.

<sup>30</sup> И. Ф. Вардоль, Об изучении семантического аспекта языка, ВЯ, 1973, 6, стр. 15.

<sup>31</sup> Там же, стр. 20.

<sup>32</sup> Л. В. Щерба, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, «Изв. АН СССР». VII серия. Отд. общественных наук, 1931, стр. 115 (приходится сожалеть, что это блестящее исследование никогда у нас не переиздавалось). См. также Б. А. Ларин, Значение работ академика Л. В. Щербы в русском языкознании, «Диалектологический сборник», 3, Вологда, 1946, стр. 77—86.

Сказанное отнюдь не означает, что язык будто бы приравнивается к идеологии. С помощью языка люди добиваются понимания между всеми членами общества, в том числе и между представителями разных идеологий. Язык тем самым объединяет всех людей, говорящих на нем, тогда как идеология выступает как классовая категория в классовом обществе. В лингвистике проблема понимания выступает в другом аспекте, чем в истории и теории общественного сознания. Но и в лингвистике проблема понимания — важнейшая проблема. Именно поэтому язык и является средством общения между людьми, средством выражения их мыслей и чувств.

Знаменитый пример Л. В. Щербы с *глокой кудрой* призван был показать не бессмысленность сочетаний, а роль грамматических абстракций в языке. Хотя лексически подобное словосочетание или «предложение» ничего не означает, но лингвист в состоянии показать, что *глокая* по отношению к *кудре* может, например, выполнять роль прилагательного, которое в свою очередь может быть согласовано в роде и числе с той же *кудрой*, способной выступить в функции существительного. Здесь речь идет о вполне содержательных грамматических категориях — о частях речи, о категориях рода и числа. Примеры подобного рода великолепно обнаруживают содержательную функцию грамматических категорий и одновременно подчеркивают специфику грамматического значения в отличие от значения лексического.

К этим положениям, которые всегда были близки русским и советским филологам, совсем недавно присоединился президент американского лингвистического общества Д. Болинджер. В статье с необычным названием «Истина — это лингвистическая проблема»<sup>33</sup> он развивает такие положения: в процессе общения люди стремятся понять друг друга, поэтому понимание — центральная проблема лингвистики. Обычно люди хотят сообщить друг другу свои мысли и чувства, наблюдения и суждения. Когда же они сообщают неправду или полуправду, то лингвисты обязаны всякий раз устанавливать, какими языковыми средствами говорящие при этом пользуются. С этих позиций не только логик или философ обязан констатировать ложность предложений типа *Волга впадает в Индийский океан*. Анализом подобной «ложности» должен со своих позиций интересоваться и лингвист, для которого понимание — центральная проблема его же науки. Весьма симптоматично, что статья Болинджера опубликована в 1973 г. в виде обращения президента Лингвистического общества ко всем его членам.

Как видим, Болинджер в наши дни приходит к заключению (понимание — центральная проблема лингвистики), которое еще в тридцатые годы было очевидно для Л. В. Щербы и некоторых других советских лингвистов.

Возвращаясь к типам и разновидностям семантики, заметим, что разделение семантики на две семантики — «обычную» и имманентную — проводят и некоторые литературоведы, в частности, Ю. М. Лотман. Исследователь приводит в общем ту же мотивировку разделения семантики на семантику двух типов, которая встречается и в работах лингвистов. *Обычная семантика* существенна для философии и жизни, *имманентная же семантика* обнаруживает свою силу лишь в рамках большого художественного произведения<sup>34</sup>. У Руссо, например, понятие *человек* по закону имманентной семантики соотносится с другими понятиями, встречающимися у того же автора (*народ, власть, разум*). При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что подобная имманентная семантика Руссо

<sup>33</sup> D. Bolinger, Truth is a linguistic question, «Language», 3, 1973.

<sup>34</sup> Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, М., 1970, стр. 53 и сл.

может быть правильно осмыслена лишь на фоне отнюдь уже не имманентной семантики: на фоне значений тех же слов в общенародном языке эпохи Руссо.

Нечто подобное происходит и в языке. «Чисто лингвистическая семантика» слов типа *человек, народ, разум* и многих других может быть до конца правильно понята лишь в том случае, если мы учтем, как передаются с их помощью те или иные общие понятия, как будто бы уже относимые не к «лингвистической семантике», а к «семантике отражения». Недаром во всех хороших больших толковых словарях различных национальных языков составители так и поступают: все слова абстрактного значения разъясняются в плане обоих этих типов семантики («лингвистической семантики» и «семантики отражения»).

Все сказанное отнюдь не означает, что разграничение таких понятий, как «лингвистическое значение» и «нелингвистическая значимость», невозможно<sup>35</sup>. Разграничение возможно и желательно. Лингвистика не может и не должна с помощью своей категории значения (точнее — своих категорий значений) поглощать категории значений, которыми оперируют не только все другие науки, но и сама жизнь. Вопрос, однако, сводится к тому, как проводить подобное разделение и в какой степени следует учитывать взаимодействие лингвистического и нелингвистического значений. На мой взгляд, бесспорной остается сама необходимость постоянно учитывать отмеченное взаимодействие. Иначе нельзя понять, почему, например, лингвист не может составить словарь химических или ботанических терминов без соответствующих консультаций с химиками или ботаниками, без соответствующих познаний в каждой из специальных дисциплин. Об общих толковых словарях я уже и не говорю.

Спорным остается вопрос о степени подобного взаимодействия, о том, как следует понимать роль языка в развитии и общих знаний, и тех или иных специальных знаний.

В литературоведении и в поэтике проводились сходные с лингвистической опыты сведения специфики изучаемого объекта к так называемым чистым отношениям. Содержание объявлялось внешним, посторонним для данной науки фактором. Отношения оказывались тем самым в самодовлеющем положении. Уже в 1921 г. можно было прочитать: «Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собой»<sup>36</sup>. Здесь умышленно в один ряд выстроены предметы и понятия, совершенно не сопоставимые по содержанию, но будто бы «сопоставимые» в неясном абстрактном плане, в плане «чистых отношений». Пример этот саморазоблачителен: он показывает, до какого произвола может дойти исследователь, включающий категорию значения из сферы своей науки. Борьба за точность при формализации подобного типа оборачивается не только неточностью, но и полным произволом.

Нечто подобное происходит и в лингвистике. Исследователь может противопоставлять, например, падежи и предлоги, ибо они соотносительны по содержанию, по функциям, которые они же выполняют в языке, но тот же исследователь не может противопоставлять открытые гласные

<sup>35</sup> См. об этом: Т. De Mauro, *Senso e significato*, Bari — Roma, 1971, стр. 18—19. Ср. у некоторых американских лингвистов разграничение референтного значения (referential meaning) и дифференциального значения (differential meaning).

<sup>36</sup> В. Шкловский, Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля», Пг., 1921, стр. 4. Коренной пересмотр вопроса у самого автора в другой его книге: «Тетива. О несходстве сходного» (М., 1970, стр. 11 и сл.). Ср. попытки отдельных ученых наших дней сблизить литературоведение и языкознание («на семиотической основе»: D. Frensdorff, K. Müller, *Literatur und Semantik*, «Poetics», 8, 1973.

звуки и виды модальности глагола, ибо они не соотносительны в процессе функционирования языков. Противопоставление «кошки камню» лишается всякого смысла, если в самих противопоставлениях видеть не игру слов, а содержательные категории. Разумеется, язык и искусство — это разные явления, разные «феномены», но они в одинаковой степени не допускают операций с антифункциональными категориями.

В свое время Л. С. Выготский, ссылаясь на Г. Гейне, сообщал: портной Х. берет за фрак, сшитый из материала заказчика, столько же, сколько и за фрак, сшитый из материала, купленного самим портным. Он просит оплатить ему только *форму*, но не *материал*. Все остальные портные поступают, однако, иначе: о субстанции (материале) они никогда не забывают<sup>37</sup>. Когда на вопрос о том, что такое «вагон-ресторан», отвечают с помощью «чистых отношений» (вагон, который обычно не помещается между двумя товарными вагонами), то определение, опирающееся на реляции, требует предварительного знания функции подобного вагона («накормить пассажиров»). Только в «свете» этой функции становится очевидным, почему неразумно искать помещение для еды между двумя товарными вагонами. Абсолютно «чистые реляции» в жизни так же невозможны, как невозможны они и в гуманитарных науках.

## 4

Как я уже отмечал в третьем разделе, наука XX в. показала известную релятивность значения в разных сферах человеческого знания. И это одно из несомненных достижений нашего столетия. Весь вопрос, однако, в том — подчеркнем еще раз — как понимать подобную относительность значения. Здесь вновь возникают глубокие и принципиальные расхождения между представителями разных направлений в науке. Постараюсь показать на двух-трех примерах, какие противоположные выводы в лингвистике можно сделать из принципа известной относительности категории значения<sup>38</sup>.

Хорошо известно, что категория числа имен существительных в русском и других индоевропейских языках выражает прежде всего количество соответствующих предметов или явлений. Но в том же русском языке бытуют и существительные с невыраженным противопоставлением единственного и множественного чисел (*молоко, сено, горох, теллятина* и пр.), слова, употребляющиеся преимущественно во множественном числе (*блинцы, гренки, ходули* и пр.) или преимущественно в единственном числе (*гордость, общность, ширь* и пр.) и другие группы, прямо не «вмещающиеся» в противопоставление единственного и множественного чисел. Из этого общеизвестного положения можно, однако, сделать два противоположных теоретических вывода. Один из них будет основываться на том, что несмотря на всевозможные исключения и осложнения (известная относительность значения), именно количественное противопоставление предметов и явлений все же остается о с н о в н ы м з н а ч е н и е м категории чис-

<sup>37</sup> Л. С. Выготский, Психология искусства, М., 1968, стр. 80. В другой своей работе этот же автор писал: «Если восприятие курицы и действия математика одинаково структурны, то очевидно, что самый принцип, который не позволяет выделить различие, оказывается недостаточно расчлененным, недостаточно динамичным» (Л. С. Выготский, Предисловие к русскому переводу кн.: К. Коффа, Основы психического развития, М.—Л., 1934, стр. XLVIII).

<sup>38</sup> В совсем другой связи весьма любопытно свидетельство самого автора теории относительности. В одном из писем своему другу, физику А. Зоммерфельду, А. Эйнштейн писал: «С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю» (см.: А. Зоммерфельд, Пути познания в физике, М., 1973, стр. 182).

ла имен существительных в русском языке. Второй, диаметрально противоположный вывод, обычно формулируется совсем иначе: так как количественное противопоставление имен существительных не всегда возможно, то ни о каком общем или главном значении категории числа существительных в русском языке говорить нельзя.

К сожалению, подобное отрицание главного или основного значения у той или иной грамматической категории, у того или иного отдельного слова, стало весьма популярным в работах последних лет<sup>39</sup>. Я убежден, что это ошибочный вывод из несомненно правильного положения об известной релятивности (частичной релятивности) категории значения. Если бы этот вывод был справедлив, то частичная релятивность категории значения сейчас же превратилась бы в релятивность абсолютную. А от подобного заключения «рукой подать» до заключения о ненужности категории значения, как категории будто бы субъективной, ненаучной, целиком условной и целиком относительной.

Те же «операции» производятся и с лексикой: так как основные значения многозначных слов исторически подвижны, а в синхронной системе языка могут меняться в зависимости от контекста, от фразеологических сочетаний, от стиля языка и т. д., то основное (главное) значение слова объявляется фикцией, выдумкой, иллюзией и пр. Так, частичная релятивность слова превращается в релятивность абсолютную. Если бы сторонники абсолютной релятивности были правы, то всякое общение людей с помощью языка стало бы невозможным. Язык из средства общения превратился бы в средство разобщения. Всякое составление толковых словарей с основным (главным) значением на первом месте стало бы невозможным. И тем не менее лингвисты, сторонники понимания категории значения как абсолютно релятивной и условной категории, продолжают видеть в самом процессе выделения основных (главных) значений устаревшую концепцию языка<sup>40</sup>.

Как видим, из проблемы частичной релятивности значения в грамматике и лексике можно сделать два диаметрально противоположных вывода: либо признать полную условность категории значения, либо понять ее сложность, подвижность, но вместе с тем ее же безусловную объективность и безусловную важность. Только вторая точка зрения представляется мне правомерной. Ее правомерность обусловлена, как я стремился показать, не только теоретически, но и практически (конкретным материалом разных языков).

В связи с проблемой значения возникает и проблема формализации. Как известно, среди лингвистов всего мира сейчас ведутся жаркие дебаты по вопросу о том, как следует понимать формализацию, каковы ее пределы, ее сильные и слабые стороны, в каких отношениях находится самый процесс формализации к признанию или непризнанию категории значения. Попытаюсь показать, что среди множества точек зрения по всем этим вопросам и здесь можно выделить две основные концепции, во многих отношениях диаметрально противоположные.

Небольшая справка из истории вопроса будет нелишней. Известно, что в двадцатых годах опыты формализации языка, как и опыты формализации поэтики, широко проводились в советской филологии. Позднее, в

<sup>39</sup> См., например, отрицание основных значений у грамматических категорий в книге: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление (Л., 1972, стр. 74—75, стр. 145 и др.). См. также: Н. М у л у д, Современный структурализм. Размышления о методе и философии точных наук, М., 1973, стр. 314 и сл.

<sup>40</sup> О с н о в н ы м или г л а в н ы м значением слова можно считать такое его значение, которое контекстуально не обусловлено и которое выделяется говорящими на данном языке людьми обычно раньше других значений.

тридцатые и, особенно, в сороковые годы эти опыты не только прекратились, но и были признаны ненужными и даже вредными. С позиции поздних работ акад. Н. Я. Марра подобные опыты представлялись многим советским лингвистам невозможными. В пятидесятые годы, после лингвистической дискуссии, и затем в шестидесятые годы, как и в наше время, в связи с известными успехами структурного изучения языка, многие советские лингвисты стали отождествлять понятие формального метода с понятием передового, прогрессивного, современного метода. Стали забывать, что понятие *формального* и понятие *формалистического* метода — это совсем не одно и то же, и что второе из этих понятий несовместимо с понятием значения, о котором идет речь в настоящих строках.

Отдельные советские лингвисты стали изображать дело так, будто бы всякая критика *формалистического* метода в науке о языке неизбежно приведет к возрождению наиболее слабых сторон доктрины Н. Я. Марра (тоже тактика упреждающего удара). Между тем в некоторых направлениях европейской и американской лингвистики нашего времени ведутся острые бои вокруг самого принципа формалистического изучения языка. Находятся не только его поклонники, но и его резкие противники<sup>41</sup>. В приведенных несколько выше примерах я сделал попытку показать, как признание абсолютной релятивности категории значения неизбежно приводит исследователя к чисто формалистическому истолкованию всех категорий языка, и его лексики, и его грамматики.

Не менее важно подчеркнуть еще одно положение. Формализации не поддаются такие важнейшие явления, органически свойственные любому естественному языку человечества, как полисемия слова, широкая и глубокая синонимичность и омонимичность в лексике и грамматике, полифункциональность почти всех грамматических категорий, стилистическая многоплановость и подвижность, и многое, многое другое. Все это объявляется несущественным для языка, хотя в действительности именно эти свойства живых языков составляют их важнейшую специфику. Получается так, что сама формализация как бы требует предварительно настолько упростить язык, что от языка во всей его сложности остается лишь голая и безжизненная схема. В таких случаях формализируется уже не язык, а лишь тень языка.

Смысловая «мощь» каждого развитого языка огромна. Разумеется, для того чтобы выразить мысль такого масштаба, как *сегодня хорошая погода* или *я отлично пообедал*, языку не приходится обнаруживать свою мощь. Но все образованные люди, и в первую очередь филологи, обязаны понимать и ценить скрытые потенции языка. Эти потенции становятся реальными силами, когда человек переходит к изложению и выражению своих дум и эмоций, чаяний и стремлений, научных убеждений или эстетических переживаний. Поэтому «упрощение языка», возможное при информации типа *сегодня хорошая погода*, становится совершенно невозможным и пагубным при передаче информации других типов — многочисленных и многообразных.

Сказанное отнюдь не означает, что формализация языка вообще нежелательна или невозможна. Вопрос, однако, как мы уже знаем, в том, что формализация формализации рознь. Формализованные категории играют важную роль в разных сферах языка. Необходимо, однако, помнить, что эти же формализованные категории постоянно взаимодействуют в языке с кате-

<sup>41</sup> Ср., например, разграничение *формального* и *формалистического* в работах известного английского семасиолога С. Ульмана («Où en sont les études de sémantique historique», X congrès de la FILLM, 1967, стр. 107) и в обзорной статье Д. Дела («Phonétique, phonologie et poétique chez R. Jakobson», «Langue française», Paris, 1973, стр. 108—119).

гориями неформализованными и что первые были бы невозможны без вторых. К тому же следует дифференцировать такие разные понятия, как формализация языка и формализация приемов исследования языка. Границы первой теснее, чем границы второй. При формализации приемов исследования языка сам язык отнюдь не обязательно должен превращаться в элементарную схему, при неограниченной формализации первого типа такая опасность реально возникает и постоянно угрожает языку.

Понятие формализации обычно отождествляют с понятием точности. Это совершенно неправомерное отождествление, что и следует из всего сказанного. Если при крайней формализации искажается природа и функции языка, то тем самым такая формализация оказывается весьма далекой от точности. В другой связи и по другому поводу А. И. Герцен писал в своих блестящих очерках «Дилетантизм в науке»: «Растягивать все сущее на одр формализма не трудно для тех, кто не внемлет никакому протесту со стороны сущего. Профаны дивятся иногда, как самые странные факты, чрезвычайные явления легко покоряются у формалистов общим законам, — дивятся — а между тем чувствуют, что при этом сделан какой-то фокус — изумительный, но неприятный... Формалистов, с грехом пополам, можно оправдать только тем, что они себя первых обманывают своими фокусами»<sup>42</sup>. А вот свидетельство нашего современника, одного из создателей кибернетики Н. Винера, который, выступая против односторонней формализации, отмечал «...способность мозга оперировать с нечетко очерченными понятиями»<sup>43</sup>. Об этом же пишет и современный французский ученый А. Моль, подчеркивая, что определения понятий и терминов науки нашего времени «должны быть незамкнутыми и постепенными», в отличие от схоластической традиции, опиравшейся на односложные и «окончательные» дефиниции<sup>44</sup>.

## 5

Попытаюсь теперь уточнить и резюмировать сказанное. «Современная лингвистика» — это сложное и совсем неоднородное понятие. Поэтому нельзя противопоставлять «современную лингвистику несовременной лингвистике», как это обычно делают. Можно лишь говорить о разных направлениях современной лингвистики в их отношении к разным направлениям лингвистики прошлого. В «современной лингвистике» отчетливо обнаруживаются два основных направления в зависимости от философской ориентации каждого из них. Несколько условно одно из них может быть названо субстанциональным и семантическим (при строгом и постоянном учете взаимодействия формы и содержания на всех уровнях самого языка и теории языка), другое — антисубстанциональным и антисемантическим. Для первого направления характерно признание объективного существования категории значения, второму направлению категория значения представляется абсолютно релятивной и необъективной. Первое направление учитывает частичную релятивность значения, второе направление частичную семантическую релятивность превращает в релятивность абсолютную.

Между этими двумя диаметрально противоположными направлениями располагаются всевозможные «промежуточные» доктрины, заимствующие те или иные положения как бы по кусочку у представителей противоположных направлений. Адептам этих «промежуточных» доктрин кажется,

<sup>42</sup> А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, III, М., 1954, стр. 79—80.

<sup>43</sup> Н. Винер, Творец и робот, М., 1966, стр. 82.

<sup>44</sup> А. Моль, Социодинамика культуры, М., 1973, стр. 35—36.

что они выше «односторонних взглядов» представителей «крайних точек зрения». В действительности, и на практике и в теории, «промежуточники» чаще всего оказываются эклектиками, не имеющими своей точки зрения. И таких лингвистов-электиков сейчас немало в разных странах.

Разумеется, представители противоположных концепций нередко взаимодействуют друг у друга те или иные технические приемы исследования языка. Это закономерно. Но при этом не должна «сглаживаться» теоретическая и методологическая доктрина представителей противоположных направлений, их взгляды на природу и функции языка. Диапазон мнений о месте и роли категории значения в языке и в языкознании очень широк. Но и здесь можно выделить две противоположные концепции: от тезиса «слово без значения — пустой звук» (соответственно «грамматическая категория без значения встречается весьма редко») до «слово без значения — это подлинно лингвистическое слово» (соответственно «грамматическая категория без значения — это подлинно структурная категория»).

Совсем недавно хорошо известный западногерманский лингвист Е. Косериу заметил, что противопоставление структурного и традиционного языкознания, имевшее смысл еще в шестидесятые годы, теперь устарело<sup>45</sup>. В таком общем виде подобное противопоставление действительно лишено смысла. Оно не имело оснований и раньше. Речь должна идти о противопоставлении разных направлений в языкознании нашей эпохи, противопоставлении, которое отнюдь не сводится к альтернативе «учет структуры языка — неучет структуры языка». Структурный характер языка теперь очевиден для всех серьезных исследователей. Речь идет о другом — о понимании основных категорий языка, его природы и функций, речь идет о том, как истолковывается та же структура в ее взаимодействии с категорией значения. Другими словами горячий спор ведется не вокруг проблемы «признание — непризнание структуры», а в связи с осмыслением основных категорий языка, в том числе, разумеется, и категории значения<sup>46</sup>.

Хотя в последние годы отдельные лингвисты стремились объявить устаревшей проблему взаимодействия формы и субстанции, эта проблема, разумеется, остается важнейшей и в науке о языке наших дней. Она особенно важна для категории значения в лексике и в грамматике. Значение — органическая часть самого слова, поэтому слово не может быть только знаком. Оно в состоянии выполнять некоторые функции знака, но слово не сводится к знаку. Только в том случае, когда значение выводится за пределы слова, само слово может быть отождествлено со знаком. «Утверждать, — справедливо пишет Э. Бенвенист, — что языковой знак произволен на том основании, что в одном языке понятие *бык* передается словом *boeuf*, а в другом — словом *Ochs*, равносильно утверждению, согласному которому понятие траура „произвольно“, ибо в Европе оно символизируется черным цветом, а в Китае — белым»<sup>47</sup>.

В XX столетии, особенно за последние двадцать лет, в разных странах совершались неоднократные попытки представить дело так, будто бы «любая наука в известном смысле есть лишь хорошо установленная тер-

<sup>45</sup> E. Coseriu, Die Lage in der Linguistik, Innsbruck, 1973, стр. 5.

<sup>46</sup> Я уже не говорю о том, что словами *структура (система)* и *структурный (системный)* стали злоупотреблять и в «бытовой» речи. Постоянно можно слышать *структурные* подразделения (когда имеются в виду самые обычные подразделения), *структурные* объекты (нередко обычные объекты), *структура* семейных отношений (об отношении, например, детей к родителям). В таких случаях *структура* и *структурный* часто ничего не обозначают и употребляются для «высоты стиля».

<sup>47</sup> E. Benveniste, Nature du signe linguistique, «Problèmes de linguistique générale», Paris, 1966, стр. 51.

минология»<sup>48</sup>. Французский структуралист М. Фуко (медик по образованию) утверждает, что весь первый том «Капитала» К. Маркса — это толкование термина *стоимость*, что «весь Ницше» сводится к трем-четырем терминам греческого происхождения и т. д.<sup>49</sup> Эта несостоятельная точка зрения, характерная для многочисленных представителей логического позитивизма, опирается, в частности, на неправомерную трактовку категории значения. Категория значения как объективная категория исключается из сферы науки. И тут же начинаются поиски собственных, характерных для данной науки содержательных признаков. Эти признаки отождествляются с терминами. Так возникает концепция, согласно которой любая наука — это лишь хорошо организованная терминология.

Как видим, полная изоляция внутреннего («чисто научного») значения от значения, как отражения предметов и явлений объективного мира, нередко приводит к искажению не только самой категории значения, но и специфики каждой отдельной науки. В подобных рассуждениях значение как будто бы всячески «сублимируется», а по существу же оно резко искажается. Если не учитывать постоянного и глубокого взаимодействия категории значения, характерной для данной науки, и категории значения, как общефилософской категории, то исследователю трудно избежать ошибок и заблуждений только что отмеченного методологического характера.

Поиски специфики лингвистического значения (сами по себе необходимые) не должны, однако, отделять язык от функций, которые он же призван выполнять в человеческом обществе (функция общения, функция выражения мыслей и чувств), а, наоборот, еще более приблизить язык к человеку, установить органическую связь между языком и всем сложным и многоаспектным «поведением» человека в обществе.

Я, разумеется, далек от мысли, что мне удалось широко осветить сложные вопросы, относящиеся к категории значения в науке о языке. Моя задача была несравненно скромнее. Хотелось лишь показать, что само место семантики в разных направлениях современного языкознания определяется философскими (сознательными или бессознательными) убеждениями того или иного исследователя. Без категории значения не может существовать ни один естественный язык, известный человечеству. Поэтому без этой категории и ее всестороннего истолкования не может ни существовать, ни продвигаться вперед и наука о языке.

<sup>48</sup> Ж. Марузэ, Словарь лингвистических терминов, М., 1960, стр. 15. См. об этом же в журн. «Revue des études latines», Paris, 1927, стр. 90.

<sup>49</sup> М. Фуко, Les mots et les choses, Paris, 1966, стр. 311. См. также коллективный сборник: «Философия Канта и современность», М., 1974 (гл. 12: «Кант и неочозитивистическая доктрина научного знания»).

Г. А. КЛИМОВ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС О КРИТЕРИЯХ  
ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИАЛЕКТА

Обращение к лингвистической стороне многогранного творческого наследия классиков марксизма уже неоднократно и с достаточной очевидностью демонстрировало их глубокое проникновение в существо общей, а иногда и специальной, проблематики языкознания. Известно немало случаев, когда, намного опережая свое время, К. Маркс и Ф. Энгельс высказывали идеи, лишь позднее получившие эксплицитную формулировку в науке о языке. В этой связи можно упомянуть, например, предвосхищение Ф. Энгельсом проблематики и методики лингвистической географии, его соображения о языковых отношениях в родовом обществе, различение им внешней и внутренней хронологии языка письменных памятников и некот. др.<sup>1</sup> Столь же новаторские представления характеризуют выдвигавшуюся великим сподвижником К. Маркса совокупность критериев отнесения диалекта к определенному языку в альтернативной ситуации.

Если учесть специальные интересы Ф. Энгельса в области диалектологии германских, и отчасти — романских, языков, как известно, нашедшие отражение не только в его классическом исследовании, посвященном франкскому диалекту, но и в целом ряде других работ, а также в личной переписке, то будет нетрудно увидеть, что он не мог обойти стороной столь часто возникающую перед диалектологом проблему соотношения диалекта с определенным языком.

Не приходится, конечно, отрицать того обстоятельства, что в работах Ф. Энгельса язык и диалект не всегда получают строгое терминологическое обособление. В частности, было бы тщетным искать такое обособление во «Франкском диалекте», исследовательская перспектива которого во многом обращена в донациональную эпоху, где отчетливо выступают качественные отличия языковой ситуации (ср., например, чередование здесь таких терминов как «франкский диалект», «франкский язык», «верхнефранкский язык», «рейнско-франкский язык», «салический диалект» и «салический язык» и т. п.). Нетрудно заключить, что в этом обстоятельстве скорее всего следует усматривать реализацию конкретно-исторического подхода, столь характерного для энгельсовского решения и других лингвистических вопросов. «Хотя Морган и Энгельс проводили различие между диалектом (применительно к племени) и языком (применительно к союзу племен), — справедливо отмечает в связи с трудом „Проис-

<sup>1</sup> См. об этом: В. М. Ж и р м у н с к и й, *Немецкая диалектология*, М. — Л., 1956, гл. I; А. В. Д е с н и ц к а я, *К вопросу о языковых отношениях в родовом обществе*, сб. «Энгельс и языкознание», М., 1972, стр. 158 и сл.; С. Д. К а ц н е л ь с о н, *Метод системной реконструкции и внутренняя хронология историко-лингвистических фактов*, там же, стр. 286—289.

хождение семьи, частной собственности и государства“ А. В. Десницкая, — вряд ли следует придавать этому терминологическому различению абсолютное значение. Понятия диалекта и языка в такого рода социально-исторических контекстах не могут быть четко и строго разграничены»<sup>2</sup>. Этот вывод представляется еще более убедительным на фоне работ Ф. Энгельса, посвященных последующим периодам развития общества, например эпохе формирования наций, в которых ясно обозначается стремление связывать с этим терминологическим разграничением строго определенное содержание (в частности, прежде всего с названной эпохой соотносится неоднократно подчеркивавшийся им самостоятельный статус языка и подчиненный характер диалекта).

Ф. Энгельс не оставил специального рассмотрения проблемы языковой идентификации диалекта. Его высказывания в этой связи чаще всего встречаем в контекстах, посвященных идеологической борьбе с реакционными концепциями того времени: в одних случаях — эта полемика по национальному вопросу<sup>3</sup>, в других — это критика того, как, говоря его словами, «...филология была использована панславистами...» для пропаганды тезиса о единстве языка всех славян<sup>4</sup>, в-третьих — это демонстрация несостоятельности внешней политики бонапартистского режима и т. д. Тем не менее, анализ всей совокупности энгельсовских формулировок по этой проблеме, рассеянных по разным публикациям, свидетельствует о том, что задолго до специальной постановки последней в языковедении Ф. Энгельс так или иначе решал ее. Более того, как его отдельные прямые высказывания, так и ряд косвенных указаний, говорят за то, что при этом он руководствовался определенными критериями, принадлежность которых к некоторой единой системе не оставляет сомнений.

Отмечая очевидные языковые контрасты на границах романской, германской и славянской языковых областей, Ф. Энгельс писал вместе с тем следующее: «Но иначе обстоит дело, когда сталкиваются два романских языка и именно не литературный итальянский язык, *il vero toscano*, и не язык образованных слоев Северной Франции, а пьемонтский диалект итальянского языка и выродившийся в тысячу патуа исчезнувший южно-французский язык трубадууров, который мы для краткости назовем неточно, но, по общепринятому выражению, провансальским. Тому, кто хотя бы поверхностно изучал когда-нибудь сравнительную грамматику романских языков или провансальскую литературу, должно было тотчас же броситься в глаза большое сходство народного языка Ломбардии и Пьемонта с провансальским языком. В ломбардском это сходство ограничивается, правда, лишь внешними признаками диалекта... Пьемонтский диалект в своих главных чертах имеет значительное сходство с ломбардским, но он уже ближе к провансальскому, чем последний, а в Коттских и Приморских Альпах оба наречия, без сомнения, так близки, что трудно установить между ними точную границу»<sup>5</sup>. Аналогичные задачи Ф. Энгельсу приходилось решать и в хорошо знакомых ему условиях постепенности языковых переходов в германской языковой области. При этом обращает на себя внимание тот факт, что, неоднократно касаясь последних, он неиз-

<sup>2</sup> А. В. Десницкая, указ. соч., стр. 168; см.: е е ж е, Об историческом содержании понятия «диалект», сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языковедения», М., 1970.

<sup>3</sup> Ф. Энгельс считал рассмотрение соотношения языков необходимым условием адекватного анализа национального состава того или иного региона, см.: К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 618.

<sup>4</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 11, стр. 205.

<sup>5</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 619 (здесь оставляем в стороне степень адекватности схемы диалектного членения данного ареала, которой он придерживался).

менно рассматривал нидерландский в качестве самостоятельного языка. Сходную ситуацию он видел и в восточнославянском ареале (ср. его высказывания в пользу признания языковой самостоятельности украинского <sup>6</sup>).

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в то время, когда многие современные ему языковеды искали критерии языковой идентификации диалекта в структурном плане (чего, впрочем, не смогли избежать и некоторые лингвисты XX в.), для Ф. Энгельса с самого начала была очевидной неэффективность в этом отношении структурных характеристик. «Североитальянский и южнофранцузский диалекты настолько близки друг к другу, — писал он в статье „Савойя и Ницца“, — что почти невозможно сказать, где кончается один и начинается другой. Даже говор Пьемонта и Ломбардии по своим флексиям является целиком провансальским, в то время как образование слов из латинских корней по существу такое же, как в итальянском языке» <sup>7</sup>. Продолжая эту мысль в специальной брошюре, посвященной политическим судьбам смежной франко-итальянской полосы, Ф. Энгельс заключает: «Таким образом, народный язык в этом случае не может служить критерием для решения вопроса о национальности. Альпийский крестьянин, говорящий по-провансальски, с одинаковой легкостью усваивает как французскую, так и итальянскую речь и одинаково редко пользуется как той, так и другой; он довольно хорошо понимает пьемонтскую речь и вполне обходится ею» <sup>8</sup>. По существу из этого же принципа исходит Ф. Энгельс, когда, отчетливо осознавая гетерогенный по своему происхождению характер литературной нормы нидерландского языка <sup>9</sup>, он нисколько не сомневается в самостоятельном языковом статусе последнего.

Все критерии, которые привлекались им при определении языковой принадлежности диалекта, носили социологический характер. Если учесть последовательно проводившуюся в работах Ф. Энгельса идею о самостоятельности языка и зависимости или подчиненности диалекта, то в качестве признаков конкретной языковой принадлежности последнего он рассматривал фактор использования его носителями определенного литературного языка, фактор наличия у них взаимопонимания с другими соподчиненными речевыми коллективами и, по-видимому, фактор их определенного этнического самосознания.

Важнейшим критерием установления языковой соотнесенности диалекта Ф. Энгельс неизменно считал признак функционирования у говорящих на нем определенного литературного языка. Поэтому переориентация носителей диалекта на некоторый иной литературный язык рассматривалась им как серьезный стимул к изменению языковой принадлежности диалекта. К ссылкам на этот признак Ф. Энгельс прибегал особенно часто. В то же время меньшее место он отводил двум другим признакам, которые, судя по практике его работ, выступали у него скорее в роли вспомогательных критериев, использовавшихся в дополнение к основному.

При решении вопроса языковой идентификации речи переходной француско-итальянской полосы он прямо писал: «Если же оказывается необходимым установить более прочные (языковые. — Г. К.) связи, то их может дать только литературный язык, а таковой, разумеется, во всем Пьемонте и Ницце — итальянский; единственное исключение составляют

<sup>6</sup> См.: К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 22, стр. 19.

<sup>7</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 583.

<sup>8</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 620.

<sup>9</sup> Об этом см.: С. А. Миронов, Ф. Энгельс и изучение истории нидерландского языка. сб. «Энгельс и языкознание», стр. 252.

долины Аосты и Вальдеси, где местами преобладает французский литературный язык»<sup>10</sup>.

Два других свидетельства диагностирующей роли, придававшейся Ф. Энгельсом данному признаку, связаны с его оценкой языкового статуса провансальского, ареал распространения которого оказался под сильным воздействием со стороны французского литературного языка. В одном случае он констатирует, что этот имевший в прошлом блестящую литературу язык после трехсотлетней борьбы оказался фактически низведенным до степени французского диалекта<sup>11</sup>. В другом речь идет о том, что на территории Испании «провансальское наречие (речь идет о каталанском языке. — Г. К.) ... не только в общем сохранилось в гораздо более чистом виде, чем где бы то ни было во Франции, но даже отстаивает свое существование в качестве письменного языка в народной литературе»<sup>12</sup>.

Еще одно свидетельство применения Ф. Энгельсом критерия литературного языка составляет определение им позиции ретороманского языка в тот период, когда некоторые исследователи рассматривали его в качестве одного из итальянских диалектов, а другие практически не считались с ним вовсе. Ф. Энгельс, проявивший интерес к этому, по его выражению, языку «с печатью таинственности» еще в 1841 г., придерживался мнения о самостоятельном романском языке Швейцарии (термин «рето-романский» использован им в 1860 г.) также, по-видимому, на основании наличия у него собственной литературной традиции, восходящей по крайней мере еще к XVI столетию (к началу XIX в. относится уже попытка создания здесь единой нормы)<sup>13</sup>. В соответствии с этим находится и его утверждение о том, что «...романские диалекты Граубюндена и Тироля совершенно независимы от итальянского языка»<sup>14</sup>. В связи с таким решением вопроса уместно напомнить одно более общее лингвистическое наблюдение Ф. Энгельса, согласно которому «везде, где итальянский язык сталкивался в Альпах с другими языками, он оказывался более слабым. Ни в одном пункте он не проникает за Альпийскую цепь... Напротив, все пограничные языки отвоевали у него территорию к югу от Альп»<sup>15</sup>. За ним стоит известное положение классиков марксизма о многосторонних следствиях экономической и политической децентрализованности Италии того времени.

Другим критерием языкового соотношения диалектов, который использовался Ф. Энгельсом, был признак наличия или отсутствия взаимопонимания между их носителями. Наиболее отчетливо опирается он на этот признак в статьях, содержащих критику реакционной панславистской концепции единого языка славян, распадающегося будто бы лишь на диалекты. Так называемый «славянский язык» существует, по его мнению, только в фантазии таких идеологов панславизма, как Ф. Палацкий, Л. Гай и др., «... и отчасти в старославянском богослужении русской церкви, не понятном уже ни одному славянину»<sup>16</sup>. При этом отсутствие взаимопонимания между представителями различных славянских языков, как пишет Ф. Энгельс, «...было комическим образом доказано на Славянском съезде в Праге в 1848 г., где после различных бесплодных попыток

<sup>10</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 620.

<sup>11</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 378; см. там же, т. 13, стр. 619.

<sup>12</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 620.

<sup>13</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. т. 6, стр. 92; т. 13, стр. 619; ср. т. 41, стр. 158. Ср. в этой связи: М. А. Бородин, Современный литературный ретороманский язык Швейцарии, Л., 1969, стр. 17—25.

<sup>14</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 618.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. 182.

найти общий, понятный для всех язык, участники его вынуждены были, в конце концов, говорить на самом ненавистном для всех них языке — на *немецком*»<sup>17</sup>. Исходя из факта существования самостоятельных литературных языков и отсутствия взаимопонимания, он насчитывал всего до двенадцати славянских языков (русский, украинский, польский, чешский, оба лужицких, словенский, сербскохорватский, болгарский, македонский, древнецерковнославянский и, по-видимому, так называемый «русинский», нередко выделявшийся в работах немецких языковедов того времени)<sup>18</sup>.

Имеются, наконец, некоторые основания полагать, что наряду с обоими перечисленными признаками при решении альтернативы языковой принадлежности диалекта Ф. Энгельс учитывал и фактор наличия определенного этнического самосознания у представителей соответствующего речевого коллектива. Об этом, в частности, может свидетельствовать отрывок из его статьи «Савоя и Ницца», где отмечается, что «население графства Ницца также говорит на провансальском диалекте, но здесь литературный язык, образование, *национальный дух* (курсив наш. — Г. К.) — все итальянское»<sup>19</sup>.

Для того чтобы должным образом оценить энгельсовский подход к решению этой проблематики, целесообразно сопоставить с ним несколько более поздние высказывания двух видных лингвистов прошлого. К тому же эти высказывания интересны потому, что они относятся к рассматривавшемуся Ф. Энгельсом языковому материалу. Так, Г. Шухардт, хотя и апеллировал при этом к понятию литературного языка, пришел к неизбежно релятивистскому в этом плане структурному решению вопроса. В одной из своих публикаций он утверждал следующее: «Наиболее пригодным пунктом с этой точки зрения являются литературные языки. Определяя, например, какой-либо диалект на границе Франции или Италии, мы должны установить, к какому из двух литературных языков — французскому или итальянскому — он ближе; возможно, что он одинаково далеко отстоит и от первого и от второго. При этом нельзя забывать, что такие определения весьма относительны; говор, относимый нами к диалекту Рима и его окрестностей, когда речь идет о Риме или Париже, нельзя будет, возможно, считать таковым, если перенести центр тяжести из Парижа, например, в Марсель»<sup>20</sup>. Естественным следствием такого подхода в конечном счете оказывалось отрицание объективной ценности генеалогической классификации языков. Совершенно иным образом высказывался в этой связи Г. Пауль: «Границы отдельных наций можно с уверенностью установить не по диалектам, а только по письменным (литературным. — Г. К.) языкам. Так, например, североитальянские диалекты имеют много общих существенных черт с французским языком и ближе стоят к соседним французским диалектам, чем к итальянскому письменному языку или к тосканскому наречию»<sup>21</sup>. Обращает на себя внимание тот факт, что этот крупнейший представитель младограмматизма двумя десятилетиями позже по существу повторил лишь один из сформулированных Ф. Энгельсом критериев. Нельзя не заметить и общей контекстуальной близости последней цитаты к приводившимся выше высказываниям Ф. Энгельса.

<sup>17</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 11, стр. 205.

<sup>18</sup> Ср., например: К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. 179, 181—182; т. 22, стр. 19 и др.

<sup>19</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 583. Ср. в этой связи: Л. И. Браунникова, О разграничении языка и диалекта, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 171.

<sup>20</sup> Г. Шухардт, О классификации романских диалектов, в его кн. «Избранные статьи по языковедению», М., 1950, стр. 140.

<sup>21</sup> Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 65.

Здесь было бы недостаточным, однако, ограничиться только характеристикой самих критериев, использовавшихся Ф. Энгельсом при языковой идентификации диалекта. Нельзя оставить без внимания и отдельные его высказывания, подчеркивающие яркий историзм его подхода к проблеме, который заключается в учете им существующих тенденций изменения конкретной языковой ситуации. Так, характеризуя сложившееся в середине прошлого столетия положение в Савоие, где при функционировании французского в качестве «литературного и официального» языка массы говорили по-провансальски, он отмечал, что эта область, «...будучи целиком французской, несомненно, будет все больше и больше тяготеть к основному центру французской национальности и в конце концов присоединится к нему, так что это лишь вопрос времени»<sup>22</sup>. В соответствии с таким подходом оказывается и его известная формулировка, согласно которой «южнофранцузская национальность в средние века была не более родственна северофранцузской, чем теперь польская — русской»<sup>23</sup>. Другим свидетельством именно такого подхода может послужить сравнение приведенного выше высказывания Ф. Энгельса о каталанском языке с цитатой из его значительно более поздней работы, где признается, что «...говорящий по-провансальски Арагон подчинился кастильскому литературному языку...»<sup>24</sup>. Как хорошо известно, за подобными изменениями языковой ситуации Ф. Энгельс видел более общие закономерности политической и экономической концентрации общественной жизни в эпоху становления наций.

Думается, что предпринятый здесь обзор высказываний Ф. Энгельса достаточно красноречиво говорит о том, что задолго до специальной постановки вопроса об определении языковой принадлежности диалекта он отдавал себе отчет в неэффективности апелляции при этом к каким-либо структурным критериям. В решении альтернативных ситуаций он обращался исключительно к признакам социологического порядка. Нельзя не обратить внимания и на факт, насколько верно был им предвосхищен и сам конкретный комплекс последних, широко используемый в современных лингвистических исследованиях<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 583.

<sup>23</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 5, стр. 377—378.

<sup>24</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 415.

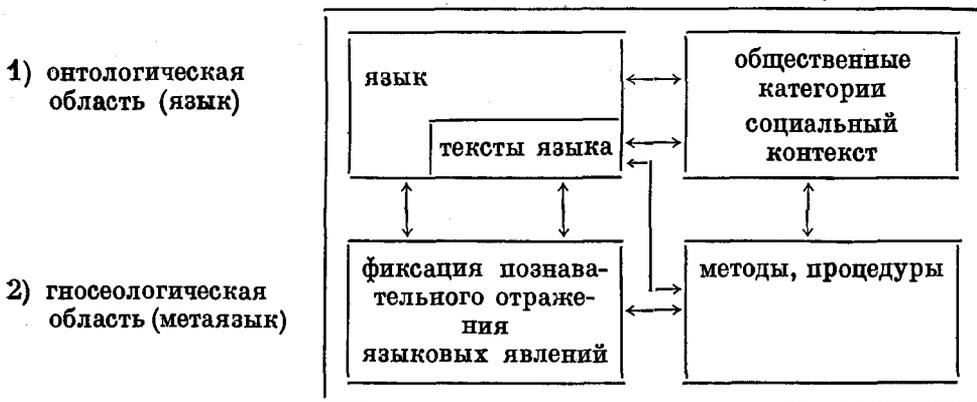
<sup>25</sup> Ср., например: «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», М., 1970, стр. 452; Р. Леч, К вопросу о соотношении категорий «язык» и «диалект», сб. «Русское и славянское языкознание», М., 1972, стр. 162—169.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. КРАУС

### К ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Большое количество работ по социолингвистике, появившихся в последнее время, отражает значительное разнообразие точек зрения, существующих в этой важной области науки о языке<sup>1</sup>. Этот факт свидетельствует о том, что социолингвистика в настоящее время является скорее набором проблем и их решений, чем прочно устоявшейся дисциплиной с собственным предметом исследования и достаточно разработанной методологией. Подобное положение, однако, вполне понятно, если учитывать, что социолингвистика отражает сущность и функционирование таких сложных и взаимообусловленных явлений, как язык и общество. Лингвистика и социология, на стыке которых вырастает социолингвистика, являются исходными при определении предмета социолингвистических исследований, что можно представить в виде следующей схемы:



Таким образом, различаются две основные сферы социолингвистики — (1) сфера отношений между языком и обществом и (2) сфера познавательного отражения языковых фактов с точки зрения социальной дифференциации вступающих в коммуникацию субъектов. Это подразделение полностью соответствует философски обоснованному различению объективной реальности (материальный, онтологический аспект явления) — с одной стороны, и ее отражению в процессе познания (гносеологический аспект) — с другой. Особенностью социолингвистического (как и вообще социологического)

<sup>1</sup> Среди важнейших антологий и библиографий можно привести: «Language in culture and society», ed. by D. Hymes, The Hague, 1964; «Sociolinguistics», ed. by W. Bright, The Hague, 1966; «Readings in the sociology of language», ed. by J. Fishman, The Hague, 1968; «Explorations in sociolinguistics», The Hague, 1966; «Zur Soziologie der Sprache», hrsg. von R. Kjolseth und F. Sack, Köln, 1971; N. D i t t m a r, Soziolinguistik, Frankfurt-am-Main, 1973.

подхода к способам отражения фактов языка является то, что его неотделимой частью являются не только «объективно правильные» суждения и выводы, но также выводы, которые призваны объяснить социальную сущность речи информантов и причины ее отклонения от определенного языкового эталона (стилистические особенности, народная этимология, стремление к языковому традиционализму или, наоборот, новаторству и т. д.). Столкновение «рациональных» (научных) и «нерациональных» (обусловленных традицией) подходов к языку приводит к необходимости широкого использования в социалингвистике разного рода анкет и вопросников.

В этой связи можно попытаться ответить на вопрос, является ли социалингвистика (1) самостоятельной дисциплиной, (2) интердисциплиной или только (3) особым подходом к фактам языка. Варианту (1) противоречит факт, что язык — общественное явление, один из важнейших атрибутов человека не только как индивида, но и — преимущественно — как члена социального коллектива. Всякая лингвистическая теория, стремящаяся к адекватному описанию языковых явлений, должна поэтому обязательно рассматривать язык и с точки зрения социалингвистики. Более приемлемым кажется вариант (3). Термин «подход», однако, на наш взгляд, не вполне оправдан, так как он подразумевает возможность субъективно, по усмотрению того или иного ученого, использовать или не использовать факты социальной стратиграфии языка при исследовании. Наиболее надежным и методологически обоснованным мы считаем вариант (2), т. е. рассматриваем социалингвистику как интердисциплину, которая предполагает существование своего объекта и методологической основы, вытекающих из онтологической и познавательной общности родственных научных дисциплин.

В дальнейшем изложении мы попытаемся вкратце объяснить характер взаимоотношений между отдельными составными частями объекта социалингвистики, стремясь при этом показать исторические истоки современных социалингвистических взглядов. Исторический подход к изучению социалингвистических концепций последних десятилетий может, по нашему мнению, оказаться плодотворным, так как все еще полностью не изучена роль таких важных лингвистических направлений, как советская социальная лингвистика 20 и 30-х годов, идеи пражской школы в области теории литературных языков и функциональных стилей, мысли Т. Фрингса о культурно-историческом фоне языковых изменений французская социологическая школа и т. д., в формировании социалингвистики. Важна, однако, не только теоретическая основа этих направлений, но также и их богатейший опыт в области практической языковой политики, культуры языка и культуры речи.

Представители указанных направлений в лингвистике в своих работах учитывали решающее, хотя и опосредованное влияние общественных отношений и динамики их развития на изменения структуры разных планов языка, в особенности плана лексики. В этом отношении они сближаются с теориями американской этнолингвистики и антропологической лингвистики, наиболее важной заслугой которых является накопление богатого материала по «экзотическим» языкам и культурам<sup>2</sup>. Отсюда вытекает первая отличительная черта этого направления — преобладающая роль эмпиризма (характеризующая, впрочем, также и всю американскую социологию). Именно этот эмпиризм явился причиной широкого применения в современной социалингвистике таких методов, как полевые исследования, анкеты, вопросники и т. д. Вторая особенность этнолингвистики касается непосредственно объекта исследования. В то время как указанные выше

<sup>2</sup> «Anthropology today» ed. by A. L. Kroeber, Chicago, 1953.

школы (мы будем их условно называть школами социальной лингвистики) исходят из изменений социальной структуры общества и исследуют их отражение в языке, многие этнологи (особенно те, которые продолжают традиции Сэпира и Уорфа) определяющим фактором общественных изменений считают язык, сквозь призму которого фиксируется отношение субъекта к объективному миру, его восприятие мира и общества, определяются статус и функции субъекта в определенной социальной среде. Идеалистическая линия этих взглядов, идущая от работ В. фон Гумбольдта, однако, не ограничивается только упомянутым выше направлением американской этнолингвистики: она проявляется также в более поздних работах Вейсгербера и его последователей, идеи которых близки современной социолингвистике своим стремлением подчеркнуть определяющую роль языка в процессе социального взаимодействия.

Закономерности взаимоотношений общественных и языковых категорий в области языка, согласно Скаличке, Ваху и др.<sup>3</sup>, можно свести к трем основным пунктам: а) язык в своей основе стабилен, в данный период своего развития он никогда не изменяется в такой степени, чтобы нарушить возможности взаимного понимания людей; стабильность языка наиболее ярко проявляется в области звукового и грамматического состава и несколько менее в области лексики; б) система языка характеризуется равновесием: любое изменение в языке сразу же вызывает компенсацию на том же самом или на других уровнях языка; отсюда вытекает принцип взаимообусловленности языковых изменений; в) язык развивается обычно в направлении все большего удовлетворения коммуникативных потребностей общества, этот процесс не равномерен, он характеризует не все изменения в отдельности, но общую тенденцию развития языка, его грамматико-звукового и лексического строя.

Характер воздействия общественных факторов (формаций, идеологий, мифологических и религиозных взглядов, революционных и эволюционных перемен, различных видов практической деятельности, государственных, классовых и других структур и т. д.), которые оказывают наиболее значительное влияние на язык, пока изучен мало. Этот факт наглядно показывает различие между понятиями «социальная лингвистика» и «социолингвистика». В то время как для социальной лингвистики общественные категории представляют хотя и важный, но все же внешний по своему характеру импульс языкового движения, для современной социолингвистики социальные факторы являются основной движущей силой развития языка, при этом в исследовании социальных факторов социолингвистика опирается не только на собственные методы, но также на методы и процедуры ряда смежных дисциплин (социологии, социальной психологии, теории практической деятельности человека — праксеологии и т. д.).

Именно изучая социальные факторы языковых изменений, можно обнаружить специфические черты разных школ социальной лингвистики. Советские языковеды уделяют с 20-х годов наибольшее внимание тем процессам, которые произошли и происходят в языке (особенно в лексике)<sup>4</sup> после Октябрьской революции. В рамках пражской концепции литературного языка и функциональных стилей важнейшими внешними факторами считаются культура, философско-религиозная, научная, политическая и

<sup>3</sup> Ср.: V. S k a l i č k a, Vztah vývoje jazyka k vývoji společnosti, «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962; J. V a c h e k, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», XI, 1962.

<sup>4</sup> См.: Ю. Д. Д е ш е р и е в, Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе, М., 1966; сб. «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968.

административно-юридическая сферы человеческой деятельности<sup>5</sup>. На важность всех этих фактов для изучения языка указывают не только американские этнолингвисты, изучающие своеобразие взаимодействия языков и этноса таких народов, как индейцы или австралийцы, но и те ученые, которые занимаются отражением культурных явлений в языках с длительной письменной и национальной традицией.

Существует много работ, авторы которых усматривают важный фактор языковых изменений в сфере территориального (диатопического) и социального (диастратического) расслоения носителей языка. Здесь факты и методы социалингвистики тесно переплетаются с фактами и методами языковой географии и диалектологии, что дает возможность рассматривать язык на фоне наиболее конкретных условий его функционирования. Постепенный переход некоторых диалектологических исследований в область социалингвистики характеризуется тем, что материал изучается не только с точки зрения общелингвистической проблематики, но учитываются также и некоторые социальные характеристики (социальный статус информантов и особенности их языка и речи, обусловленные конкретной ситуацией во время коммуникации).

В сферу факторов, изучаемых социальной лингвистикой, входит изучение роли производственных процессов в развитии языка и анализ профессиональных диалектов, а также жаргонов. Исследование фактов подобного рода приобретает особую важность в процессе постепенной дифференциации функциональных стилей и расширения терминологического слоя лексики в эпоху технического прогресса<sup>6</sup>.

Важной составной частью социальной лингвистики является рассмотрение роли таких социальных факторов, как типы государственных формаций, отражаемые в понятиях языковой политики и вообще языковой ситуации, особенно на многоязычных территориях в областях с диглоссией<sup>7</sup>. В двуязычной или многоязычной области на одной государственной территории существуют два или больше языков, каждый из которых обладает в основном всеми функциями, вытекающими из задач общественной коммуникации. Примером могут служить чешский и словацкий языки в Чехословакии: здесь сосуществуют два языка, каждому из которых присущи свои особые функции. В эпоху национального возрождения на чешской языковой территории в функции средства канцелярско-делового общения выступал немецкий язык.

О дву- и многоязычии и диглоссии можно также говорить с точки зрения одного индивидуума, который употребляет один из ему известных языков в зависимости от своих представлений об уместности, престиже и т. п. Решение вопросов, связанных с общей языковой ситуацией, входит в область национальной политики в многонациональных странах с большим количеством языков, находящихся на неодинаковых стадиях своего развития и истории.

В предыдущем изложении мы занимались факторами довольно общего характера, которые преимущественно касались языковой системы и ее функционирования, и реже конкретных явлений, какими являются, например, функциональные стили или непосредственно устные и письменные тексты. В дальнейшем мы попытаемся показать существование фак-

<sup>5</sup> В. Н а в г а н е к, *Funkce spisovného jazyka*, «Studie o spisovném jazyce», Praha, 1963, стр. 13.

<sup>6</sup> См. об этом особенно: М. Н. К о ж и н а, *К основаниям функциональной стилистики*, Пермь, 1968.

<sup>7</sup> К термину «языковая ситуация» см.: Л. Б. Н и к о л ь с к и й, *Изучение языковой ситуации как прикладная языковая дисциплина*, «Историко-филологические исследования», М., 1965, стр. 125—127.

торов более конкретного порядка, которые в процессе речевой коммуникации находят отражение в структуре и организации текста, в подборе отдельных слоев, конструкций и оборотов и только через эти частные явления (так называемые социалингвистические переменные<sup>8</sup>) влияют на систему языка в целом. Все эти факторы связаны с речевой ситуацией, т. е. с пространственно-временными формами, с социально-психологическими характеристиками общающихся лиц, с их конкретными представлениями и деятельностью. Эти факторы изучаются социальной психологией и теорией языковой коммуникации. Нельзя, однако, упускать из виду того обстоятельства, что теория языковой, точнее речевой «ситуации» и «контекста» явилась предметом изучения лондонской лингвистической школы, связанной с именами ее основоположника Дж. Р. Фирса<sup>9</sup> и его вдохновителя, известного антрополога Б. Малиновского. В основе концепции этого направления лежит введенное Малиновским понятие «фатической коммуникации»<sup>10</sup>, обозначающее стремление говорящего связать между собой участников коммуникативного акта, создать речевую ситуацию, поддержать контакт собеседников, учитывая при этом все семантические вариации, связанные с принадлежностью говорящих к той или иной социальной и культурной группировке. Отсюда вытекает и главный объект исследования представителей лондонской школы в сфере социалингвистики — изучаются выражение в языке форм согласия, вежливости и интимности, выражение идиосинкразических характеристик лингвистическими и паралингвистическими средствами, а также конкретных форм языкового взаимодействия в узких общественных группах, т. е. вопросы коммуникативной экологии. Эта линия социалингвистики непосредственно связана с теорией речевой деятельности и речевого контекста, которые наиболее ярко представлены в работах советского исследователя А. А. Леонтьева<sup>11</sup> и румынского лингвиста Т. Слама-Казаку<sup>12</sup>.

В связи с понятиями «языковая и речевая ситуация» необходимо упомянуть одно важное лингвистическое направление, которое развивается параллельно с социальной лингвистикой и социалингвистикой, но почти без взаимных контактов. Мы имеем в виду японскую школу языкового существования «гэнго сэйкацу», представители которой издают одноименный журнал. Статьи журнала посвящены таким сферам языковой коммуникации, в которых она наиболее тесно переплетена с жизнью японского общества (в последних номерах журнала, например, поднимаются вопросы, связанные с языком газет, разницей в языке мужчин и женщин, практикой пользования словарем, внедрением заимствованных слов в японскую лексику, изучаются говор Окинавы и острова Хоккайдо, вопросы выражения вежливости и т. д.). Более широкому распространению интересных идей этой школы несколько мешает ограниченность сферой исследования специфических черт японской жизни, однако последние номера журнала «Гэнго сэйкацу» обнаруживают заметное сближение с вопросами, волнующими европейские и американские направления социалингвистики<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> V. L a b o v, The study of language in its social context, «Studium generale», 23, 1970.

<sup>9</sup> J. R. F i r t h, On sociological linguistics, сб. «Language in culture and society», The Hague, 1964.

<sup>10</sup> См.: В. М а л и н о в с к и, Phatic communion, сб. «Communication in face-to-face interaction», 1972.

<sup>11</sup> А. А. Л е о н т ь е в, Теория речевой деятельности, М., 1968.

<sup>12</sup> Т. S l a m a - C a z a c u, Langage et context, The Hague, 1961.

<sup>13</sup> См.: Н. И. К о н р а д, О языковом существовании, «Японский лингвистический сборник», М., 1959. О сближении «гэнго сэйкацу» с социалингвистикой свидетельствует статья «Америка-но гэнго сэйкацу» («Гэнго сэйкацу», 8, 1973).

Следующей задачей социалингвистики является изучение текстов, целью которых является побудить адресата к определенному речевому и неречевому поведению. Это достигается либо путем аргументации и убеждений, приведением разного рода доказательств, примеров, стилистических приемов (публицистические тексты), либо посредством прямых и косвенных приказов и запретов (директивные тексты: инструкции, указания, уставы, законы и т. д.). В раздел социалингвистики входит, конечно, не только стилистическая сторона этих двух типов текстов, но и весь процесс их функционирования в данной общественной формации, свидетельствующий об организующей роли языковой коммуникации в жизни общества<sup>14</sup>.

Суммируя сказанное, дадим общий перечень тех социальных факторов, которые находят свое наибольшее отражение в языке: А) явления общественной макроструктуры: а) экономические формации; их эволюционные и революционные смены; б) государственные институты и национальные объединения; в) область идей (идеологическое, политическое, религиозное, мифологическое мышление); г) явления культуры; д) трудовой процесс, профессиональная дифференциация общества; е) диалектическое и диалектно-этническое членение общества (местные диалекты, социальные диалекты, отражение статуса, роли и функций общающихся индивидов в языке); Б) явления общественных микроструктур (эта область смыкается с областью социальной психологии): экология малых общественных групп (проксемика — пространственные отношения индивидов во время коммуникации, формы их взаимодействия в процессе общения и т. д.); В) индивидуальные явления (эта область смыкается с областью психологии и психалингвистики): идиосинкразические и социально-облигаторные черты языка, стиля и речи, связанные с полом, возрастом, с социальными и психическими характеристиками индивида, с его представлениями, общественными и коммуникативными функциями и т. д.<sup>15</sup>.

По мнению большинства представителей указанных выше школ, именно эти факторы являются движущей силой социально обусловленных изменений в языке. Однако определенную роль в формировании социалингвистики сыграли также взгляды и тех лингвистов, которые признают конституирующую функцию в отношении «язык — общество» именно за языком. Речь идет не только о различных направлениях неогумбольдтианства, но также в известной степени о работах Фирса и его последователей, по мнению которых не только ситуация «образует» варианты языка, но также эти варианты «образуют» ситуацию.

Особый раздел социалингвистических исследований представляет изучение отношения социально дифференцированных субъектов к языку и языковая фиксация этих отношений в виде оценочных суждений. Интерес к изучению взглядов на язык со стороны носителей языка — нелингвистов возник сравнительно недавно. Лингвисты, опирающиеся в своих исследованиях на методы современной социологии, пришли к выводу, что даже наивные взгляды на язык являются социальными фактами и что их поэтому нельзя исключать из описания языковой системы и ее функционирования или относить к области психологии и эстетики языка. Именно последовательный анализ этих взглядов и отношений создает предпосылки не только для полного и адекватного анализа языка в рам-

<sup>14</sup> См.: И. Краус, П. В а ш а к, Попытка количественной типологии текстов, «Prague studies in mathematical linguistics», 2, Praha, 1967; J. K r a u s, K statistickému rozboru publicistického stylu, SaS, 30, 1969.

<sup>15</sup> Социалингвистика и психалингвистика развиваются до сих пор, к сожалению, почти без взаимных контактов. См.: J. P r ů c h a, Psycholinguistics and sociolinguistics — separated or integrated?, «International journal of psycholinguistics», 1, 1973.

ках дескриптивной (т. е. описывающей прошлое или настоящее состояние языка) лингвистики, но прежде всего в рамках языкового планирования и прогнозирования, т. е. лингвистики прескриптивной.

«До-социалингвистический» опыт отношения к языку характеризуется как неразрабатанностью критериев исследования языковых фактов, так и отсутствием принципов статистической оценки гомогенности речи исследуемых индивидов. Тот или иной социальный пласт языка оценивался обыкновенно в сопоставлении с другим (якобы «менее совершенным») языковым пластом с точки зрения «чистоты, экономии, звучности, рациональности, регулярности, последовательности, этимологической прозрачности и т. д. Только практика разнообразных форм языковой политики, кодификации и планирования создала предпосылки научного подхода к социалингвистике (опора на языковую теорию, языковой узус). Таким образом, изучение указанной социалингвистической проблематики требует в основном решения двух вопросов: а) установление современных норм и узуса языка и отношения к ним носителей языка, изучение языковой ситуации на данной территории; б) процесс языковой кодификации, опирающийся на результаты познания объективно существующих норм и динамики их развития, языковое планирование и прогнозирование. В пункте (а) данного раздела содержится суть социалингвистической методологии, которую можно понимать (1) в общем плане — как средство изучения данных о всех формах функционирования языковых явлений в обществе и о формах их отражения и (2) в более узком смысле — как совокупность определенных частных операций и процедур. Выбор той или иной методологии обусловлен спецификой наблюдаемого объекта (т. е. языка и общества и их взаимосвязи) и целью исследования<sup>16</sup>.

Примером применения методологии в смысле (1) и (2) может служить вопросник, целью которого было изучение взглядов носителей языка на современную чешскую орфографию<sup>17</sup>. Вопросник был подготовлен работниками Института чешского языка в тесном сотрудничестве с Институтом демографии. Подготовка вопросника была обусловлена требованиями орфографических комиссий, а также требованиями широкой публики, которая считает сложность орфографических правил важным препятствием рационализации письменного общения. Важность подобного рода исследований в чешской среде особенно важна в связи с давним интересом к орфографии, знание которой считается частью общественного престижа.

Отметим сначала некоторые технические черты вопросника. В нем участвовали: а) исследователи — авторы вопросника и ассистенты, заполнявшие бланки вопросника на основе работы с информантами, б) информанты (1960 человек разных профессий — постоянных сотрудников демографических исследований, избранных на основе профессиональной, возрастной, территориальной и половой принадлежности, а также — для сопоставления — еще 40 специалистов — сотрудников Института чешского языка). Исследователи и информанты работали на основе прямого наблюдения, интервью, вопросника, анкеты, анализа документов и ком-

<sup>16</sup> J. K r a u s, Les aspects méthodologiques de la sociolinguistique, «Travaux linguistiques de Prague», 5 (в печати).

<sup>17</sup> A. T e j n o r, Český pravopis a veřejné mínění, «Naše řeč», 1969. См. также: A. T e j n o r et al., Přejatá slova a veřejné mínění, «Naše řeč», 1972; J. K r a u s, Меры оценки публицистических текстов, «Prague studies in mathematical linguistics», 3, Praha, 1972; R. B u c h t e l o v á, Příspěvek k aplikaci některých sociolingvistických metod na výzkum výslovnosti slov přejatých, SaS, 32, 1971. В советской социалингвистической литературе с методологической точки зрения особенно важны работы: «Русский язык и советское общество (Социалингвистическое исследование)», М., 1968 и Л. П. Крысина, Русский язык по данным массового опроса (проспект), М., 1968.

бинации этих средств. При формулировке вопросов, естественно, учитывалась семантическая проблематика.

Выполнение всех задач, которые вытекают из технических принципов исследования, является важной предпосылкой получения удовлетворительных результатов, превысивших в данном случае практические цели вопроса. С точки зрения общей лингвистической теории можно, опираясь на данные эксперимента, установить функции графематических систем в общественной коммуникации, выявить сильные и слабые стороны орфографической кодификации, вызывающие затруднения в школьной и редакционной практике и т. д. С социологической точки зрения, можно обнаружить лингвистические взгляды широких масс носителей языка, их толерантность или, наоборот, приверженность традиции, их стабильность или лабильность, объективность или субъективность оценок, расхождение оценок и действительного узуса у испытываемого индивида и т. п. Совместное рассмотрение лингвистических и социологических данных, а также статистическая корреляция отдельных ответов информантов создает методологическую базу социолингвистики как интердисциплины, которая стремится к наиболее полному описанию языковых структур, взаимосвязанных с социальными и психическими характеристиками носителей языка. Именно это является главным и необходимым условием кодификации как научной деятельности, отражающей объективно существующие языковые нормы<sup>18</sup>. С кодификацией тесно связана проблематика языкового прогнозирования, изучающего перспективы развития норм языка и его функций в данном обществе. Решение этих вопросов в советской лингвистике, которая сразу же после Октябрьской революции столкнулась с необходимостью расширить сферу бесписьменных языков, является убедительным примером интердисциплинарного подхода к проблемам языковой политики<sup>19</sup>.

Наряду с кодификацией и прогнозированием надо упомянуть еще одну важную область социолингвистики, а именно культуру языка и речи<sup>20</sup>. Ее роль сильно возрастает прежде всего в странах, в которых разрешены основные вопросы языковой политики, но где происходят коренные социальные изменения в структуре населения. В социалистических странах можно в качестве примера этих изменений привести постепенное разрушение противоречий между литературным языком и его областными и социальными вариантами, пополнение языка лексическими интернационализмами, изменение форм обращения и вежливости и, наконец, все возрастающее участие трудящихся в активной общественной коммуникации и важную роль средств массового общения.

В заключение необходимо подчеркнуть прикладное значение социолингвистики, открывающей большие возможности сознательного регулирования языкового развития, т. е. планирования и кодификации как

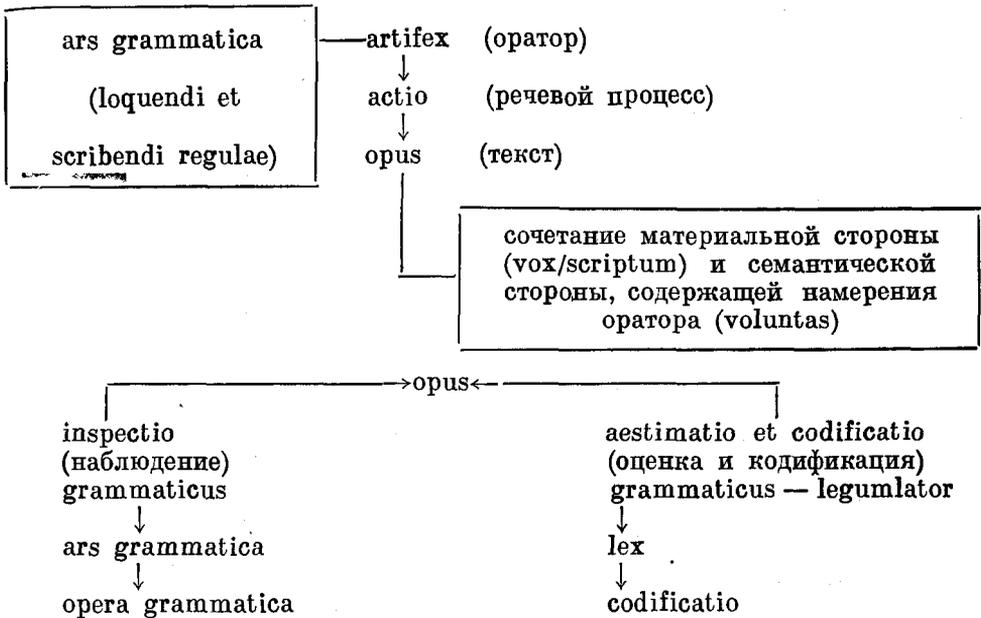
<sup>18</sup> К проблематике нормы см.: В. М. Русановский, Вопросы нормы на разных этапах истории русского языка, ВЯ, 1970, 4; K. Hořálek, Jazyk jako systém a norma, «Naše řeč», 55, 1972; A. Jedličková, Studium současných spisovných jazyků slovenských a problematika variantnosti normy, SaS, 29, 1968.

<sup>19</sup> См.: Ю. Д. Дешерев, Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе, М., 1966; е го же, Развитиемладописьменных языков народов СССР. «Младописьменные языки народов СССР», М., 1959. Об общем подходе к вопросам языкового планирования см.: V. Tauli, Introduction to a theory of language planning, Uppsala, 1968; Ju. D. Dešeriev, Die sowjetische Methodologie, Theorie und Praxis der Planung und Prognostizierung der sprachlichen Entwicklung, «Zur Soziologie der Sprache», Opladen, 1971; L. B. Nikol'skij, Prognose und Planung sprachlicher Entwicklung, там же.

<sup>20</sup> В. Г. Костомаров, Проблемы культуры речи, сб. «Теоретические проблемы советского языкознания», М., 1968; A. Stích, Česká jazyková věda a jazyková kultura za půlstoletí, SaS, 29, 1968.

необходимых условий эффективной и рациональной коммуникации в современном обществе.

Возникает вопрос, является ли современная социальная лингвистика действительно первым опытом решения поставленных здесь задач. Как известно, еще до того как лингвистика сложилась в качестве самостоятельной науки, она была тесно переплетена с жизнью общества, с его историей и культурой. Примером может служить деятельность Брунетта Латини и его последователя Данте, приведшая к использованию итальянского языка вместо средневековой латыни в художественной литературе Италии XIII в., деятельность Ломоносова в разработке норм русского языка и его стилистического расслоения, работы чешских языковедов Добровского и Юнгмана в эпоху национального возрождения и мн. др. Несмотря на то, что исторические предпосылки современной социолингвистики коренным образом отличаются от лингвистических идей прошлого, нам хотелось бы указать на одну дисциплину, риторику<sup>21</sup>, в которой можно обнаружить поразительную аналогию двум разделам социолингвистики — 1) взаимоотношению языковых и социальных факторов и 2) познавательному отражению языковых явлений. Иллюстрацией первого раздела может служить «Риторика» Аристотеля, в которой анализируются свойства личности ратора, характер его слушателей и пути аргументации, служащей для воздействия на аудиторию с целью утверждения или, наоборот, разрушения определенного социального равновесия («консенса»). Второй раздел социолингвистики находит интересную аналогию в положениях систематика античной риторики — Квинтилиана, автора компендиума «Ars oratoria», в котором речевой процесс, его познание и оценка отражаются в виде следующей схемы:



Категории *lex* и *codificatio* основаны на оценочной деятельности грамматиста, которая руководствуется критериями, формулируемыми Квинтилианом в следующих терминах, относящихся к языку (*lingua*) и тексту (*sermo*): *ratio* — логическая, и синтаксическая ясность; *vetustas* — соот-

<sup>21</sup> Ср.: Н. Л а u s b e r g, *Handbuch der literarischen Rhetorik*, München, 1960.

ветствие исторической традиции и процессу языкового развития; *auctoritas* — следование примеру классиков; *consuetudo* — узус лучших современных авторов и ораторов. В цитате из Квинтилиана («Ars», 1, 6, 45): «*consuetudinem sermonis vocabo consensum eruditorum, sicut vivendi consensum bonorum*» — ясно намечена практика общепризнанного подхода к языковому нормированию, которое опирается или на теоретическую и практическую деятельность лингвистических институтов (*consensus eruditorum*), или на узус лучших мастеров художественного и публицистического слова (*consensus bonorum*).

Приведенный пример не ставил себе, конечно, целью довести «родословную» современной социолингвистики, которая является сочетанием теоретических и эмпирических подходов к языку, до эпохи античности. Мы хотели только показать, что основная проблематика социолингвистики — взаимосвязь языка и общества, изучение языка как важнейшего человеческого атрибута, уже ставилась на самых ранних этапах развития языкознания.

В. К. ЖУРАВЛЕВ

ГЕНЕЗИС АКАНЬЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ТЕОРИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

1. Бесспорные успехи изучения географии восточнославянского аканья обусловлены четким определением понятия аканья — яканья (Дурново — Аванесов). Это понятие вместе с модифицированной Р. И. Аванесовым теорией происхождения аканья А. А. Шахматова (зависимость качества гласного первого предупредительного слога от качества ударного гласного) стало своего рода полевым прибором диалектолога при анализе конкретных явлений непосредственно на месте.

Современное понимание аканья как неразличения (нейтрализации) гласных неверхнего подъема в безударной позиции носит чисто фонологический характер. Поэтому решение проблемы генезиса и истории аканья есть выяснение именно происхождения и истории нейтрализации относительно признака подъема серии фонологических оппозиций. Теоретическим ключом для решения этой проблемы может быть лишь современная теория нейтрализации фонологических оппозиций.

Восточнославянское аканье в узком смысле, совпадение гласных неверхнего подъема в позиции после твердых согласных есть нейтрализация эквиолентной оппозиции  $a : o$ , построенной на признаках подъема  $A$  и лабиализации  $B$ . Оппозиция  $a : o$  есть противопоставление нелабиализованной  $\bar{B}$  гласной нижнего подъема  $A$  другой, лабиализованной  $B$  гласной не нижнего  $\bar{A}$  подъема, т. е.:  $a : o = A\bar{B} : \bar{A}B$ .

При нейтрализации эквиолентной оппозиции в качестве представителя архифонемы в нейтрализуемой (слабой) позиции выступает, как правило, минусовый, немаркированный коррелят<sup>1</sup>:

$$[(a \cdot o) = A\bar{B} \cdot \bar{A}B] \rightarrow [\bar{A}\bar{B} = a].$$

Это означает, что в «слабой позиции нейтрализации на месте сильных  $a$  и  $o$  сильной позиции различия (релевантности) ожидается нелабиализованный и ненижнего подъема представитель архифонемы (аллофон, вариант, слабая фонема). Так оно и есть в огромном большинстве случаев. В акающих говорах безударное  $a$  в соответствии ударенным  $a$  и  $o$  отличается от них не только отсутствием лабиализации, но и другими признаками, что отмечается диалектологами как  $a$ ,  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}$  и т. п.

Кроме того, при нейтрализации эквиолентной оппозиции возможен в редких случаях как исключение и плюсовой, маркированный коррелят:  $[(a \cdot o) = A\bar{B} \cdot \bar{A}B] \rightarrow [AB = o^a]$ .

Иными словами, на месте  $a$  и  $o$  в позиции нейтрализации можно ожидать в редких случаях лабиализованный гласный нижнего подъема, который отмечается в записях как  $o^a$ ,  $a^o$  и т. п.

Из общей теории нейтрализации фонологических оппозиций следует, что в качестве представителя архифонемы нейтрализуемой оппозиции могут выступать и оба члена<sup>2</sup>. В случае нейтрализации  $a \cdot o$  это означает то,

<sup>1</sup> Значки:  $a : b$  — оппозиция,  $a \times b$  — конвергенция,  $a \cdot b$  — нейтрализуемая оппозиция.

<sup>2</sup> В. К. Журавлев, К проблеме нейтрализации фонологических оппозиций, ВЯ, 1972, 3.

что в слабой (нейтрализуемой) позиции в качестве представителей архифонемы могут выступать один или два аллофона:  $a/\tau$ ,  $a/\alpha$ ,  $a/\tau$ ,  $\lambda/\tau$ , даже  $a/o$ . Функционирование этих аллофонов должно быть так или иначе позиционно обусловлено — например, расстоянием от ударенного слога /вѣдѣвѣс/, качеством ударенного гласного /нѣ/гѣ ~ /на/гѣи или как-нибудь иначе.

Следовательно, если современная оппозиция  $a : o$  эквиополентна, то для выяснения генезиса этой нейтрализации необходимо направить усилия на решение вопроса, почему и как могла произойти нейтрализация не только по подъему, но и по лабиализации в безударной позиции. Каково происхождение аллофонов слабой позиции? При этом следует иметь в виду, что утрата того или иного признака в слабой позиции, «редукция» одного из признаков генетически отнюдь не обязательна. Вполне возможен и не менее вероятен другой путь — приобретение признака сильной фонемой.

Так, древнерусская оппозиция  $o : \delta$ , нейтрализуемая именно в безударной позиции, никогда и никем не объяснялась как «редукция», утрата признака закрытости фонемой  $\delta$  в безударном положении. Оппозиция  $a : o$  в положении после мягких восходит к привативной оппозиции, строившейся на признаке подъема  $\ddot{a} : e$ , где  $e$  из  $\dot{e}$  и  $\ddot{e}$  приобрело дополнительный признак лабиализации.

2. Оппозиция  $a : o$  в древнерусском языке продолжает праславянскую оппозицию, строившуюся, очевидно, на других признаках. По общему признанию, древнерусское  $a$  восходит к праславянскому долготу  $*\bar{a}$  из праиндоевропейских долгих  $*\bar{a}$  и  $*\bar{o}$ , а древнерусское  $o$  восходит к праславянскому краткому гласному из праиндоевропейских кратких  $*\check{a}$  и  $*\check{o}$ . Относительно качества праславянского краткого гласного издавна существуют разнообразные точки зрения. Его реконструируют либо как  $*\delta$ , либо как  $*\dot{a}$ , либо как  $*\dot{a}^o$ . Однако с точки зрения фонологической эта оппозиция в любом случае была привативной, построенной на признаке долготы. Если краткий гласный фонетически и имел лабиализованный характер, то этот признак не являлся дифференциальным (большую значимость признака долготы подчеркивали и старшие исследователи), он мог быть лишь интегральным, потенциально дифференциальным признаком, который может стать дифференциальным в дальнейших преобразованиях фонологической системы.

Итак, здесь имела место трансформация привативной оппозиции в эквиополентную:  $(\bar{a} : \check{a}) \rightarrow (a : o)$ . И это могло произойти не раньше, чем в тот период, когда в праславянском языке после монофтонгизации дифтонгов количественные отношения заменились качественными, т. е., фонологически, произошла трансфонологизация оппозиций  $(\bar{i} : \check{i}) \rightarrow (i : \upsilon)$ ,  $(\bar{e} : \check{e}) \rightarrow (e : \epsilon)$ ,  $(\bar{y} : \check{y}) \rightarrow (y : \tau)$ . Если во всех этих случаях признак долготы трансфонологизировался в признак подъема, то и оппозиция  $\bar{a} : \check{a}$  не могла составлять исключения: здесь ожидалась, по крайней мере первоначально, трансфонологизация  $(\bar{a} : \check{a}) \rightarrow (a : \alpha)$ . Оппозиция оставалась привативной до тех пор, пока  $\alpha$  отличается от  $a$  только как гласный не нижнего подъема. Так восточнославянская оппозиция  $a : o$  получила один из своих признаков, признак подъема. Пока еще не было лабиализации, не было и аканья в современном смысле.

3. Если верно положение основоположника теории нейтрализации Н. С. Трубецкого о том, что нейтрализоваться могут только привативные оппозиции и в качестве представителя архифонемы при этом выступает немаркированный коррелят<sup>3</sup>, то случаи нейтрализации эквиополентных оппозиций следует объяснять как приобретение немаркированным членом нейтрализуемой привативной оппозиции дополнительного признака.

<sup>3</sup> Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 87 и сл.

Тогда было бы весьма заманчиво и просто связать первый этап нейтрализации прежней оппозиции  $\bar{a} : \check{a}$  именно с моментом дефонологизации признака долготы. Там и тогда, где общеславянская трансфонологизация признака долготы в признак подъема (изменение количественных отношений в качественные) хронологически сблизится (т. е. не завершится полностью) с установлением новых долготных отношений как просодических, там и возможно возникновение неразличения «этимологических»  $a$  и  $o$  в новых кратких или долгих слогах. Видимо, так следует объяснять происхождение словенского аканья, где нейтрализация имеет место в кратких слогах независимо от места ударения и редукции<sup>4</sup>. Редукция гласных как фонетическое явление не наблюдается здесь именно в акающих говорах, как правило, в говорах не с экспираторным, а с тоническим ударением (!).

Нейтрализация в долгих слогах отмечается, например, в хорватских говорах острова Хвар<sup>5</sup>: *krâja* — *krôj*, но *bôga* — *bôg*, *glôvâ*, *krôtak*, *grôd*, *lôni*, *vôrit*, *stôr*, *kôdit* при *gôvor*, *lozâ* и т. п. (в ударенных и безударных слогах при тоническом ударении с лабиализованным представителем архифонемы). Вероятно, аналогичное явление представлено в кашубском, где в новых долгих слогах отмечается переход  $a > o$ : *papa* — *pôn*, *sama* — *sôm*, *stôrô*, *barôn*, *jô*, *dvanôsce*, *třénôsce*.

4. В восточнославянских языках не было аналогичной перестройки долготных отношений. Здесь наиболее вероятно трансфонологизация признака долготы одновременно с началом поэтапной трансфонологизации оппозиции  $(a : \alpha) \rightarrow (a : o)$ . Те или иные следы неразличения прежней оппозиции  $\bar{a} : \check{a}$ , отмечаемые на всей славянской территории, свидетельствуют о том, что всюду этот процесс шел не сразу, а постепенно, лабиализация  $\check{a}$  краткого происходила постепенно, от позиции к позиции<sup>6</sup>. В данном случае имела место трансфонологизация отдельной фонемы  $\check{a} \rightarrow \alpha \rightarrow o$ , а не дифференциального признака, поэтому лабиализация  $o$  сразу, одновременно во всех позициях не была возможна<sup>7</sup>.

Такой поэтапный переход  $\alpha > o$ , поэтапная трансфонологизация привативной оппозиции в эквиполентную отнюдь не означает обязательность нейтрализации. Противопоставление может полностью сохраняться на протяжении всего процесса, а нелабиализованный и лабиализованный аллофоны одной фонемы будут выступать как ее вариации (ср. вариации фонемы /к/ в современном русском литературном произношении: /к<sup>o</sup>/om и /к/am). Формально:  $(\bar{a} : \check{a}) \rightarrow (a : \alpha) \rightarrow [(a : \alpha) P_1 + (a : o) P_2 = (a : o/\alpha)]$ .

Иными словами, на этом этапе нейтрализации еще нет, нет и аканья, хотя в одних позициях  $P_1$  функционирует еще нелабиализованный, а других позициях  $P_2$  — уже лабиализованный аллофон единой фонемы как ее вариации. Оппозиция сохраняется, и поэтому в памятниках славянской письменности такое «аканье» (отсутствие лабиализации «этимологического»  $o$  в каких-то позициях) не отражается, чему способствует и факт лабиовеляризации согласных перед гласными заднего ряда<sup>8</sup>.

5. Было бы весьма желательно выяснить последовательность такого поэтапного перехода  $\alpha > o$ , хотя это и трудно: начало процесса лабиали-

<sup>4</sup> Я. Р и г л е р, К проблеме аканья, ВЯ, 1964, 5.

<sup>5</sup> М. Н г а с т е, Crtice o bruškom dijalektu, ЈФ, VI, 1926, стр. 180 и сл.

<sup>6</sup> О причинах и механизме поэтапной лабиализации общеславянского  $o < \check{a}$  см.: В. К. Ж у р а в л е в, Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода, ВЯ, 1963, 2, стр. 13; там же см. литературу.

<sup>7</sup> Теоретическое обоснование различия этих двух типов трансфонологизации см.: В. К. Ж у р а в л е в, О внутренних причинах появления фонетических дублетов, «Этимология. 1967», М., 1969.

<sup>8</sup> Подробнее о влиянии этого фактора см.: В. К. Ж у р а в л е в, О праславянском кратком  $\check{a}/o$  и аканье, в кн.: В. И. Г е о р г и е в и др., Общеславянское значение проблемы аканья, София, 1968, стр. 41 и сл.

зации датируется эпохой, непосредственно предшествующей появлению славянской письменности; различные исследователи на весьма разнообразном материале удивительно единодушно указывают на VIII в. как на переломный этап в отражении славянского *ǫ* как *a* и как *o* в более позднее время<sup>9</sup>. Естественно, что в дальнейшем этот процесс осуществлялся уже независимо в отдельных славянских языках и пути перехода  $a > o$  могли в той или иной мере отличаться. Кроме того, на результаты этого процесса могли наложиться «шумы» поздних явлений.

И все же можно полагать, что одним из факторов, ускорявших или замедлявших этот процесс, было положение рядом с губными и заднебными<sup>10</sup>. Еще Н. Дурново отмечал, что наряду с редуцированными гласными в южнелинкорусских говорах в безударном положении спорадически встречается *y* на месте *o*: *кумар*, *музоль*, *самувар* и т. п.<sup>11</sup>. По данным В. Г. Орловой, для юго-западной диалектной зоны характерно спорадическое совпадение *a* и *o* в *y*: *ру/кув/á*, */пуб/олéл*, */бул/тунóв*, *по/пу/лám*, */луп/áтой* и т. п.<sup>12</sup>. На смежной белорусской территории и особенно в говорах с диссимилятивным аканьем отмечается такое же явление<sup>13</sup>, хотя *y* на месте *o* встречается чаще (73 н. п.), чем на месте *a* (15 н. п.). Это означает, что здесь наряду с неразличением кое-где еще имеет место различие, сохранение прежней оппозиции (*a : o*) → (*a : y*). Странно, но именно «архаический» диссимилятивный тип аканья нельзя считать полным аканьем, так как там частично сохраняется различие гласных неверхнего подъема. Такое *y* на месте этимологического *o* не поддается действию принципа диссимилятивности, оно появляется чаще всего рядом с губными и заднебными. Здесь переход  $a > o$  произошел раньше, до становления экспираторного ударения; к моменту нейтрализации оппозиции *a : a* в безударной позиции на месте *ǫ* здесь уже был лабиализованный гласный независимо от ударения. Когда же был «наложен запрет» на безударное *o*, оно конвергировало с другим лабиализованным гласным *y*. Особое поведение *o* рядом с губными и заднебными отмечается и в северновеликорусских говорах<sup>14</sup>.

На Украине отмечаются говоры с «широким *o*» в позиции рядом с губными<sup>15</sup> иногда вплоть до нейтрализации (*a·o*) → *a*. В связи с этим следует еще раз пересмотреть вопрос о рефлексах *a* на месте *o* в украинском языке. По мнению Л. А. Булаховского, это явление чаще отмечается в предударных слогах с последующим ударенным *á*: *гарáзд*, *кажáн*, *калáч*, *качáн*, *гарячий*, *хазя́н*, но *бадьóрий*<sup>16</sup>. При польском *gawieða*, *gawieðzina*, *gawog*, *gaworzyc* и т. п. и некоторых схожих явлениях в лужицком, может быть, здесь следует видеть еще и влияние положения рядом с губными и заднебными (*o* влияния *a* см. ниже) как отражения прежнего процесса поэтапного перехода  $a > o$ . В украинском и польском языках, вероятно,

<sup>9</sup> Ср.: В. И. Лыткин, [Выступление на дискуссии], «IV МСС. Материалы дискуссии», II, М., 1962, стр. 448. Эта же дата устанавливается Е. Шварцем, И. Микколой и другими.

<sup>10</sup> Ср. их роль в раннем процессе нейтрализации \*ǫ × \*ǫ̃; см.: В. К. Журавлев, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1961, 4.

<sup>11</sup> Н. Дурново, Диалектологические разыскания в области великорусских говоров, I, 1, М., 1917.

<sup>12</sup> К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова, Диалектное членение русского языка, М., 1970, стр. 70, 98, 122.

<sup>13</sup> Н. Т. Войтович, Ненаціскны вакалізм народных гаворак Беларусі, Мінск, 1968, стр. 11—13, 29—30, 133.

<sup>14</sup> «Русская диалектология», под ред. Н. А. Мещерского, М., 1972, стр. 115.

<sup>15</sup> Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, стр. 41 и сл.

<sup>16</sup> Л. А. Булаховский, Питання походження української мови Київ, 1953, стр. 164—168.

эта позиция была одной из последних, где дольше всего сохранялся нелабиализованный аллофон фонемы *o*.

Особое влияние позиции рядом с губными и задненебными предсказывается теорией нейтрализации, согласно которой поэтапный переход  $\alpha > o$  рассматривается как нейтрализация оппозиции  $\alpha : o$  аллофонов. Наиболее благоприятной позицией нейтрализации является позиция рядом с маркированным членом родственной корреляции (губные и лабиовелярные задненебные). Нейтрализация в данном случае может быть как ассимилятивной, так и диссимилятивной.

6. В момент затухания процесса  $(\bar{a} : \bar{a}) \rightarrow (a : \alpha) P_1 + (a : o) P_2$ , когда первая оппозиция сохранилась лишь в незначительном числе случаев и мотивации функционирования аллофона  $\alpha$  ослабли, такой нелабиализованный аллофон мог конвергировать с *a*. Следы этого явления можно найти во всех славянских языках вплоть до старославянского, ср. в Супр. акы//окы, да//до и т.п.

Особенно показательны такие фонологические системы, где процесс трансфонологизации привативной оппозиции в эквиолентную еще не завершился и при полном различении выступает нелабиализованный аллофон фонемы *o* в некоторых позициях. Если гипотеза о поэтапном «перетекании»  $\alpha > o$  верна, то такие системы должны быть представлены отдельными островками в окающем море. Это означало бы, что процесс трансфонологизации привативной оппозиции в эквиолентную продолжается и в наши дни.

Такие говоры отмечены на нашем окающем севере<sup>17</sup>. По данным А. И. Сологуб, в 7 или 11 разрозненных н. п. при полном оканье отмечена оппозиция  $a : \bar{z}$  во втором предударном, а в «единичных случаях» и в заударной позиции<sup>18</sup>. Такие отношения наблюдаются и в так называемых «переходных системах» (полновское, гдовское и т. п. аканье), где оппозиция сохраняется полностью или частично, но *o* «заменяется звуком типа  $\bar{z}$  или  $\bar{z}^o$ ,  $a^o$ ,  $o^a$ »<sup>19</sup>; иными словами, здесь оппозиция  $(a : o) = (a : \bar{z})$ :  $tr/a/\bar{v}\bar{a} \sim c/\bar{z}/\bar{v}\bar{a}$ .

Наличие оппозиции  $a : \bar{z}$  на месте  $a : o$  в «переходных», а тем более в диссимилирующих системах<sup>20</sup> может свидетельствовать о том, что к моменту начала нейтрализации переход  $\alpha > o$  здесь еще не завершился и фонема *o* выступает в двух аллофонах — лабиализованном и нелабиализованном.

7. Другим фактором, влиявшим на ускорение или замедление процесса «перетекания»  $\alpha > o$ , были интонация и ударение. По Ф. Рамовшу, у приальпийских славян этот процесс начался под интонацией циркумфлекса, в прочих позициях рефлекс праславянского \* $\bar{z}$  оставался еще нелабиализованным<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> В севернорусских костромских говорах оппозиция  $a : o$  в безударном положении проявляется то как  $a : \bar{z}$ :  $tr/a/\bar{v}\bar{a} - dr/\bar{z}/\bar{v}\bar{a}$ , то как  $a : o$ :  $tr/a/va - dr/o/va$  в речи одного и того же лица старшего поколения. См.: Р. Ф. Пауфощица, О переходе окающего предударного вокализма к окающему (по данным спектрального анализа), «Очерки по фонетике севернорусских говоров», М., 1967. Аналогичное явление отмечено в работе: Т. В. Шайтанова, Говоры по верхнему течению реки Костромы. АКД, М., 1952.

<sup>18</sup> «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», под ред. В. Г. Орловой, М., 1970, стр. 260; ср. также стр. 144, 238, 242.

<sup>19</sup> Т. Г. Строганова, Вокализм, в кн.: «Русская диалектология», ред. П. С. Кузнецов, М., 1973, стр. 66.

<sup>20</sup> По устному сообщению В. Г. Руделева, частичное сохранение оппозиции  $a : o$  как  $a : \bar{z}$  отмечается и в некоторых говорах с преобладанием диссимилятивного аканья на территории Брянской и Смоленской областей.

<sup>21</sup> F. Ramovš, [рец. на кн.:] E. Schwa rg z, Zur Chronologie von asl.  $a > o$ , JФ, VIII, 3/4, 1927/28, стр. 246—247.

У восточных славян  $\alpha$  раньше переходило в  $o$  под новоакутовым ударением (совпадение восходящей интонации с иктусом<sup>22</sup>). Это уже почти всякое ударенное исконное  $o$ , противопоставление по интонации было только в начальном слоге. Пока сделан только один шаг,  $\alpha/o$  — пока вариации одной фонемы, это еще не закрытое  $o$ , уровень их подъема один и тот же.

Важнейшим фактором изменения  $\alpha > o$  у восточных славян было становление экспираторного ударения<sup>23</sup>. В связи с этим и сложилась ситуация, на которой настаивает В. И. Георгиев<sup>24</sup>: в одних говорах  $\alpha > o$  только под ударением, в других — независимо от ударения. Процесс поэтапной трансфонологизации привативной оппозиции в эквиолентную пересекался с процессом становления экспираторного ударения. К этому моменту в ударенной позиции функционировал уже лабиализованный, а в безударной — нелабиализованный аллофон, хотя аканье в современном смысле еще не было, и различие могло оставаться полным, как в тех севернорусских говорах, где при полном различии  $o$  и  $\alpha$  выступают в качестве вариаций одной фонемы. В диахронической формуле  $(\bar{a} : \check{a}) \rightarrow (a : \alpha) \rightarrow [(a : \alpha) P_1 + (a : o) P_2]$  первая оппозиция (1) функционирует в безударном, а вторая (2) — в ударенном положении.

К моменту становления экспираторного ударения в каких-то говорах, вероятно, на юге восточного славянства, процесс перехода  $\alpha > o$  зашел дальше, захватив если не все, то многие безударные слоги, а в говорах, где позже развилось диссимилятивное аканье, были частично захвачены и безударные слоги с лабиализованными и задненебными согласными.

В связи с дефонологизацией интонационных различий при становлении экспираторного ударения оппозиция ранее лабиализовавшегося  $o$  с новоакутовой интонацией  $\delta$  и всякого ударенного  $\delta$  может сохраниться и трансфонологизироваться в признак подъема, и тогда появляется оппозиция  $\delta : o$ , нейтрализуемая в безударном положении  $(\delta \cdot o) \rightarrow \alpha$ . Однако эта оппозиция двух  $o$ , противопоставлявшихся по признаку интонации в связи с дефонологизацией тонического ударения, может дефонологизироваться, и оппозиция  $\delta : o$  такого происхождения не возникнет. Так, очевидно, случилось на юге восточного славянства, где оппозиция  $\delta : o$  иного происхождения (в новых закрытых слогах)<sup>25</sup>.

Процесс  $\alpha > o$ , трансформация привативной оппозиции в эквиолентную, может продолжаться и дальше, после становления экспираторного ударения: лабиализованный аллофон может и дальше, от позиции к позиции вытеснять нелабиализованный, пока нет нейтрализации противопоставления  $\alpha : \alpha/o$  хотя бы в одной какой-нибудь позиции. Вероятно, так шел процесс на русском севере, в окающих говорах с полным различием, где конвергенция  $(\alpha \times o) \rightarrow o$  до сих пор охватила не все позиции. Не случайно А. А. Шахматов называл олонецкие говоры «не-окающими», что особенно заметно в песенной речи<sup>26</sup>. Для прекращения процесса

<sup>22</sup> В. В. Колесов, История русского ударения, Л., 1972, стр. 224.

<sup>23</sup> Уже «метатеза ликвид» ослабляет тоническое ударение в пользу места ударенного слога: *tārt : tār̄t* → *tōrot : torōt*, ср. литов. *vařnas : vār̄na* = «брон : ворбна». У других славян эти отношения трансформировались в долготные, причем у сербов и чехов — в противоположном направлении: серб.-хорв. *krāva : grād* = чеш. *krāva : hrad*. См.: В. К. Журавлев, Развитие группового сингармонизма в праславянском языке, Минск, 1963, стр. 35.

<sup>24</sup> В. И. Георгиев, Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка, ВЯ, 1963, 2.

<sup>25</sup> Т. В. Назарова, К проблеме украинского икавизма, ВЯ, 1971, 2, стр. 41 и сл.

<sup>26</sup> Ср.: Н. Ю. Волков, Особенности языка олонецких былин, «Живая старина», СПб., 1893, стр. 131 и сл. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность В. Г. Руделеву, указавшему на этот источник и прочитавшему рукопись всей монографии, своеобразным рефератом которой является эта статья.

$a > o$  необходимо наличие встречного процесса поэтапной нейтрализации прежней оппозиции  $\bar{a} : \bar{a}$ .

8. Каким же путем могла осуществиться нейтрализация прежней оппозиции  $\bar{a} : \bar{a}$  у восточных славян? Следует вспомнить, что общеславянская дефонологизация признака долготы, его трансфонологизация в признак подъема (изменение количественных отношений в качественные) — процесс длительный, который должен был сопровождаться сокращением прежних долгих в одних позициях, удлинением кратких — в других, т. е. превращением долготы в просодический признак. И именно в новом долгом или в новом кратком слоге наиболее вероятно возникновение нейтрализации по долготе, если в каких-то позициях этимологические  $a$  и  $o$  противопоставляются прежде всего по этому признаку. Сама по себе нейтрализация по тому или иному признаку может возникнуть лишь в родственной позиции.

У восточных славян, в отличие от западных и части южных, при становлении экспираторного ударения просодический признак долготы оказался так или иначе связанным с местом по отношению к ударенному слогу. Интенсивность и долгота могут совпадать, как в современном литературном языке, или не совпадать, выделяя долготой, например, первый предударный или конечный открытый слог<sup>27</sup>.

При трансфонологизации одного признака в другой прежний признак не исчезает сразу без достаточных на то условий, он лишь становится интегральным, избыточным, сохраняясь на реляционно-физическом уровне как дополнительный физический субстрат нового признака<sup>28</sup>.

Наиболее подходящим условием для элиминации прежнего признака долготы как избыточного физического субститута признака подъема было формирование новых долготных отношений в связи с установлением экспираторного ударения. В новых кратких слогах наиболее вероятной была нейтрализация в пользу интегрального краткого  $a$ , а в долгих — долгого  $a$  коррелята нейтрализуемой оппозиции  $a : a$ . Случайно ли в связи с этим, что в окающих говорах в позиции непервого предударного, как правило, представлен гласный типа  $\bar{a}$ , а в говорах с недиссимилятивным аканьем в первом предударном выступает  $a$ ?

Однако более вероятно, что нейтрализация протекала не сразу во всех позициях, а лишь там, где в противопоставлении  $a : a$  физический субститут долготы имел больший «удельный вес», чем подъем. С точки зрения излагаемой здесь гипотезы в окающих говорах, а тем более в говорах с неполным оканьем должны сохраниться следы такой нейтрализации в прежних кратких слогах, установившихся после формирования экспираторного ударения. Здесь ожидается наличие нелабиализованного гласного неверхнего подъема на месте  $a$  и  $o$  в каких-то отдельных позициях. И такие говоры есть. Так, по В. В. Колесову, «ослабление заударных слогов» отмечается в окающих поморских и вологодско-кировских говорах: *хлѣ/бѣм/*, *бѣ/бѣм/* и т. п., а при неполном оканье «редукция безударных» наблюдается во всех слогах, кроме первого предударного (владимирско-поволжская группа): /гѣв'ор'йт/, /хѣр'ошб/ и т. п.<sup>29</sup>

Итак, наиболее благоприятной позицией для нейтрализации относительно признака долготы является позиция в новых долгих и кратких

<sup>27</sup> См.: «Русская диалектология», под ред. Н. А. Мещерского, М., 1972, стр. 86 и сл., 114 и сл.

<sup>28</sup> Теоретическое обоснование этого см. в работе: В. К. Журавлев, Двухступенчатая теория фонологии и методика моделирования фонологических процессов, «Конференция по фонологии», М., 1963.

<sup>29</sup> «Русская диалектология», стр. 99. Ср. также его замечание о важности просодическ признака долготы до падения редуцированных («История русского ударения», стр. 226).

словах, возникших в результате дефонологизации признака долготы при преобразовании количественных отношений в качественные: ( $\bar{e} : \bar{e}$ ) → ( $\acute{e} : e$ ) и т. д. У восточных славян признак долготы (уже как просодический) стал обуславливаться местом относительно ударенного слога в связи со становлением экспираторного ударения.

9. Вторичной благоприятной позицией для нейтрализации оппозиции  $a : a$  теперь уже по признаку подъема является позиция рядом с маркированным членом той же (нижний подъем, ассимилятивно или диссимилятивно) либо родственной (верхний подъем — диссимилятивно) оппозиции.

Нейтрализация, раз возникнув в той или иной позиции, имеет тенденцию расширить область своего функционирования, постепенно увеличивая число позиций неразличения за счет позиций различения<sup>30</sup>. Шаг за шагом нейтрализация может охватить все позиции, где еще функционирует привативная оппозиция  $a : a$ , но она не сможет осуществиться в позициях, где уже функционирует эквиполентная оппозиция  $a : o$ <sup>31</sup>. Здесь уже нет признака долготы, даже интегрального, нейтрализуется только признак подъема, а потому он становится (только теперь!) фактором, обуславливающим нейтрализацию.

Исходя из классификации нейтрализаций фонологических оппозиций<sup>32</sup>, данную нейтрализацию следует рассматривать как регрессивную, ибо она осуществляется в первом предупредительном слоге, наиболее долгом. Она может быть как ассимилятивной, так и диссимилятивной относительно маркированного члена родственной или той же оппозиции.

Таким образом, развитие нейтрализации оппозиции  $a : a$  по подъему может происходить вначале рядом с маркированным членом той же или родственной оппозиции ударенных гласных, т. е. перед нижним  $\acute{a}$  ассимилятивно  $a$  либо диссимилятивно  $a$ , если в данной позиции уже не появился немаркированный член оппозиции  $a$ . При этом в остальных позициях (перед другими гласными) оппозиция  $a : a$  еще сохраняется (ср. шатурский тип аканья). Позиция нейтрализации может возникнуть и при ударенных верхних гласных  $i, \acute{y}, \acute{i}$ , а остальные будут обуславливать позицию релевантности, сохранения оппозиции  $a : a$ . В этом случае нейтрализация не может быть ассимилятивной, так как в оппозиции  $a : a$  нет признака «верхний». Таким образом, в случае нейтрализации данной оппозиции перед ударенным верхним такая нейтрализация может быть только диссимилятивной (ср. полновский тип аканья). В этом и следует видеть источник принципа диссимилятивности.

Позиция нейтрализации может возникнуть и перед обоими маркированными членами корреляции (ср. гдовский тип) — ударенным верхним и нижним, а позиция перед немаркированным членом останется еще позицией различения (т. е. позиция перед не-нижними, не-верхними  $o, e$ <sup>33</sup>). В конце концов нейтрализация может охватить и все безударные слоги, а ударенные гласные при этом должны так или иначе разбиться на два

<sup>30</sup> В. К. Журавлев, Понятие силы фонологических оппозиций, сб. «Фонетика, фонология, грамматика», М., 1971.

<sup>31</sup> Ср. так называемое аканье с ассимилятивным оканьем и следы сохранения оппозиции как  $a : y$  в диссимилятивном аканье.

<sup>32</sup> В. К. Журавлев, Классификация нейтрализаций фонологических оппозиций, «Abstracta. Vorträge der II Internationalen Phonologie-Tagung», Wien, 1972.

<sup>33</sup> Если общая теория нейтрализации верна, то можно ожидать хотя бы частичное отражение такого состояния в реальных говорах, что в действительности и наблюдается. Ср.: Т. Г. Степанова, указ. соч., стр. 66—69; ср. еще так называемый шатурский тип аканья («Русская диалектология», под ред. Н. А. Мещерского, стр. 118).

класса, обуславливая характер представителя архифонемы нейтрализуемой оппозиции  $a : \alpha$  <sup>34</sup>.

При этом процесс  $\alpha > o$  может продолжаться, либо приостанавливая процесс нейтрализации  $\alpha \cdot a$ , так как эквиолентная оппозиция  $a : o$  уже не нейтрализуется, либо захватывая и нелабиализованный представитель архифонемы (конотопский и другие подтипы, где в качестве «не- $a$ » выступает лабиализованный аллофон:  $\epsilon^o, \alpha^o, a^o, o^o, o^\alpha$  и т. п.). На ускорение или замедление процесса лабиализации может оказать влияние наличие  $\acute{o}$  (аканье с ассимилятивным оканьем), либо и  $\acute{y}$ , под ударением или соседство с лабиальным или задненебным согласным (уже вторично). В связи с этим нельзя оставить без внимания замечание П. Бузука <sup>35</sup> о том, что оканье «удерживается» дольше в позиции после губных и задненебных. Он отмечает ряд населенных пунктов, где  $a$  и  $o$  нейтрализуются в позиции после зубных и сохраняются после губных и задненебных (*тавар, нага, дарога, табе, дамы, рабиць ~ вода, гора, погода, овэчка, колена, боляць* и т. п.). По материалам Атласа <sup>36</sup>, и здесь нередко сохраняется как  $a : y$  или  $a : \acute{y}$ : *вулы, вудá, вула́, вудб́й, пум'áй, пун'бс, пубра́ц', пудн'áц, вудб́á, вудл́ы, вудд́ы*. Как видно из примеров, здесь нет зависимости от качества ударенного гласного. К сожалению, это явление, очень важное как в плане общеславянских отношений (оппозиция зубные ~ незубные нередко отражается на «судьбе» вокализма в славянских и даже балтийских языках), так и для истории восточнославянского аканья, весьма глухо отражено в материалах русского и белорусского Атласов. Очевидно, в «походной лаборатории диалектолога», построенной на диссимилятивно-обоянском редуциционном принципе, не было «пробирок» для проб на это явление, а жаль. Пусть это явление затемнено последствиями поздних явлений и процессов, но разве «архаический» тип не «сбит» <sup>37</sup>? Если излагаемая здесь гипотеза верна, то это явление должно так или иначе отражаться в диалектных вокалических системах. Влияние соседних губных и задненебных иерархически и исторически важнее, оно гораздо старше влияния ударенного вокализма.

10. Современная нейтрализуемая эквиолентная оппозиция  $a : o$  восходит к двум привативным оппозициям:  $(a : o) \leq [(\bar{a} : \acute{a}) + (\acute{a} : \acute{y})] \rightarrow [a : \alpha] + (\alpha : \epsilon)$ , так как в восточнославянских языках произошла конвергенция «сильного»  $\epsilon$  с «этимологическим»  $o$ . Любая конвергенция проходит через этапы последовательной нейтрализации <sup>38</sup>. От нейтрализации к нейтрализации оппозиция исчезает полностью <sup>39</sup>. Искони оппозиция  $(\acute{a} : \acute{y}) \rightarrow (\alpha : \epsilon) \rightarrow (o : \epsilon^o)$  (?) строилась на признаке подъема. Между редуцированным и этимологическим  $o$  был только один фонологический шаг, один дифференциальный признак. Признак «редуцированности» не существовал и не мог существовать как дифференциальный. В результате последовательной нейтрализации цепочки оппозиций, построенной на

<sup>34</sup> Идэю П. С. Кузнецова (см.: В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 146—147) о независимом от воздействия аканья развитии так называемого неполного оканья следует распространить и на неполное аканье.

<sup>35</sup> П. Б у з у к, Спроба лінгвістычнае геаграфіі Беларусі, Мінск, 1928, стр. 19.

<sup>36</sup> См.: Н. Т. В о й т о в и ч, указ. соч., стр. 14, 19, 21, 23, 26 и др.

<sup>37</sup> Ср.: К. Ф. З а х а р о в а, Типы диссимилятивного аканья в русских говорах, ВЯ, 1971, 2.

<sup>38</sup> Случайно ли, например, что в Смоленской грамоте 1229 г. смещение  $\epsilon$  и  $o$  наблюдается чаще в безударных, чем в ударенных слогах? См.: В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, стр. 141. Ср. также: Е. К у р и л о в и ч, О некоторых фикциях сравнительного языкознания, ВЯ, 1962, 1, стр. 35.

<sup>39</sup> В. К. Ж у р а в л е в, Пути, причины и способы развития фонологической системы, сб. «Вопросы фонологии и фонетики», 1, М., 1971, стр. 99.

признаке подъема  $a \cdot \alpha \cdot \tau$ , современная оппозиция  $a : o$  должна унаследовать три представителя архифонемы  $a//\alpha//\tau$  и правила их функционирования. Аллофоны  $\alpha$  и  $\tau$  не противоречат правилам нейтрализации современной оппозиции  $a : o$ , выступая как минусовые корреляты обоих ненейтрализуемых членов: не-нижний, не-лабиализованный. На их функционирование накладывается лишь одно ограничение: они не могут быть в одной и той же позиции, их функционирование должно быть так или иначе мотивировано современным состоянием системы, иначе они сольются, будучи избыточной реализацией одного и того же представителя архифонемы. Унаследован и третий представитель архифонемы  $a$  и правила его функционирования. И он не противоречит правилам современной нейтрализуемой оппозиции  $[(a \cdot b) \rightarrow c]$ , где  $c = a/b$ . Кроме того, современная экви-полентная оппозиция может «генерировать» своих представителей архифонемы: если  $(a \cdot b) \rightarrow c$ , то  $c = /a^o/$  как маркированный член, если  $(a \cdot b) \rightarrow c$  при  $c = a/b$ , то  $a/o$ . В этом следует видеть результат продолжения процесса  $\alpha > o$ , уже после нейтрализации. По правилам нейтрализации современной оппозиции, в одной системе не может быть больше двух представителей архифонемы, остальные должны элиминироваться (может быть  $a/\alpha$ , либо  $a/\tau$ , либо  $\alpha/\tau$  или один из них, либо новые  $a^o/o$ ).

Только это сокращение аллофонов значительно изменит унаследованные правила их функционирования в пользу современной мотивации. Прав Р. И. Аванесов, который указывает на факт отсутствия различий старых и новых первых предупредительных слогов в диссимилятивных системах (*стинá — стянú* как *цвйткá — цвяткú*)<sup>40</sup>. Таких различий и не может быть, ибо признак подъема ударенных гласных — относительно позднее условие нейтрализации, ибо этот признак — условие современной мотивации функционирования свободных аллофонов<sup>41</sup>  $a$ ,  $\alpha$ ,  $\tau$ , полученных в результате процессов нейтрализации цепочки оппозиций  $a \cdot \alpha \cdot \tau$  из  $\bar{a} \cdot \bar{\alpha} \cdot \bar{\tau}$ .

11. При встрече двух процессов поэтапной нейтрализации  $a \cdot \alpha$  и поэтапной лабиализации  $\alpha > o$  — процесс нейтрализации пойдет тем быстрее, чем сильнее будет нейтрализация. Сила нейтрализации может быть вычислена по формуле:

$$F_n = k \frac{N}{D}.$$

Чем больше число позиций неразличения  $N$  и меньше число позиций дифференциации  $D$ , тем сильнее нейтрализация. Значит, в говорах с полным аканьем, где  $a$  и  $o$  различаются только под ударением, нейтрализация будет сильнее, чем в прочих «переходных» системах. Сила нейтрализации зависит еще и от числа коррелятивных пар ( $k$ ), нейтрализующихся относительно того же признака. Чем больше таких коррелятивных пар, тем сильнее нейтрализация, тем ускореннее пойдет процесс вплоть до полной нейтрализации оппозиции  $a : \alpha$  в безударном положении.

В качестве таких нейтрализуемых пар в эпоху развития этого процесса в древнерусском языке могли быть: 1) оппозиция ( $\alpha : \tau$ ) (сильного  $\tau$  с «этимологическим»  $o$ ); 2) оппозиция ( $\delta : o$ ), возникшая сразу как нейтрализуемая в безударном положении; 3) оппозиция ( $e : \upsilon$ ) < ( $\acute{e} : \grave{e}$ ); 4) оппозиция ( $\acute{e} : e$ ) < ( $\acute{e} : \grave{e}$ ); 5) оппозиция ( $\grave{a} : e$ ) < ( $\acute{e} : \grave{e}$ ).

Кроме того, если согласиться с общепринятым мнением о том, что переход  $e > o$  совершался вначале только под ударением (сюда же следует

<sup>40</sup> Р. И. Аванесов, Проблемы образования языка русской (великорусской) народности, ВЯ, 1955, 5, стр. 28.

<sup>41</sup> См.: П. С. Кузнецов, К вопросу о качестве безударных гласных не первого предупредительного слога в акающих говорах, «Бюллетень диалектологического сектора ИРЯ АН СССР», 2, М.—Л., 1948, стр. 33 и сл., где говорится о колебании в произношении  $\tau$  и  $a$ .

отнести и переход сильного  $\bar{y} > o$ ), то возможности для нейтрализации этих оппозиций в безударном положении возрастут.

Это значит для современных диалектных систем, что сила нейтрализации  $a : o$  меньше или больше, если там нейтрализуется большее или меньшее число коррелятивных пар. Там, где оппозиций  $a : e$  и  $\bar{e} : e$  сохраняются в безударном положении, сила нейтрализации оппозиции  $a : o$  меньше, процесс нейтрализации менее интенсивен.

Это значит для древнерусского языка, что в тех диалектах, где максимально хронологически сблизились процессы нейтрализации всех древнерусских гласных неверхнего подъема (все гласные, кроме верхних, имели эту возможность, так или иначе реализованную в современных диалектах), сила нейтрализации была больше, процесс нейтрализации  $a : a$  шел интенсивнее вплоть до охвата всех безударных слогов. В таких диалектах наиболее вероятно было достижение состояния полного аканья.

Если же процесс падения редуцированных и вокализации сильных еров (точнее: процесс нейтрализации оппозиций  $e : \bar{y}$  и  $a : \bar{z}$  по признаку подъема <sup>42</sup>) проходил слишком рано или слишком поздно, то число коррелятивных пар было меньше на две, сила нейтрализации была меньше и процесс нейтрализации  $a : o$  шел менее интенсивно. Это дало возможность процессу поэтапной лабиализации  $a > o$ , процессу трансфонологизации привативной оппозиции в эквиолентную ( $a : a$ )  $\rightarrow$  ( $a : o$ ) охватить большее число позиций. Задержка или отсутствие нейтрализации других оппозиций в безударном положении ослабляли общую силу коррелятивной нейтрализуемой оппозиции. Если же в фонологической системе сила нейтрализации окажется минимальной, то уже возникшая в какой-то позиции нейтрализация не будет распространяться на другие позиции, процесс остановится, останутся лишь те или иные лексикализованные или морфологизованные следы начинавшейся когда-то нейтрализации в виде колебаний, дублетов и т. п. Встречный процесс поэтапной трансфонологизации привативной оппозиции в эквиолентную в этом случае осуществится полностью, и лишь в конце его могут появиться новые «сбивы», новые отступления от «этимологии». Новые «сбивы» смешаются со старыми, весьма и весьма значительно «затемнив» условия первичной нейтрализации.

Таким образом, теория нейтрализации и диахроническая фонология в состоянии объяснить не только почти все зафиксированные системы безударного вокализма как результат спонтанного развития, но и фонетическое качество представителя архифонемы, самый характер «редукции» безударных гласных. О канье (различение) и аканье (частичное неразличение) — две возможные и равновероятные реализации прежнего полного различения без лабиализации.

<sup>42</sup> Ср. факт большого сохранения прежних оппозиций ( $\bar{a} : \bar{y}$ )  $\rightarrow$  ( $a : \bar{z}$ ) в украинском языке сравнительно с русским: др.-русс. *печь : дьнь*  $\rightarrow$  *пич : день* // *печи : дня*; *конь*  $\sim$  *сьнь*, *льбь*  $\rightarrow$  *кинь*  $\sim$  *сон*, *лоб* // *коня*  $\sim$  *сна*, *лоба*.

Ю. Н. КАРАУЛОВ

О НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  
(Семиотические аспекты словаря)

Описание и классификация словарей осуществляется по многим параметрам: предназначению и объему, систематичности или выборочному характеру материала, классификации материала по фонетическим формам или по семантической близости и т. п.<sup>1</sup> Рядом с такими классификациями и, как правило, отдельно и независимо от них исследуются свойства лексической семантики, системные свойства лексики<sup>2</sup>.

Вместе с тем существуют такие универсальные черты, которые порождаются свойствами лексической семантики и своеобразно проявляются именно в словаре как особом способе организации лексических знаков. Для выявления и изучения этих универсальных черт следует сделать попытку совместного рассмотрения семантического и словарного аспектов лексики. В этой статье будут представлены наблюдения над семантическими закономерностями<sup>3</sup>, общими для разных лексикографических объектов и, наоборот, по-разному представленными в словарях, которые традиционно рассматриваются как однотипные.

Когда мы оцениваем соотношение левой и правой частей в словаре, естественно напрашивается аналогия со строением знака. Как и знак, словарь<sup>4</sup> имеет две стороны: словник (или исходный набор) и его описание, т. е. объяснительную часть. Иногда говорят еще, что словарь и имеет вход и выход. Словник можно уподобить означающему, так как на входе важна лишь внешняя сторона, позволяющая идентифицировать слово, а объяснительную часть соответственно — означаемому, поскольку на выходе интерес представляет лишь семантика, т. е. содержательная сторона слова. Эта аналогия заходит как будто еще дальше. Как и две стороны знака, вход и выход словаря асимметричны: в чисто внешнем плане объясни-

<sup>1</sup> Эти параметры систематизируются в ставшей теперь классической работе Л. В. Щербы «Опыт общей теории лексикографии» в его книге «Избранные работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958.

<sup>2</sup> Типичной работой такого плана, представляющей собой компендиум современных данных в области лексикологии и лексикографии, является книга: L. Z g u s t a, Manual of lexicography, Praha, 1971.

<sup>3</sup> Некоторые закономерности внешнего порядка, отличающие словарь как от других незнаковых, так и от знаковых способов организации знаков, рассматриваются в нашей статье «Словарь и его свойства» (сб. «Проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков», М., 1974).

<sup>4</sup> До недавнего времени термин «словарь» широко употреблялся в значении «список слов», особенно в работах по трансформационной и порождающей грамматике. Теперь, как правило, в таком значении в лингвистической литературе «словарь» встречается редко. Даже в работах по трансформационной грамматике в него вкладывается смысл, предполагающий особый способ организации единиц, т. е. словарь понимается как статическое множество связей между фонологическими формами (морфемами), с одной стороны, и их значениями и употреблениями (семантической и синтаксической ценностью) — с другой. См.: J. S. G r u b e r, Die Funktionen des Lexikons im formalen Deskriptiven Grammatiken (Auszug), в кн.: «Probleme des „Lexikons“ in der Transformationsgrammatik», Frankfurt/Main, 1972, стр. 1; Ch. J. F i l l m o r e, Arten lexikalischer Information, там же.

тельная часть всегда превышает по объему исходный набор слов. Однако аналогия эта лишь кажущаяся, потому что соотношение двух сторон словаря обратно соотношению двух сторон знака. Если в знаке его означающее идентично самому себе и асимметрично своему означаемому, то в словаре, наоборот, словник и объяснительная часть эквивалентны друг другу в содержательном отношении, находятся в семантическом равновесии, идентичны, так сказать, содержательно, а асимметрия их переведена в план выражения. Выражение и содержание меняются местами. Свойственная единичному знаку возможность инверсирования двух его сторон<sup>5</sup> преломляется в словаре в снятие асимметрии единичного знака и перенос ее в план выражения всего словаря. Семантическое равновесие входа и выхода позволяет свободно (в содержательном отношении) менять местами две части словаря — заменять словник его описанием или подставлять данные входа на выход.

При условии обязательной семантической эквивалентности степень асимметричности входа и выхода словаря может быть различной и колебаться между следующими логически возможными, но практически никогда не реализующимися крайними случаями:

1. Словник и его описание независимы друг от друга (максимальная асимметрия). Ни одно из слов на входе в словарь не появляется на его выходе. Описание в этом случае должно осуществляться в некоторой системе, не соприкасающейся с исходной, не имеющей общих с ней элементов. Метаязык полностью произволен по отношению к объекту описания. Применительно к знаку такое положение соответствует абсолютной его произвольности, немотивированности.

2. Словник целиком входит в свое описание (минимальная асимметрия). В этом случае на входе и на выходе должны быть представлены одни и те же слова, описание объекта должно осуществляться в терминах самого объекта. По отношению к знаку такое положение соответствует полной мотивированности.

Рассмотрим возможные реализации каждого из этих случаев.

Независимости входа и выхода, описания от словника скорее всего можно ожидать в словарях, левая и правая части которых представляют собой разные системы. Таковы, например, переводные словари, в которых на входе и выходе используются разные языки. Таковы словари жаргонов, где на входе дается слово, относящееся к системе жаргона, а на выходе — либо общезыковой эквивалент, либо развернутое толкование на литературном языке, или словари иностранных слов. Независимость левой и правой частей словаря предполагает отсутствие общих для обеих частей элементов, т. е. правая часть при объяснении не должна использовать элементов левой части, выход не должен содержать ссылок на вход. Иными словами, развертывание словаря должно идти слева направо, и обратное движение должно быть запрещено. Однако при оценке с этой точки зрения правой части словарей указанного типа легко убедиться, что во всех них этот запрет нарушается, например: а) переводной словарь<sup>6</sup> (далее в примерах везде слева указан вход, а справа — выход): *hohe* см. *hoch*; *ekelerregend* см. *ekelhaft*; *elendig*, *elendiglich* см. *elend* и т. д.; б) словарь жаргона<sup>7</sup>: *оправилы* (см. *ксивы*); *орехи* — (см. *маслины*) и т. д.

<sup>5</sup> Иногда это свойство знака называют «законом обращения планов». См., например: Ю. С. Степанов, Семиотика, М., 1971, стр. 129—137.

<sup>6</sup> «Немецко-русский словарь», под ред. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой, М., 1958.

<sup>7</sup> «Жаргон преступников (пособие для оперативных и следственных работников милиции)», М., 1952.

Как видим, при объяснении одного элемента словника (слева от указателя см.) используется другой элемент того же самого словника (справа от см.), т. е. на выходе и входе используются одни и те же элементы, выход и вход не независимы друг от друга. Можно предположить, что ссылки на вход в объяснительной части двуязычных и жаргонных словарей связаны с наличием в их словниках развитых системных отношений, прежде всего синонимии, омонимии, полисемии. Однако и в словарях, как будто бы не предполагающих системной обусловленности элементов внутри левой части, наблюдается то же положение, т. е. синонимические, словообразовательные и иные системные связи разрушают гипотетическую независимость друг от друга двух сторон словаря. Обратимся хотя бы к таким примерам: в) словарь иностранных слов<sup>8</sup>: *кутис* [ $\leftarrow$  лат. *cutis* кожа] — то же, что *дерма*; *практикант* — человек, проходящий производственную практику (см. *практика* 2) и т. д.; г) словарь новых слов<sup>9</sup>: *биоток*, а, м. То же, что биоэлектрический потенциал (см. *биоэлектрический* 1); *биоуправление*, я, ср. Управление при помощи многократно усиленных биотоков (см.) мышц. Здесь *биоток* определяется с отсылкой к элементу левой части *биоэлектрический*, а *биоуправление* — с отсылкой опять к *биоток*.

Поскольку ни в одном из рассмотренных словарей не реализуется предельный случай соотношения двух его частей, предполагающий их взаимную независимость, можно сделать вывод о принципиальной невозможности построить словарь таким образом, чтобы его части были независимы друг от друга. Эта закономерность прослеживается в любом словаре объяснительного типа — толковом, терминологическом, диалектном. В толковом словаре, в силу универсальности его словника, эта закономерность проявляется шире, чем в любом другом. Вот один только пример из семнадцатитомного академического словаря: *сюртучишко* — уменьш.-уничиж. к *сюртук*; *сюртучник* 1. Специалист по кройке и шитью сюртуков. 2. Устар., простореч. Тот, кто обычно носил сюртук; *сюртучный* — относящийся к сюртуку; *сюртучок* — уменьш.-ласк. к *сюртук*.

Во всех таких случаях на выходе дается отсылка к одному и тому же элементу словника, но не зная содержания этого элемента, нельзя до конца понять толкование указанных единиц входа. Из приводящейся информации можно заключить только, что «это» кроют и шьют специалисты и что «это» носят, т. е. можно сделать вывод о родовой принадлежности.

Другой крайний случай предполагает обязательное использование всех слов левой части, и только их, для описания присущего им же самим смысла, т. е. на входе и на выходе должны использоваться одни и те же элементы. Этот случай не может быть реализован уже потому, что систему нельзя описать изнутри, только на основе ее собственных ресурсов, для описания системы нужно выйти за ее пределы. В любом словаре легко найти отклонения от гипотетического равенства элементов левой и правой частей. Эти отклонения проявляются, с одной стороны, в наличии в словнике лексических единиц, не используемых в объяснительной части, и, с другой стороны, в появлении на выходе слов, не фигурирующих на входе.

Таким образом, семантическое равновесие в словаре достигается за счет снятия асимметрии единичного знака и перевода ее в асимметрию плана выражения словаря в целом. Для устранения же присущей отдельно взятому знаку асимметрии словарь создает «прибавочную значимость», приращение смысла.

<sup>8</sup> «Словарь иностранных слов», 6-е изд., М., 1964.

<sup>9</sup> «Новые слова и значения», под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина, М., 1971.

Под приращением смысла будем понимать такое явление, когда общий смысл совокупности знаков, возникающий при их объединении, больше, чем простая сумма смыслов входящих в эту совокупность знаков. Созданием прибавочной значимости или приращением смысла характеризуются незнаковые способы организации знаков, например текст, стиль писателя, художественный образ — в противоположность знаковым способам, таким, как соединение морфем при словообразовании, системная упорядоченность знаков (система знаков) и др.

**Приращение смысла.** Для описания смысла одного отдельно взятого слова необходимо несколько слов, для описания смысла десяти случайно выбранных слов используется больше десяти слов. Однако с увеличением исходного набора разница между числом объясняемых слов ( $n$ ) и числом слов, используемых в объяснении ( $N$ ), будет уменьшаться. Можно предположить, что при каком-то, пусть очень большом,  $n$  наступит, так сказать, насыщение словаря, при котором слов на входе и выходе будет поровну, т. е.  $n = N$ , а затем, возможно даже  $n > N$ . На деле этого не происходит:  $n$  только стремится к величине  $N$ , но никогда ее не достигает. Меньшее количество слов можно описать с помощью большего, но не наоборот. Словник оказывается подобным зеноновскому Ахиллу, который не может догнать черепаху. В объяснительную часть любого словаря всегда входят такие единицы, которые в рамках самого словаря не объясняются.

Этот парадокс семантики, заключающийся, образно говоря, в том, что шар большего объема, т. е. план содержания, вкладывается в шар меньшего объема — план выражения, порождается, очевидно, фундаментальным противоречием в характере самого словаря. Его словник представляет собой конечный и закрытый класс, лексика же, которую он репрезентирует, конечна, но открыта. Открытый характер лексики, ее непосредственная связь с бесконечностью реальности и является первопричиной того, что в словаре порождается добавочный смысл, который находит отражение в появлении на выходе слов, не включенных в исходный набор.

Проиллюстрируем приращение смысла несколькими примерами.

1. С л о в а р и т е р м и н о л о г и ч е с к и е и с п е ц и а л ь н ы е. На словарях этого типа проще всего показать справедливость закона: для толкования терминов некоторой области науки неизбежно используются слова общенародного языка, термины других наук, которые не объясняются в рамках данного словаря.

Радиотехнический словарь<sup>10</sup>: его словник не включает слов: *идея*, *среда*, *называть*, *специфический*, *возникать* и др., употребляемых, например, в статье «Однородные системы».

Политехнический словарь<sup>11</sup>: «*Круглогубцы* — щипцы с круглыми губками (фиг.) для изгибания проволоки и пр.» Ни одно из слов этой статьи не входит в словник самостоятельно, только *круглый* встречается в словнике в сочетании *круглая пила*.

Логический словарь<sup>12</sup>: «*Событие* — то, что произошло или происходит в настоящее время». Ни одно из объясняющих слов не входит в словник.

Энциклопедический словарь<sup>13</sup>: «*Пупок*, рубец (обычно втянутый), образованный на месте отпавшего остатка пуповины». На входе в словарь имеются лишь два слова этой статьи — *рубец* и *пуповина*.

Примеры подобного рода легко умножить, привлекая философские, медицинские, диалектные и другие словари. Но даже «Большая советская

<sup>10</sup> «Словарь радиолюбителя», 4-е изд., Л., 1972, стр. 315.

<sup>11</sup> «Краткий политехнический словарь», М., 1956, стр. 472.

<sup>12</sup> Н. И. К о н д а к о в, Логический словарь, М., 1971, стр. 485.

<sup>13</sup> «Энциклопедический словарь», 2, М., 1964, стр. 272.

энциклопедия» подтвердит справедливость этого наблюдения, поскольку не включает в словник большое число глаголов общего, нетерминологического значения, наречия, вспомогательные части и частицы речи и пр.

2. С л о в а р и т о л к о в ы е. При объяснении значений слов в словаре С. И. Ожегова употребляются три рода слов, не фигурирующих в словнике: а) географические и историко-географические названия: *Русь* (в словарных статьях *вотчина*, *дьяк* и др.), *Европа* (см. *восток*, *европейцы* и др.), *Греция*, *Рим* (см. например, *стоицизм*), *Иудея* (см. *фарисей*) и т. д.; б) собственные имена: одно из значений слова *фаланга* — большая община, коммуна (в утопическом учении Ш. Фурье) и т. д.; в) слова, получаемые на основе разных способов словопроизводства. Это, во-первых, относительно простые слова, предполагающие рядоположение элементов: *иммунитет* определяется через *невосприимчивость*, последнее отсутствует в словнике, хотя есть отдельно *восприимчивость* и *не...*; *шатен* — человек с *темнорусыми* волосами. Подчеркнутого слова нет на входе. *Невежда* определяется как *малообразованный*, *малосведущий* человек. Этих слов нет в словнике. Во-вторых, это слова более сложных способов образования с перестройкой одного их составляющих элементов: *грязный* (о цвете) определяется как *серовато-мутный*; ни этого слова, ни слова *сероватый* нет среди объясняемых. *Тора* определяется через *пятикнижие*, которого нет на входе. В этом случае для уяснения смысла слов, используемых на выходе, необходимо проделать некоторое элементарное исследование структуры слова, опирающееся на известный опыт в пользовании языком: *сероватый*. Это не составит трудности для носителя языка, но на первых этапах овладения иностранным языком это бывает нелегко.

Может создаться впечатление, что приращение смысла, проявляющееся в появлении на выходе словаря новых, необъясняемых слов, обусловлено спецификой терминологических, энциклопедических, вообще денотативного типа словарей или неполнотой рассмотренного толкового словаря, что при достаточном росте объема словника в толковом словаре появление новых слов на выходе прекратится. Однако и в словарях Ушакова, Даля, семнадцатитомном академическом наблюдается то же самое. Это нельзя объяснить несовершенством того или иного словаря или упущениями и субъективизмом авторов. Приращение смысла — обязательный, универсальный принцип всякого толкового словаря. Вот несколько примеров такого рода из семнадцатитомного словаря: *служилый* определяется с использованием понятий *Московская Русь*, *дореволюционная Россия*, отсутствующих на входе; *сарматы* — группа ираноязычных племен, населявших с VI в. до н. э. Поволжско-Приуральские степи и сменивших в IV—II в. до н. э. скифов в Причерноморье». Помимо того, что на входе, естественно, отсутствуют использованные в определении географические названия, нет среди объясняемых также и слова *ираноязычный*. Такие примеры нетрудно умножить.

Ту же закономерность можно наблюдать и за пределами русской лексикографии. В семитомном толковом словаре венгерского языка<sup>14</sup> встречаются те же три разновидности объясняющих слов, не включенных в словник. Так, *bolsevik* объясняется с помощью слов *Szovjetunió* и *Lenin*, *albán* — с помощью *Balkán-félsziget* и *Albánia* и т. п. Отличительной особенностью этого словаря является исключительная полнота словообразовательных вариантов. Обычно на вход подаются все производные слова правой части, даже если их семантика прозрачна. Так, в статье *pörlázadás* (крестьянское восстание) для толкования употребляются синонимы *parasztfelkelés*, *parasztlázadás*, образованные простым соположением элементов и совер-

<sup>14</sup> «A magyar nyelv értelmező szótára», I—VII, Budapest, 1966.

шенно ясные по смыслу, и все-таки оба они включены в словник. В крайнем случае дериват приводится без объяснения в словообразовательном гнезде, помещенном в конце статьи, как, например, *rezervistaság* в статье *rezervista*. Более того, в словообразовательное гнездо зачастую включаются и словоизменительные формы, которые могут употребляться в качестве самостоятельных членов предложения, в частности причастия (см., например, в статье *formáz* — формировать — причастия *formázott* — сформированный; *formáztat* — сформировавший). И тем не менее на выходе из этого словаря в словообразовательной сфере можно отметить появление новых, необъясняемых слов. *Porló* в одном из значений — *porló szén* (порошкообразный уголь, угольная пыль) объясняется так: *porrá tört fászén, mellyel formázáskor a formák felületét berogozzák* (рассыпающийся в пыль древесный уголь, которым обсыпают поверхность форм при формовке). Глагола *berogozni* нет на входе, хотя вообще приставочные глагольные образования представлены здесь очень широко, ср.: *ki-közös-ít, meg-nyilat-koz-ás, át-kere-szt-el, be-száll-ás* и т. д.

Обобщая эти наблюдения, можно сказать, что приращение смысла в объяснительном словаре идет по двум линиям. Оно происходит, во-первых, по линии предметной, которая предполагает обращение для толкования слов к реалиям, не объясняемым в рамках данного словаря, т. е. предполагает некоторую сумму знаний о предметах и явлениях, не нашедших отражения в словаре. Если с точки зрения выхода это явление расценивается как приращение смысла, то с точки зрения входа можно говорить о предметной недостаточности словника. Предметная недостаточность — принципиальное свойство словаря, не результат его несовершенства, а неустранимая трудность, которая обусловлена семантическим законом приращения смысла, свойственным словарю как особому способу организации знаков. В практике языковой работы эта трудность преодолевается разными путями: в преподавании иностранных языков преодолеть ее помогает специальный аспект преподавания — страноведение, в переводческой практике существуют различные приемы перевода так называемой «безэквивалентной лексики»<sup>15</sup>. Понятие предметной недостаточности не совпадает по своему объему с понятием безэквивалентной лексики, но сферы этих понятий пересекаются. В конечном счете одним из содержательных компонентов всякого слова, относящегося к безэквивалентной лексике, обязательно оказывается либо географическое и историко-географическое название, либо имя собственное, т. е. одно из слов, как раз и образующих область предметной недостаточности. Понятно поэтому, что предметная недостаточность в словарях обнаруживается при толковании безэквивалентной лексики, т. е. оказывается связанной с объяснением элементов иной (в синхроническом или диахроническом плане) культуры: *сермяжник* (слово из области безэквивалентной лексики) объясняется со ссылкой на понятие дореволюционная Россия (слово Россия входит в область предметной недостаточности); *рокфор* — со ссылкой на местечко «Roquefort в южной Франции»; *росинант* проп. и шутол. Изнуренная, исхудавшая лошадь, кляча... — По имени коня Дон-Кихота в романе Сервантеса (исп. *Rocinante*)<sup>16</sup> и т. д. Значит, чтобы до конца постичь смысл каждого из этих слов, помимо сведений, касающихся обозначаемых реалий, и до этих сведений, надо обладать хотя бы самыми общими представлениями о России, Франции, Сервантесе и его Дон-Кихоте и т. п. Эти знания, которые предполагаются заранее известными для пользователей

<sup>15</sup> В книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура», М., 1973, посвященной основам страноведения, приводится классификация безэквивалентной лексики, появляющейся в словаре С. И. Ожегова (стр. 218—231).

<sup>16</sup> Примеры из семнадцатитомного академического словаря.

языком и которые обязаны своим появлением в словаре его особой природой и структурой, и образуют часть неизбежно порождаемого словарем добавочного смысла.

Другая часть добавочного смысла, вторая линия, по которой идет пристращение смысла в словаре, связана с недостаточностью грамматической. Она проявляется в необходимости использования некоторых внутренних (внутрисистемных) правил соединения морфем и их значений для получения ряда лексических единиц, отсутствующих на входе.

**Аксиоматика и пассив в словаре.** Итак, в правой части словаря констатируется наличие аксиоматически заданных параметров, некоторый комплекс само собой разумеющихся значений, определенная сумма исконных, предсуществующих знаний. Этот комплекс лингвистических и экстралингвистических знаний назовем аксиоматикой. Аксиоматика бывает двух родов: с предметной недостаточностью словаря связана семантическая аксиоматика, с грамматической недостаточностью — грамматическая аксиоматика.

С другой стороны, в большинстве словарей исходный набор слов не полностью включается в толковую часть, не все единицы словника участвуют в статьях-определениях. Тем самым внешняя асимметрия входа и выхода усиливается. Назовем слова, не фигурирующие в объяснении, пассивной частью словаря, пассивом. Существуют словари с преобладанием пассива в словнике (переводные, иностранных слов и т. п.) и словари с минимальным объемом пассивной части. Более того, наличие пассива во всяком словаре, как представляется, не обязательно, т. е. может существовать словарь, словник которого полностью используется на выходе. Если пассива может и не быть, то аксиоматика присутствует в словаре всегда. Аксиоматика образует ту базу, на которой создается семантическое равновесие, пассив это равновесие стремится разрушить, одновременно усиливая и чисто внешнюю асимметрию двух сторон словаря. Пассивная часть толкового словаря имеет безграничные возможности для роста, включая постоянно по мере обновления такие, например, слова<sup>17</sup>, как специальные (*гербициды*), архаизмы (*вотчина*), неологизмы (*голевой*), просторечные (*пацан*), термины различных наук. Этот процесс идет непрерывно. По подсчетам французских лингвистов, словарный состав Лярусса за 12 лет обновился более чем на 10%: при общем числе 36 000 слов с 1948 по 1960 г. в словник вошло 3973 новых и выпало 5105 слов<sup>18</sup>. Увеличение пассивной части, возможно, влияет некоторым образом на состав и величину аксиоматики, увеличивая и ее. Возможно также, что для толковых словарей существует некоторое оптимальное соотношение того и другого, однако эти вопросы требуют специального рассмотрения.

Увеличение разрыва между входом и выходом, выражающееся в излишнем росте пассива или чрезмерном увеличении аксиоматики, может стать нежелательным, особенно для словарей определенных типов. Чрезмерное увеличение аксиоматики нарушает филологическую природу толкового словаря, выводит его из чисто лингвистической сферы объяснения значений в географическую, историческую, культурологическую. С другой стороны, и рост пассива расценивается как отрицательный фактор,

<sup>17</sup> Примеры (за исключением *вотчина*) приведены на основании сравнения 4 и 9-го изданий словаря С. И. Ожегова, переработка которого шла в основном по пути увеличения пассивной части за счет включения целого ряда новых слов указанного типа. Некоторые слова пассива в новом издании, наоборот, исключены из словника (*тора* и т. п.). См: С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1972.

<sup>18</sup> J. Dubois, L. Guilbert, H. Mitterand, J. Pignon, Le mouvement général du vocabulaire français de 1949 à 1960 d'après un dictionnaire d'usage, «Le français moderne», XXVIII, 1960, стр. 86—106; 196—210.

например, в словарях учебного типа, предназначенных для иноязычного пользователя.

В существующих словарях практикуются разные способы сокращения указанного разрыва. Они связаны, во-первых, с уменьшением объема аксиоматики, а во-вторых, с сокращением пассивной части в словаре.

Первая задача решается, например, с помощью дополнения толкового словаря комментированным списком географических и собственных имен. В этом случае для объяснения одних имен и названий должны привлекаться другие и аксиоматика неизбежно растет, как снежный ком. Иногда имена, составляющие область предметной недостаточности, непосредственно включают в словник. Так сделано, например, в разных вариантах Оксфордского словаря. Словник однотоного («Concise»<sup>19</sup>) содержит такие слова, как *Trak*, *Merovingian*, *Marian* и под. Однако предметная недостаточность остается принципиально неустранимой: «*Trak* — Arab kingdom including Mesopotamia». Последнее название не комментируется. Имя *Marian* возводится к деве Марии или королеве Марии Тюдор, которые тоже не внесены в словник, и т. д. В других случаях, сокращая объем семантической аксиоматики, прибегают к приему объяснения в объяснении. Так, в том же словаре *Mohammedan* объясняется со ссылкой на собственное имя *Mohammed*, которое в словнике не фигурирует, но смысл которого дается здесь же: *Moham medan*, n. and a. (Follower) of Mohammed, founder of the Moslem religion.

Что касается сокращения грамматической аксиоматики, или компенсации грамматической недостаточности, то она частично достигается включением на вход аффиксальных морфем. Например, в том же словаре при объяснении *development* употребляется слово *unfolding*, отсутствующее в словнике, в который, однако, включены составляющие его морфемы *un-*, *fold-*, *-ing*. Этот путь приводит лишь к частичной компенсации грамматической недостаточности, поскольку ни один словарь не может включать правил соединения морфем и их значений, эти правила остаются заданными аксиоматически.

К сокращению пассива в словаре прибегают обычно в методических целях. Примером словаря с искусственно отсеченной пассивной частью может служить словарь Г. Гугенема<sup>20</sup>. Он показателен также и в том отношении, что его структура с наглядностью свидетельствует о принципиальной неустранимости аксиоматики. Когда французские лингвисты поставили задачу создания компактного описания лексики французского языка на базе наиболее употребительных французских слов и без обращения к заимствованиям<sup>21</sup>, они столкнулись с невозможностью описать основные элементы исконной лексики с использованием только самих этих элементов, подлежащих описанию. Г. Гугенем в своем словаре обошел эту трудность, поместив в тексте рисунки в тех случаях, когда для словесного объяснения пришлось бы выйти за пределы исходного набора и ввести на выходе новые, не объясненные слова. В рисунках и представлена семантическая аксиоматика.

Полностью исключается пассив также и в «Толково-комбинаторном словаре русского языка»<sup>22</sup>, предназначенном в основном для изучающих

<sup>19</sup> «The concise Oxford dictionary of current English», 5 ed., Oxford, 1969.

<sup>20</sup> G. G o u g e n h e i m, Dictionnaire fondamental de la langue française, Paris—Warszawa, 1963 [фототип. изд.].

<sup>21</sup> G. G o u g e n h e i m, R. M i c h é a, P. R i v e n c, A. S a u v a g e o t, L'élaboration du français élémentaire, Paris, 1956.

<sup>22</sup> «Экспериментальный толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Проект» (рукопись, 1971). См. также отдельные выпуски в серии «Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка», М., 1970—1973.

русский язык иностранцев. Авторы проекта этого словаря, сосредоточив внимание на типичных употреблениях слов в живой речи, не преследовали специальной цели обойтись в объяснительной части заданным объемом сведений и ограниченным кругом лексики. Поэтому при построении словарной статьи здесь прибегают и к рисункам (см., например, *лыжи*), и к введению новых слов, не фигурирующих в словнике, значительно расширяя тем самым семантическую аксиоматику. Зато в этом опыте сделана интересная попытка уменьшить объем грамматической аксиоматики. Это достигается путем использования комплекса условных грамматических обозначений, специального метаязыка для правил комбинирования элементов словника. Единицы метаязыка, естественно, не входят в словник, а представляют собой самостоятельное надстроечное образование, как бы словарь к словарю.

Итак, две стороны словаря находятся в семантическом равновесии; они взаимосвязаны, так как содержат общие элементы. Семантическое равновесие достигается за счет снятия в словаре как особом способе организации лексических знаков асимметрии, свойственной единичному знаку, и переноса ее в план выражения словаря в целом. Асимметрия словаря есть результат инверсирования двух сторон знака, а в широком смысле — следствие семиотического «закона обращения планов». Далее, словарь характеризуется приращением смысла. Добавочный смысл возникает вследствие того, что в основе всякого словаря лежит аксиоматически заданная лингвистическая (свойство грамматической недостаточности словаря) и экстралингвистическая (свойство предметной недостаточности словаря) информация. Для типологической характеристики словарей перспективным представляется также изучение соотношения пассива и аксиоматики — как в количественном, так и в содержательном плане.

В. М. ЖИВОВ

## ПРОБЛЕМЫ СИНТАГМАТИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ В СВЕТЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ

0. Современная структурная типология, как кажется, принимает в неявном виде положение, согласно которому всякое сопоставление структурных характеристик языков непременно связано с упрощением сопоставляемых явлений. Правомерна, по крайней мере в качестве дальней перспективы, и другая точка зрения: одна из целей типологии языков состоит в выработке такой совокупности понятий и процедур описания, чтобы с их помощью без упрощения могли быть описаны соответствующие явления любых языков.

1. Фонологическая типология рассматривает системы фонем и соотношения (парадигматические и синтагматические) внутри них. Однако для разных языков по-разному совершается переход от фонетической реальности к сопоставляемым фонологическим системам. Сопоставляя же, мы отвлекаемся от этой нетождественности переходов, что и есть упрощение (ср. разнообразные случаи неоднозначности фонологического решения).

Было бы неправомерным отказываться ввиду этого от фонологической типологии в пользу чисто фонетической, поскольку имеются многочисленные общезыковые закономерности, связанные со смыслоразличительной функцией звуков. Нецелесообразно в то же время разделять фонетическую и фонологическую типологию, поскольку существуют закономерности, связывающие чисто фонетические явления с чисто фонологическими. Для типологии, следовательно, нужно такое фонологическое построение, которое позволило бы сформулировать все закономерности, относящиеся к звуковому плану языка и его функционированию. При этом под фонологией может пониматься всякое систематическое описание фонетики, учитывающее не только физические характеристики, но и функционирование звуков. Такое понимание фонологии основывается на признании функционального значения вариантов фонем (прежде всего, позиционных). Позиционные аллофоны играют безусловную роль в опознании словоформы как целого: подстановка одного позиционного аллофона на место другого не ведет, правда, к изменению смысла (поэтому такие варианты не постулируются как отдельные фонемы), но дает в результате неправильную фонетическую последовательность, затрудняя или даже делая невозможным опознание данной словоформы<sup>1</sup>.

1.1. Имея в виду данную перспективу, обратимся к проблеме внутренних обусловленных позиционных аллофонов согласных фонем, т. е. аллофонов, появление которых связано не с их фонетическим окружением, а

<sup>1</sup> Мысль о фонологической значимости аллофонов высказывалась не раз, см., например: С. И. Бернштейн, Вопросы обучения произношению, М., 1937, стр. 24—29; A. Martinet, Phonology as functional phonetics, Oxford, 1955; J. P. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, стр. 47—48. Трактовку позиционных аллофонов как «чисто фонетических», лежащих вне ведения фонологии и несущественных для функционирования языка находим и в новейших пособиях по языкознанию. Ср., например: J. L о n s, Introduction to theoretical linguistics, Cambridge, 1972, стр. 100.

определяется позицией фонемы в слове (внутренне обусловленные варианты выполняют, таким образом, разграничительную функцию). Предлагаемое в настоящей работе построение задумано именно как опыт универсального решения данной проблемы и, следовательно, как шаг на пути к созданию построения, пригодного для фонологической типологии вообще. Пытаясь показать, что эта проблема не решается в рамках классической фонологии, мы отнюдь не утверждаем непригодность этой фонологии для описания отдельных языков. Под классической фонологией мы здесь и далее подразумеваем всякую теорию, которая (а) различает сигнификативные и несигнификативные оппозиции; (б) объединяет в одну фонему позиционно распределенные аллофоны; (с) приписывает фонемам фонетические характеристики (например, дифференциальные признаки) и типологию фонологических систем основывает, в частности, на этих характеристиках фонем<sup>2</sup>.

Весьма часто фонологическое решение бывает неоднозначным при объединении внутренне обусловленных аллофонов в качестве относящихся к одной фонеме. Основанием для объединения служит фонетическое сходство (дополнительная дистрибуция подразумевается, поскольку рассматриваются разные позиции), понимаемое достаточно неопределенно, поскольку невозможна ссылка на коартикуляционный эффект<sup>3</sup>.

Решение проблемы позиционных аллофонов средствами классической фонологии оказывается неприемлемым для типологии ввиду того, что фонетические характеристики фонем становятся условными (см. § 2), при объединении применяются разные (типологически разнородные) процедуры (см. § 3), а различие фонемного и аллофонического уровней ведет к невозможности сформулировать ряд закономерностей (см. § 4).

2. Сопоставляя системы фонем, мы для решения большинства типологических задач должны приписывать фонемам определенные фонетические характеристики. Если в одну фонему объединено несколько аллофонов, встает вопрос, как фонетическая характеристика фонемы должна извлекаться из фонетических признаков ее аллофонов.

Если признак, различающий аллофоны данной фонемы, не релевантен для системы фонем в целом, то он в большинстве построений классической фонологии вовсе не учитывается. Но в типологии нужны и характеристики

<sup>2</sup> Как следует из последнего пункта, мы будем здесь рассматривать только те фонологические системы, в которых ставилась задача общей типологии структур плана выражения. Сюда относится, таким образом, и построение Н. С. Трубецкого, и типология Ч. Хоккета, и теория Р. Якобсона и М. Халле. Последнее построение есть наиболее законченное выражение ряда идей классической фонологии, поэтому часто мы будем обращаться именно к нему. В последнее время появился целый ряд работ, содержащих критику различных положений классической фонологии. В частности, о непригодности для типологии описания в терминах ДП см.: J. H. Greenberg, *Some generalizations concerning glottalic consonants, especially implosives*, IJAL, 36, 2, 1970, стр. 140.

<sup>3</sup> Ср.: K. L. Pike, *Phonemics*, Ann Arbor, 1947, стр. 62; D. J. Jones, *The Phoneme*, Cambridge, 1950, § 31. Объем действия коартикуляционного эффекта может пониматься по-разному. В качестве обусловленных коартикуляционным эффектом могут быть рассмотрены все те случаи, когда мы считаем разумным говорить о позиционных вариантах, ср., например: Sh. Nattori, *The principles of assimilation in phonology*, «Word», 23, 1967. Однако в последовательности типа /ki/ мы всегда находим либо продвинутую вперед артикуляцию согласного (сравнительно с последовательностью типа /ka/), либо централизованную артикуляцию гласного (сравнительно с /ti/). Здесь можно говорить о коартикуляционном эффекте, хотя в разных языках эти явления могут проявляться в разной степени и играть разную роль. Не так, например, со спирантизацией смычных в интервокальном положении; она может вовсе отсутствовать или характеризовать другую позицию, ср. аффрикацию смычных в конце слова в китаи: S. Vucsa, A. Lesser, *Kitsai phonology and morphophonemics*, IJAL, 35, 1969, стр. 9—10.

по нерелевантным признакам (см. § 2.2), и в этом случае система фонем может одинаково представлять существенно разные явления.

Если же признак, различающий аллофоны данной фонемы, релевантен для всей системы фонем в целом и, следовательно, данная фонема должна быть по нему идентифицирована, то классическая фонология предлагает одну из двух возможностей. В одном случае все фонемы характеризуются по всем релевантным признакам, и фонема с аллофонами указанного типа получает идентификацию по одному из своих аллофонов (для этого избирается так называемый основной аллофон)<sup>4</sup>. Тогда фонема с аллофонами данного типа неотличима от фонемы с единственным аллофоном, фонетически тождественным избранному основному. Другая возможность состоит в приписывании нулевых значений в том случае, когда внутри класса фонем, уже идентифицированных по определенному набору признаков, рассматриваемый признак нерелевантен. В этом случае фонема с аллофонами указанного типа не отличается от фонемы с единственным аллофоном, у которой значение рассматриваемого признака предсказуемо<sup>5</sup>.

2.1. В качестве примера рассмотрим язык эфик. Т. Л. Кук устанавливает для него следующий инвентарь согласных фонем: /b, t, d, k, kp; f, s; m, n, ð, ʝ; j, w/. У фонем /b, d, k, f, t, s/ имеются следующие позиционные варианты<sup>6</sup>:

	/b/	/d/	/k/	/f/	/t/	/s/
После # или префикса	b	d	k	f	t	s
Перед #	p <sup>o</sup>	t <sup>o</sup>	k <sup>o</sup>	—	—	—
M <sub>v-c</sub>	p	t	k	—	—	—
M <sub>v-v</sub>	β	ɾ	ɣ/g (после i)	f	t	s

Если для фонетической характеристики данной системы будет применена безнулевая матрица идентификации, то /k/, идентифицированное по признакам звонкости и непрерывности, ничем не будет отличаться от /k/ в матрице идентификации русского языка (отвлекаясь от частных), если же /k/ по этим признакам идентифицироваться не будет, то оно будет неотлично, например, от /k/ языка гого-йимиджир, в котором вообще нет ни звонких смычных, ни спирантов<sup>7</sup>. Установление изоморфизма неправомерно в обоих случаях.

Пример языка эфик представляет еще и специальный интерес. Для него осложнена сама процедура идентификации. При данном объединении аллофонов в фонемы /b/ должно быть противопоставлено /f/ либо по прерванности, либо по звонкости, либо по напряженности. Противопоставление по прерванности невозможно, так как у /b/ есть непрерывный аллофон [β], которому /f/ противопоставляется либо по звонкости, либо по напряженности. Однако и эти противопоставления невозможны, так как имеется глухой аллофон [p<sup>o</sup>] и напряженный [p]. Вводить же признак, артикуляторно определяющийся как участие верхних зубов, с точки зрения классической фонологии неудобно, так как этот признак послужит только для противо-

<sup>4</sup> См.: Л. В. Ш е р б а, Фонетика французского языка, М., 1963, стр. 18.

<sup>5</sup> См. аналогичные соображения у М. И. Лекомцевой («Типология структур слога в славянских языках», М., 1968, стр. 28—29).

<sup>6</sup> Т. Л. С о о к, Efik, «Twelve Nigerian languages», ed. by E. Dunstan, New York, 1969, стр. 35—46. Здесь и далее разбираемые примеры имеют для нас только иллюстративное значение, и поэтому не могут рассматриваться как опыт решения конкретных проблем отдельных языков. Применяются следующие условные обозначения: # — пауза, I — позиция начала слова, F — позиция конца слова, M<sub>v-c</sub> — позиция середины слова после гласного перед согласным, M<sub>v-v</sub> — интервокальная позиция. Знаками [p<sup>o</sup>, t<sup>o</sup>, k<sup>o</sup>] Кук транскрибирует глухие смычные со свободной экскурсией (released).

<sup>7</sup> В его женском варианте, см.: J. D. de Z w a n, A preliminary analysis of Gogo-Yimidjir, Canberra, 1969.

поставления /b/ и /f/, тогда как любой из аллофонов /b/ противопоставлен /f/ по какому-либо признаку, все равно необходимому для идентификации других фонем. Избирая иной способ группировки аллофонов, можно преодолеть эти трудности, ср. /p/ = [f, p<sup>o</sup>, p, f]; /t/ = [t, t<sup>o</sup>, t, t]; /k/ = [k, k<sup>o</sup>, k, γ/g]; /b/ = [b, -, -, β]; /d/ = [d, -, -, r]; /s/ = [s, -, -, sl]. При такой группировке, однако, нельзя сформулировать общую закономерность распределения аллофонов по позициям и, с другой стороны, теряется то удобство описания морфофонологических процессов, которое, видимо, имел в виду Т. Кук.

2.2. Если типолог отвлечется от позиционных аллофонов так же, как он отвлекается от аллофонов, обусловленных коартикуляцией, следствием будет ситуация, которую можно проиллюстрировать таким примером. Рассмотрим гипотетическую универсалию: «Если в языке есть звонкие шумные, то в нем есть и глухие шумные»<sup>8</sup>. Эта универсалия имеет содержательный характер, если признак звонкости учитывается и в том случае, когда он нерелевантен. Но в этом случае в фонологическом описании могут быть употреблены как символы «звонких фонем» (/b/, /d/...), так и символы «глухих фонем» (/p/, /t/...). Для этой универсалии опровергающим примером может служить язык с одним рядом шумных фонем, все аллофоны которых звонкие<sup>9</sup>. Но в массе описаний, ориентированных на фонологические характеристики, класс языков этого типа сольется с классом языков, в которых шумные обладают как глухими, так и звонкими аллофонами.

3. Дело, однако, не в том только, что единицы, получаемые при единообразной для разных языков процедуре объединения аллофонов, не имеют фонетической интерпретации, но и в том, что в случаях разбираемой неоднозначности в разных языках применяются разные критерии объединения.

Так, например, заднеязычные шумные тувинского языка распределяются по основным позициям слова следующим образом:

I: [k] — глухой ненапряженный непридыхательный краткий смычный противопоставлен [x] — глухому напряженному придыхательному краткому спиранту. M<sub>v-γ</sub>: [k:] — глухой напряженный непридыхательный долгий смычный в свободной вариации с [k] — глухим ненапряженным непридыхательным кратким смычным противопоставлены [γ] — звонкому ненапряженному непридыхательному краткому спиранту. F: [k] — глухой ненапряженный непридыхательный краткий смычный противопоставлен [γ] — звонкому ненапряженному непридыхательному краткому спиранту.

Стремясь к простоте решения, мы должны постулировать здесь две фонемы, и по фонетическому сходству объединить в одну фонему, с одной стороны, фрикативные ([x], [γ], [γ]), с другой — смычные ([k], [k:]/[k], [k]).

Однако в тувинской фонологии<sup>10</sup> избирается другой путь. На основании фонетического сходства объединяются начальное и конечное [k]. Интервокальное [γ] либо на морфофонологическом основании объединяется в одну фонему с [k] (подобно объединению [p] и [β]), либо выделяется в отдельную фонему. Конечное [γ] получает статус отдельной фонемы и вводится в состав сонорных, поскольку подобно им и в отличие от шумных, включая срединное [γ], имеет один аллофон для «твердых» и для «мягких» слов при палатальной гармонии. Особой фонемой оказывается [x], а срединное [k:] рассматривается как группа согласных /kk/.

<sup>8</sup> Ср.: J. H. Greenberg, *Language universals*, The Hague, 1966, стр. 21.

<sup>9</sup> Как в мужском варианте языка гого-йимидьир, см.: J. D. de Zwaan, указ. соч., стр. 27.

<sup>10</sup> См.: Ф. Г. Исхаков, *Тувинский язык. Очерк по фонетике*, М.—Л., 1957; Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбаха, *Грамматика тувинского языка*, М., 1961; Ш. Ч. Сат, *Тувинский язык, «Языки народов СССР», 2, М., 1966.*

Таким образом, при группировке используются морфофонологические данные, соображения симметричности системы и удобства описания основных синтагматических закономерностей (сингармонизм).

Эти факторы, естественно, не поддаются универсализации, т. е. не могут быть введены в универсальную процедуру объединения аллофонов. Так, фактор морфофонологический не существует для языков, в которых морфема неподвижна относительно позиции в слове. Например, в протоуральском, ввиду отсутствия префиксов, начальная согласная морфемы никогда не может сделаться срединной в слове. Поэтому не может быть никаких, кроме чисто фонетических, оснований для отождествления единственного начального велярного смычного с одним из трех срединных велярных смычных. То же самое верно, например, и для языка мон, в котором в начале и середине слова различаются *p* и *b*, *t* и *d*, а в конце слова возможны только *p* и *t*, и отсутствуют суффиксы<sup>11</sup>. Примеры можно было бы умножить.

Если мы хотим избавиться от двусмысленности процедур, то мы должны либо в тувинском выделять (на основании фонетического сходства) только две шумных велярных фонемы, либо в протоуральском постулировать четыре велярных смычных, а в мон — три губных смычных (ввиду отказа от критерия фонетического сходства). В последнем случае в тувинском следует выделить по крайней мере пять велярных шумных.

Возможна, правда, точка зрения, согласно которой характеристики языка, рассматриваемые при сопоставлении, могут не соотноситься с характеристиками, приписываемыми ему в обычных его описаниях. Вряд ли, однако, можно думать, что разность процедур, применяемых к различным языкам, возникает только по прихоти лингвистов. Вернее полагать, что различие процедур отражает определенные особенности структуры тех языков, к которым они применяются, причем эти свойства лучше описываются в построении, получаемом при той, а не иной процедуре.

Ввиду этого можно думать, что сопоставление, опирающееся на применение ко всем языкам единообразной процедуры в рамках процедур классической фонологии, будет малосодержательным в смысле тех задач типологии, о которых мы говорили вначале.

4. Мы уже говорили, что система фонем относительно произвольно выстраивается над фонетической реальностью, и эта произвольность в значительной степени связана с произвольностью фонетического определения фонемы в отношении к ее позиционным вариантам, связана с самим различием дистинктивных и недистинктивных оппозиций. Та часть фонетической данности, которая связана с различием форм языка, отражается в системе фонем, другая же часть — в каких-то иных разделах построения — в описании аллофонического уровня или пограничных сигналов.

Различение фонемного и аллофонического уровней (необходимое, видимо, для понимания целого ряда явлений) в ряде случаев ведет к невозможности, строго говоря, фиксировать определенные закономерности. Это относится прежде всего к распределению звуков по позициям слова<sup>12</sup>, и

<sup>11</sup> H. L. Shorto, *Mon vowel system: a problem in phonological statement*, сб. «In memory of J. R. Firth», London, 1966. Сходные соображения высказывались С. И. Бернштейном в его критике московской фонологической школы. См.: С. И. Бернштейн, *Основные понятия фонологии*, ВЯ, 1962, 5, стр. 63.

<sup>12</sup> Это же может относиться и к другим явлениям синтагматической фонетики. См.: E. Fisher-Jørgensen, *On the definition of phoneme categories on a distributional basis*, AL, 7, 1952; Дж. Гринберг, *Некоторые обобщения, касающиеся возможных начальных и конечных последовательностей согласных*, ВЯ, 1964, 4. Ср. особенно: E. J. A. Henderson, *The topography of certain phonetic and morphological characteristics of South-East Asian languages*, сб. «Indo-Pacific linguistic studies», II, Amsterdam, 1965, стр. 403—405.

может быть показано как на материале отдельных языков, так и в типологическом аспекте.

4.1. Во внутриязыковом плане может быть приведен в пример арауканский язык (Южная Америка). Инвентарь фонем этого языка таков:

(A)	p	t	t	t	č	k
	f	θ	s	r	y	w
	m	n	n		ñ	ŋ
		l̃	l		ʎ	

Все эти фонемы могут быть в начале и в середине слова. В конце же набор фонем таков<sup>13</sup>:

(B)				č	
	f	θ		y	w
	m	n	n	ñ	ŋ
		l̃	l	l	

Мы можем заключить: в финали невозможны смычные, кроме /č/. Это, однако, не закономерность в собственном смысле, а фиксация того факта, что из шести смычных пять отсутствуют, а один присутствует. Перейдем теперь на уровень аллофонов: /č/ имеет два аллофона: [tʃ̃] — палатальная аффриката и [š̃] — глухой палатальный фрикативный. Они находятся в свободной вариации во всех позициях, кроме финали. В финали возможно только [š̃].

На фонетическом уровне закономерность ясна — в конце слова абсолютно невозможны смычные (в то время как фрикативные возможны). Эта фонетическая реалья в фонологическом построении разлагается на два утверждения, ни одно из которых не есть закономерность в собственном смысле слова<sup>14</sup>:

4.2. Аналогию такому положению вещей мы обнаруживаем и в межъязыковом плане. То же расщепление одного явления на два в соответствии с двумя уровнями фонологического построения находим в случае универсальной (гипотетической) закономерности, согласно которой для звонких шумных финаль является наименее предпочтительной позицией.

Эта закономерность дает основание следующим универсалиям: если звонкие шумные звуки имеются в конечной, то они имеются и в неконечной позиции. Если в языке имеются и звонкие и глухие шумные звуки, а в каких-либо позициях (кроме начальной) только глухие, то среди этих позиций есть позиция конца слова.

Эта закономерность также может проявляться как на фонемном, так и на аллофоническом уровне. Так, в русском в начале и середине слова возможны как звонкие, так и глухие шумные, причем в этих положениях они находятся в смылоразличительной оппозиции, в конце же слова — только глухие. В валапаи в начале слова звонкие и глухие шумные свободно варь-

<sup>13</sup> M. S. Echeverría, H. Contreras, Araucanian phonemics, IJAL, 31, 2, 1965.

<sup>14</sup> Аналогичная ситуация в эвенкийском языке. Фонетическая закономерность такова: в финали невозможны звонкие смычные звуки или, в другой формулировке, — из звонких шумных в финали возможны только спиранты. В фонологическом построении эта закономерность отражается двумя утверждениями: (а) в конце слова отсутствуют звонкие смычные фонемы, кроме /g/; (б) фонема /g/ имеет в финали аллофон [ɣ]. См.: В. И. Ц и н ц и у с, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 48; О. А. К о н с т а н т и н о в а, Эвенкийский язык, М.—Л., 1964, стр. 21—22, 29.

ируются, в середине — дополнительно распределены, в конце слова выступают только глухие аллофоны<sup>15</sup>.

Разграничение уровней может приводить к появлению мнимых исключений. Такое исключение к приведенной закономерности — язык тупи (диалект ицуан). В нем в конце слова противопоставлены носовые и звонкие смычные, которые в этой позиции постназализованы<sup>16</sup>.

I				M <sub>v-v</sub>				F		
p	t		k	p	t	k	ʔ	b <sup>m</sup>	d <sup>n</sup>	g <sup>0</sup>
b	d	j	g	b	d	j	g	m	n	ŋ
m	n	ñ		m	n	ñ	ŋ		w	y
	w	y		r	h					
				w	y					

На уровне фонем в конце — звонкие смычные при отсутствии глухих, постназализация не учитывается и, следовательно, неучтенным остается, что звонкость определена открытым носовым резонатором. В типологии же это позволяет рассматривать такие постназализованные звонкие вместе с носовыми и не считать поэтому противоречащими рассматриваемым закономерностям.

5. Во многом сходная полемика с классической фонологией велась лондонской фонологической школой. Именно, в отталкивании от отмеченных в этой полемике недостатков строилась ее собственная теория полисистемной фонологии<sup>17</sup>. В этой теории фонологическая система языка описывается как совокупность отдельных (в основном позиционных) систем звуков, систем, независимых друг от друга. Проблема отождествления позиционно распределенных звуков вообще не ставится и, следовательно, снимаются все сделанные нами возражения.

Не останавливаясь на подробной критике этой теории, отметим два внутренне присущих ей недостатка:

(а) В языке выделяется ряд позиционных систем, столько, сколько удобно для его описания. Построенные независимо, они никак между собой не соотносятся, и поэтому внутренние их связи в самом построении не обнаруживаются. Более того, построенные так, чтобы данная позиционная сис-

<sup>15</sup> W. Winter, Yuman languages. II. Wolf's son — a Walapai text, IJAL, 32, 1, 1966, стр. 17—18; J. E. Redden, Walapai I: Phonology, там же, стр. 10.

<sup>16</sup> A. Abrahamson, Contrastive distribution of phoneme classes in Içuá Tupi, «Anthropological linguistics», 10, 6, 1968 (приводимое здесь описание — реинтерпретация данных Абрахамсона). Предпаузальную постназализацию звонких смычных находим еще в языках майя (покомчи, тсотсил, агуакатек), в которых губной смычный перед паузой может быть либо глоттализированным глухим, либо звонким постназализованным. См.: M. K. Maуers, The phonemes of Pocomchi, «Anthropological linguistics», 2, 9, 1960, стр. 8; N. A. Hopkins, A short sketch of Chalchihuitán Tsotsil, там же, 9, 4, 1967, стр. 11—12; H. and L. M. Carthur, Aguacatec (Mayan) phonemes within the stress group, IJAL, 22, 1, 1956, стр. 73. То же явление наблюдается в кхариа, в котором конечный постназализованный свободно варьируется с глоттализированным, т. е. звуком, у которого проход воздуха через ртовый резонатор перед паузой прерван гортанной смычкой, и в одном из диалектов малайского языка, где смычные перед паузой свободно варьируются от глухих без экскурсии до глоттализированных навалых, см.: H. S. Billigiri, Kharia, Poona, 1965, стр. 7; R. S. Hendon, The phonology and morphology of Ulu Muar Malay, «Yale University publications in anthropology», 70, New Haven, 1966, стр. 8—9. Ср. еще языки кхаси и даяк, см.: E. J. A. Henderson, Final -k in Khasi, «Indo-Pacific linguistic studies», 1, стр. 459; N. C. Scott, Nasal consonants in Land Dayak, «In honour of D. Jones», London, Sounds, 1964.

<sup>17</sup> Изложение этой теории см. в работах: J. R. Firth, Sounds and prosodies, в его кн.: «Papers in linguistics», London, 1957; R. H. Robins, Aspects of prosodic analysis, «Proceedings of the University of Durham philological society», I, Series B (Arts), I, 1957; T. Hill, The technique of prosodic analysis, сб. «In memory of J. R. Firth».

тема проще всего представляла фонетический материал данной позиции, частные позиционные системы в своей разобщенности делают неочевидными межпозиционные связи фонологических элементов. Поэтому эта фонология не годится для обнаружения закономерностей позиционного распределения звуков.

(б) Естественно возникает и другое возражение: какой смысл имеет выделение не связанных друг с другом позиционных систем в таком, например, языке, как французский, для которого объединение позиционно распределенных звуков не составляет никакой сложности. Во французском нет позиционно обусловленных аллофонов согласных фонем, а различные позиционные наборы согласных фонем тождественны во всем, кроме частностей, и во всяком случае не обнаруживают никаких признаков ограничений. Более того, встает вопрос: когда мы описываем такой язык, как французский, средствами полисистемной фонологии, не игнорируем ли мы принципиально реальное свойство французской фонетики, свойство сходства позиционно распределенных звуков, естественности их объединения.

Поэтому закономерно стремиться к построению фонологии, которая предписывала бы производить объединение в случае такого языка, как французский, но иным способом описывала такие языки, как эфик или тувинский.

6. Рассмотрим в общих чертах, на каких основаниях может строиться фонология этого типа. Позиционное распределение звуков может быть описано как своего рода модификация определенного признака, охватывающая все слово. Так, позиционное распределение шумных в русском или валапай может быть описано как модификация признака глухости-звонкости. В этих языках возможны модели, в которых в начале и в середине бывают звонкие, но могут быть и глухие, в конце же контура — только глухие. Если изображать звонкие высокой, а глухие — низкой чертой, то можно получить такие изображения для разных моделей этих языков:

[ — — — ]      [ — — — ]      [ — — — ]      [ — — — ]

Разность между русским и валапай в том, что в русском эти модели смысловоразличительны, а в валапай — нет.

Для уяснения природы этих признаковых модуляций может быть полезна аналогия с тоном в таком, например, языке, как этунг, описываемом Т. Эдмонсоном и Дж. Т. Бендор-Самюэлем как набор из нескольких моделей, относящихся ко всему слову. Например:

[ — — — ],      [ — — — ],      [ — — — ],      [ — — — ]

и т. д.<sup>18</sup>

Тоновая модель обладает определенной самостоятельностью по отношению к сегментной базе слова. Подобную же самостоятельность можно видеть и у позиционных модификаций признаков согласных<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> T. Edmonson, J. T. Bendor-Samuel, Tone patterns of Etung, «Journal of African languages», 5, pt. 1, 1966. Так в трехсложных словах, в двусложных и односложных происходит компрессия этих моделей.

<sup>19</sup> Ср. трактовку сингармонических признаков как просодических элементов, относящихся ко всему сегментному составу релевантного для данного сингармонизма отрезка, у Дж. Лайонза (J. Lyons, Phonemic and non-phonemic phonology: some typological reflections, IJAL, 28, 2, 1962). Ср. еще: В. А. Виноградов, Типология сингармонических тенденций в языках Африки и Евразии, сб. «Проблемы африканского языкознания», М., 1972; Ж. М. Гузев, О составе фонем современного карачаево-балкарского языка, «Советская тюркология», 1973, 4, стр. 62—63.

Если модели смыслоразличительны, то понятие признаковой вариации совпадает с понятием нейтрализуемой корреляции в фонологии Н. С. Трубецкого. К варьируемым признакам относятся прежде всего признаки способа (модальные по Трубецкому) и резонансные признаки, затем признаки окраски, и значительно реже определенного рода локальные признаки.

6.1. Прежде чем переходить к систематическому изложению позиционной фонологии, следует остановиться на отличии признаковых вариаций (ограничений) от (внепризнаковых) ограничений набора согласных фонем в той или иной позиции. Так, отсутствие звонких шумных в финали в русском языке естественно определяется как ограничение по признаку звонкости. В языке же каяпа, например, из всего значительного инвентаря фонем в конце слова возможны только /j, s, h, ʔ/<sup>20</sup>; эти фонемы трудно объединить какими-либо признаками, поэтому здесь следует говорить об ограничении набора. Могут быть и менее очевидные случаи, для определения которых нужны более тонкие критерии.

7. Фонетические признаки, необходимые для идентификации звуков данного языка, разделяются на константные и варьируемые (или позиционные).

Константные признаки необходимы для идентификации смыслоразличительных единиц в любой из позиций в слове, т. е. во всех позициях образуют сигнификативную оппозицию. Они дистинктивны во всех позициях. Так, в русском к константным признакам относятся, например, смычность, назальность, палатальность. Здесь следует, видимо, сделать оговорку, касающуюся ограниченных наборов, обуславливающих избыточность некоторого признака.

Позиционные признаки, наоборот, не необходимы для идентификации смыслоразличительных единиц во всех позициях; в языке непременно существует такая позиция, в которой эти признаки не образуют сигнификативной оппозиции. Таким образом, утверждается, что найдется позиция, в которой либо все звуки (внутри делений, заданных константными признаками) получают по этому признаку одно и то же значение, либо звуки, различающиеся этими признаками, свободно варьируются или дополнительно распределены. Ср. признак звонкости в русском или валапаи.

По константным признакам формируются сегментные единицы, рассматриваемые как пучки константных признаков. Эти сегментные единицы не имеют аллофонов, кроме обусловленных коартикуляционным эффектом.

Позиционные признаки рассматриваются как своего рода просодические элементы. Они образуют модели, характеризующие все слово.

7.1. Разберем теперь два примера описания систем шумных звуков. Как в примере из языка эфик, так и в особенности в тувинском примере, опущен ряд подробностей, не существенных для настоящей работы. Так, в случае тувинского языка мы рассматриваем только три позиции, хотя полное описание предусматривает выделение пяти.

В языке эфик константными являются локальные признаки, признак назальности и сонорности (см. табл. 1). Среди шумных — (— Назальные, — Сонорные) выделяются четыре сегмента <p> — губной (неназальный, несонорный); <t> — переднеязычный; <k> — велярный; <kp> — лабиовелярный. Для шумных выделяется три позиционных признака: А — непрерывность, В — звонкость, С — свободная экскурсия. Смыслоразличительное противопоставление не обозначается, [ — обозначает дополнительное

<sup>20</sup> J. N. L i n d s k o o g, R. M. B r e n d, Cayapa phonemics, «Studies in Ecuadorian Indian languages: I», ed. by B. Elson, Linguistic series, 7, Norman, 1962.

Таблица 1

	I			M <sub>v-v</sub>			M <sub>v-c</sub>			F							
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C					
<i>t</i>	<i>t</i>	-	-	+	<i>t</i>	-	-	+	<i>t</i>	-	-	-	<i>t</i> <sup>o</sup>	-	-	-	+
	<i>d</i>	-	+	+	<i>r</i>	+	+	+									
	<i>s</i>	+	-	+	<i>s</i>	+	-	+									
<i>p</i>	<i>b</i>	-	+	+	$\beta$	+	+	+	<i>p</i>	-	-	-	<i>p</i> <sup>o</sup>	-	-	-	+
	<i>f</i>	+	-	+	<i>f</i>	+	-	+									
<i>k</i>	<i>k</i>	-	-	+	$\left\{ \begin{array}{l} \gamma \\ g \end{array} \right.$	+	+	+	<i>k</i>	-	-	-	<i>k</i> <sup>o</sup>	-	-	-	+
<i>kp</i>	<i>kp</i>	-	-	+	<i>kp</i>	-	-	+									

Таблица 2

	I					M <sub>v-v</sub>					F							
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E			
<i>t</i>	<i>t</i> <sup>h</sup>	-	+	-	+	-	<i>d</i>	-	-	+	-	-	<i>t</i>	-	-	-	-	-
	<i>t</i>	-	-	-	-	-	$\left\{ \begin{array}{l} t: \\ t \\ z \\ s: \end{array} \right.$	-	+	-	-	+	<i>s</i>	+	-	-	-	-
	<i>s</i>	+	+	-	+	-												
$\xi$	$\xi$	-	-	-	-	-	$\xi$	+	-	+	-	-	$\xi$	+	-	-	-	-
	$\xi$	+	+	-	+	-												
<i>p</i>	<i>p</i> <sup>h</sup>	-	+	-	+	-	$\left\{ \begin{array}{l} p: \\ p \\ \end{array} \right.$	-	+	-	-	+	<i>p</i>	-	-	-	-	-
	<i>p</i>	-	-	-	-	-												
<i>k</i>	<i>k</i>	-	-	-	-	-	$\left\{ \begin{array}{l} k: \\ k \\ \gamma \end{array} \right.$	-	+	-	-	+	<i>k</i>	-	-	-	-	-
	<i>x</i>	+	+	-	+	-							( $\gamma$	+	-	+	-	-)

распределение. Столбец с дополнительными обозначениями звуков (*t*, *d*, *s* и т. д.) имеет исключительно вспомогательное значение.

В тувинском выделяются те же три константных признака, что и в эфике (см. табл. 2). Позиционные признаки для шумных: А — непрерывность, В — напряженность, С — звонкость, D — аспирированность, Е — долгота. В таблице не учтен один варьируемый признак, именно задности — передности (бинарный локальный признак). Если бы этот признак был введен, каждая строка раздвоилась бы, кроме последней строки финали, обозначенной  $\gamma$ . Отсутствие вариации по этому признаку у данного звука действительно может быть воспринято как свидетельство его принадлежности к другому классу, сонорных. { обозначает свободное варьирование <sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Отметим, что в обоих примерах множества строк непреднеязычных сегментов всегда (с учетом позиции) суть подмножества множества строк переднеязычного сегмента (см. § 8.2). Это соблюдается во всех случаях, кроме веларного сегмента в финали в тувинском, что может служить еще одним доводом для исключения конечного  $\gamma$  из числа шумных.

7.2. Между признаками, равно как и между значениями признаков, могут быть установлены различные логические отношения. Для значений признаков могут быть введены отношения (1) устойчивости — на данном множестве данный признак имеет одно постоянное значение; (2) смысловозличения — на данном множестве признак принимает оба значения, причем изменение значения признака ведет к изменению значения слова; (3) дополнительной дистрибутивности — на данном множестве признак принимает оба значения, причем существуют определенные фонологические характеристики, обуславливающие появление того или иного значения; (4) свободной вариативности — на данном множестве данный признак принимает оба значения, причем выбор того или иного значения никак не отражается на семантике и не обусловлен никакими фонологическими факторами<sup>22</sup>.

Для признаков (пары) определяются следующие отношения: (1) независимости — на данном множестве представлены все возможные сочетания значений признаков (т. е. четыре: ++, --, -+, +-); зная значение одного из признаков, мы не можем определить значение другого признака; (2) частичной предсказуемости — на данном множестве представлены три из четырех возможных сочетаний значений признаков, т. е. по одному из значений признака можно определить значение другого признака, по другому же значению — нельзя; (3) эквивалентности — на данном множестве один признак положителен тогда и только тогда, когда положителен другой; (4) инверсии — на данном множестве один признак положителен тогда и только тогда, когда отрицателен другой. В сущности есть то же отношение эквивалентности, только предполагающее смену знаков<sup>23</sup>.

Эти отношения могут определяться на разных множествах: (1) на множестве, ограниченном сегментом и позицией, например {р, I} — множество звуков, соответствующих сегменту <р> в начальной позиции; (2) на множестве, ограниченном только позицией, например, {-, I} — множество звуков, имеющих в начальной позиции; (3) на множестве, ограниченном только сегментом, например {р, -}; (4) на множестве, соответствующем всей системе, т. е. не ограниченном ни позицией, ни сегментом. Могут рассматриваться и разные подмножества этих множеств.

Приведем примеры. Рассмотрим прежде всего соотношения значений.

(1) Устойчивость: значение признака непрерывности устойчиво на множестве {р, I} в тувинском языке; значение признака аспирированности отрицательно устойчиво на множестве {-, M} в том же языке; значение признака непрерывности отрицательно устойчиво на множестве {кр, -} в языке эфик.

(2) Смысловозличительность: значение признака непрерывности на множестве {р, I} в эфике; значение признака звонкости на множестве {-, I} в русском; значение признака непрерывности на множестве {t, -} в тувинском. Если признак смысловозличителен во всей системе, то он константен, и поэтому не описывается в системе признаковых вариаций.

(3) Дополнительная дистрибутивность: значение признака непрерывности на множестве {k, M<sub>v-v</sub>} в эфике; значение признака напряженности на множестве {-, F} в немецком.

<sup>22</sup> Следовало бы ввести еще и отношение частичной вариативности для тех случаев, когда на данном множестве данный признак принимает оба значения, однако свободное варьирование возможно только в части слов.

<sup>23</sup> Ср. рассмотрение этих отношений в признаковой фонологии у М. И. Лекомцевой (указ. соч.).

(4) С в о б о д н а я в а р и а т и в н о с т ь: значение признака непрерывности на множестве {č, M} в арауканском (см. §§ 4.1, 8.1.3); значение признака напряженности на множестве {—, M} в тувинском; значение признака аффрицированности на множестве {ğ, —} в кабардинском <sup>24</sup>.

Рассмотрим теперь соотношения признаков.

(1) Н е з а в и с и м о с т ь: долгота и непрерывность на множестве {t, M} в тувинском; звонкость и аспирированность на множестве {—, M} или {—, I} в санскрите; звонкость и непрерывность на множестве {t, —} в уйгурском <sup>25</sup>.

(2) Ч а с т и ч н а я п р е д с к а з у е м о с т ь: долгота и непрерывность на множестве {p, M} в тувинском (+ Непрерывный → — Долгий; + Долгий → — Непрерывный, но не наоборот); звонкость и глоттализованность на множестве {—, I} или {—, M} в такелма <sup>26</sup>.

(3) Э к в и в а л е н т н о с т ь: непрерывность и напряженность на множестве {k, I} в тувинском (+ Непрерывный ⇔ + Напряженный); напряженность и аспирированность на множестве {—, I} в тувинском; напряженность и аспирированность на множестве {č, —} в тувинском.

Как мы видели, отношения признаков основываются на сравнении распределения их значений относительно друг друга. Подобно тому, как мы сопоставляем значения разных признаков на одном множестве, мы можем сопоставлять и значения одного признака на разных множествах. Это позволяет нам говорить об эквивалентности, частичной предсказуемости и независимости разного рода множеств относительно данного признака. Так, например, мы можем говорить об эквивалентности позиций (т. е. множеств типа {—, I}) относительно различных признаков. Палатальная гармония в языке типа тувинского может, таким образом, описываться как эквивалентность позиций относительно признака задний — передний <sup>27</sup>.

Можно видеть, что любое описание в рамках классической фонологии может быть получено из данного (кроме аспектов, связанных с морфофонологией). Для этого устраняются все признаки, устойчивые на всех множествах, определенных позицией. Пары признаков, эквивалентные или инверсионные на множестве, равном всей системе, сводятся в одно. Затем в качестве дифференциальных определяются те признаки, которые смысло-различительны по крайней мере на одном множестве, определяемом сегментом и позицией. Потом для каждой позиции выделяются фонематические единицы, определяемые пересечением константных признаков с теми позиционными, которые смысло-различительны для данного сегмента в данной позиции. Таким образом мы получаем системы микрофонем (по терминологии В. Тводделла) или позиционных фонем (по терминологии Т. В. Гам-

<sup>24</sup> См.: Н. С. Т р у б е ц к о й, указ. соч., стр. 54.

<sup>25</sup> G. J a g g i n g, Studien zu einer Osttürkischen Lautlehre, Lund, 1933, стр. 100—111. Оба признака являются варьируемыми, поскольку имеется, например, свободная вариация  $b \sim \beta$  и свободная вариация  $t \sim d$  в финали. В инициали отсутствует [z]. Однако в срединной и конечной позициях могут быть все четыре звука —  $t, d, s, z$ .

<sup>26</sup> См.: Ch. F. H o c k e t t, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 107.

<sup>27</sup> Таким образом, гармония согласных описывается как эквивалентность позиций относительно признака. Этот признак может и не быть смысло-различительным, ср. звонкость в варао; см.: Н. А. О s b o r n, Waga I, IJAL, 32, 2, 1966, стр. 108—123.

Гармония согласных — довольно редкое явление. Типологически наиболее распространена независимость позиций относительно любого из варьируемых признаков. Однако в частных лексических подсистемах в языке явления такого рода могут наблюдаться. См. об эквивалентности позиций относительно признака звонкости в идеофонах эве у Д. Вестермана. Звук, тон и значение в западноафриканских суданских языках, «Африканское языкознание», М., 1963, стр. 112; о зулу в этой же связи см.: J. A. L o u w, The consonant phonemics of the lexical root in Zulu, «Africa und Übersee», 48, 2. Факты этого рода могут рассматриваться как дополнительное свидетельство «просодичности» (в отдельных языках) таких признаков, как звонкость, напряженность и т. д.

крелидзе)<sup>28</sup>. Переход от этих единиц к единому инвентарю фонем и признаковая характеристика этих фонем разнятся в разных фонологических построениях (см. об этом подробно в §§ 2, 3).

8.1. Рассмотрим теперь, какими в данной фонологии предстают те три проблемы, которые, как говорилось выше, не решаются в рамках классической фонологии.

8.1.1. Невозможность фонетической интерпретации фонологических символов. Очевидно, что предлагаемое построение в значительно большей степени отражает фонетическую реальность, чем классическая фонология. Полного отражения фонетики нет, однако, и в нем, ср., например, неучтенное участие верхних зубов в образовании губных языка эфик. Насколько детализованное описание необходимо для универсального сопоставления, можно определить только эмпирически. Насколько подробно должен быть при этом описан отдельный язык, зависит от того, какие в принципе ищутся закономерности и какова процедура сопоставления.

8.1.2. Неотождественность процедур идентификации. Этой проблемы не возникает, поскольку не производится идентификация. Выше говорилось о заведомой неуниверсальности морфофонологического критерия при группировке позиционных вариантов. Представляется, что морфофонология должна быть четко отграничена от фонологии, при этом последнюю можно понимать как функциональную фонетику и рассматривать в качестве конечного уровня морфофонологических преобразований. При этом те морфофонологические тождества позиционных вариантов, которые переносились в фонологию, должны стать характеристикой морфемы. Морфема должна быть, видимо, отнесена к определенному классу. Принадлежность этому классу и определит спецификации ее сегментных составляющих по позиционным признакам при попадании морфемы в разные позиции. Эта классификация в принципе подобна приписыванию исходной словоформы к той или иной акцентуационной парадигме (например, в русском)<sup>29</sup>.

Фонология в нашем понимании не отождествляется с непосредственной фонетической реальностью (хотя бы и перцепторной, а не физической). Фонология — это уровень, на котором возможны универсальные сопоставления, и именно она, по нашему мнению, должна быть конечным уровнем при рассмотрении морфофонологических преобразований. При ее исследовании ставятся содержательные задачи, не зависящие от морфологии. Ее соотношение с фонетической данностью — это особая область исследования.

8.1.3. Расчленение фонемного и аллофонического уровней. Естественно, что в данном построении снимаются соответствующие проблемы. Как уже говорилось, сегментные единицы не

<sup>28</sup> W. T w a d d e l l, On defining the phoneme, «Language monographs», XVI, New York, 1935; Т. В. Г а м к р е л и д з е, К построению дистрибутивной фонологической модели, «Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии. Тезисы докладов», М., 1963.

<sup>29</sup> Так, в языке качиквел в I и M<sub>v-v</sub> противопоставляются звонкий, преглоттализированный неаспирированный [ʔ] глухому неаспирированному [p], в F глухой неаспирированный [p] противопоставлен аспирированному [p<sup>h</sup>] (J. L. G r i m e s, The linguistic unity of Sakchuquel-Tzutujil, IJAL, 34, 2, 1968). Автор описания объединяет I, M [ʔ] с F [p], а I, M [p] с F [p<sup>h</sup>], поскольку 'b и p «переходят» (go to) соответственно в p и p<sup>h</sup> (морфофонологическое чередование). Мы же, избегая столь антифонетического отождествления, говорим здесь о двух классах морфем, различающихся типом последнего сегмента. Один тип — M: + Звонкий, F: — Аспирированный; другой — M: — Звонкий, F: + Аспирированный. Остальное выводится из фонологического описания, учитывающего взаимосвязи признаков.

имеют аллофонов, кроме обусловленных коартикуляционным эффектом, а позиционные аллофоны описываются как варьирование признаков.

Так, в рассматривавшемся арауканском примере (§ 4.1) в финали признак непрерывности имеет устойчивое положительное значение, тогда как в начале и середине он для одних сегментов смыслоразличителен ( $p - f$ ), для других — свободновариативен ( $\check{c} - \check{s}$ ).

Что же касается универсалий (§ 4.2), то они получают здесь естественную формулировку. Закономерность, касающаяся глухости — звонкости, формулируется так: Если в языке для шумных признаков назальности не является варьируемым, то признак звонкости отрицательно устойчив в конечной позиции и не устойчив в конечной позиции только тогда, когда он неустойчив и в других позициях (кроме начальной).

8.2. В связи с данной фонологией можно предположить существование ряда универсальных закономерностей, которые не обнаруживаются или обнаруживаются с трудом в рамках классической фонологии.

Так, видимо, во всех языках есть константные признаки. Видимо, могут быть языки без позиционных признаков. Позиционные признаки, образуя определенные модели слова, выполняют делимитативную функцию. При отсутствии позиционного варьирования можно предположить существование других средств делимитации, например, гармонии гласных или ударения.

Разные признаки бывают варьируемыми с разной распространенностью по языкам. Среди признаков способа Н. С. Трубецкой различал модальные признаки первой степени (сонантность, фрикативность, смычность) и модальные признаки второй степени (звонкость, напряженность, аспирированность, глоттализованность и т. д.). В этой связи можно предположить такую универсалию: Если в языке варьируется один из модальных признаков первой степени, то варьируется и один из модальных признаков второй степени.

Большая фонетическая расчлененность переднеязычных сравнительно с другими локальными рядами может быть обобщена в такой универсалии: Если какой-либо варьируемый признак устойчив на переднеязычном сегменте, то он устойчив и на каком-либо другом сегменте<sup>30</sup>.

Нерасчлененность финали сравнительно с другими позициями может быть выражена в таком утверждении: В финали не меньше признаков с устойчивым значением, чем в начальной или интервокальной позициях.

<sup>30</sup> В качестве предварительных наблюдений можно отметить следующие общеязыковые тенденции. Если варьируется модальный признак первой степени, т. е. признак фрикативности или аффрикации, то наибольшее число противопоставлений наблюдается в переднеязычном сегменте, см. примеры выше, § 7.1. Для варьируемых модальных признаков второй степени: о звонкости см.: Т. В. Гамкрелидзе, О соотношении смычных и фрикативных в фонологической системе, «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы», М., 1972; так же, видимо, обстоит дело и с напряженностью; о глоттализованности и преглоттализованности см.: J. Greenberg, Some...; L. Campbell, On glottalic consonants, IJAL, 39, 1, 1973. Так же как и глоттализованность, распределен, видимо, по локальным рядам и признак аспирации. Из резонансных признаков преназализация характеризует обычно губной и дентальный сегменты, и лишь затем — велярный. Из признаков окраски можно, видимо, отметить определенную предпочтительность велярного сегмента для признака лабиализации. О признаках палатализации, веляризации и фарингализации как свойствах «антериорных» согласных (положение, нуждающееся в некоторой ревизии) см.: N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English, New York, 1968, стр. 307. Эти частные наблюдения позволяют думать, что проверка предложенной универсалии осмысленна. Однако все закономерности, сформулированные в данном параграфе, не более чем осмысленные гипотезы, проверка которых будет темой отдельной работы.

В. Б. КАСЕВИЧ

## О ВОСПРИЯТИИ РЕЧИ

По проблеме восприятия речи накопилась, без преувеличения, огромная литература, растущий объем которой грозит сделать ее необозримой. Ввиду комплексного характера самой проблемы, восприятию речи посвящены работы лингвистов, физиологов, психологов, неврологов, инженеров связи, дефектологов и других специалистов. Вместе с тем почти единодушно утверждается, что даже основы теории восприятия речи не могут считаться удовлетворительно разработанными; прикладные аспекты проблемы также весьма далеки от такой стадии изученности, когда можно думать, например, о технической реализации соответствующих устройств.

В такой ситуации представляется целесообразным сделать критический обзор существующих концепций, разумеется, лишь основных и притом наиболее интересных с лингвистической точки зрения, — тем более, что в отечественной литературе языковедческого характера такие попытки пока не предпринимались<sup>1</sup>.

Следует заметить, что не существует ясности уже в том, что считать критерием эффективности восприятия — соответственно и в том, каким должен быть критерий адекватности модели, описывающий восприятие. С одной стороны, восприятие речи есть процесс перехода «текст → смысл», его конечная цель — установление смысла сообщения. Сообразно этому можно было бы считать, что адекватная модель восприятия речи должна обладать способностью сопоставлять каждому данному высказыванию хотя бы одно другое высказывание, синонимичное ему (что вполне соответствует обычной практике: признаком того, что человек понял сообщение, обычно считается умение пересказать его «своими словами»).

С другой стороны, это, возможно, слишком строгое требование. Дело в том, что владение языком, вообще говоря, не предполагает способности понимать любые правильные высказывания в данном языке. Владение языком непременно предполагает, однако, умение произвести фонологический и грамматический анализ любого правильного высказывания в данном языке (разумеется, мы не имеем в виду сознательный, тем более, научно-лингвистический анализ). Соответственно, обладание такой способностью могло бы стать более реалистичным и более лингвистичным (вернее, психолингвистичным) критерием адекватности модели восприятия речи. Вместе с тем, технически, формально такой критерий вызывает большие сложности — в частности и в особенности потому, что весьма мало до сих пор известно о том, как человек производит грамматический анализ высказывания.

Видимо, изложенное в значительной мере объясняет то обстоятельство, что до сих пор восприятие речи чаще всего понимается и исследуется в са-

---

<sup>1</sup> Лишь недавно появился небольшой обзор: М. Я. Г л о в и н с к а я, А. М. К у з н е ц о в а, Р. Ф. П а у ф о ш и м а, Восприятие речи, в кн.: «Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966—1969 гг. Фонетика. Теория письма», М., 1973.

мом узком смысле — как установление фонологического облика высказывания<sup>2</sup> (поскольку здесь картина выглядит определеннее: человек, получив акустический сигнал, перекодирует его в цепочку фонем плюс просодические характеристики). Очевидно, разумным критерием адекватности модели, отражающей восприятие в этом узком смысле, может считаться способность воспроизводить предъявляемые высказывания<sup>3</sup>.

В дальнейшем в нашем обзоре будут разбираться именно концепции, связанные с фонологическим аспектом восприятия речи.

Совершенно очевидно, что фонологический анализ — т. е. установление человеком фонологического облика высказывания — является фундаментом восприятия. Это естественно следует из того достаточно тривиального обстоятельства, что элементы языка суть знаки, материальные означающие которых представлены именно определенным образом организованными последовательностями фонем<sup>4</sup>.

Отсюда обычно делается вывод, что все, существующее в языке, должно обязательно иметь в речи материальное, т. е. фонологическое — в соответствующей фонетической реализации — выражение и наоборот. Иначе говоря, утверждается строгая ковариантность фонологического плана и плана содержания и в языке, и в речи.

В фонетике, в частности, эти взгляды нашли выражение в настойчивых поисках фонетических признаков словоделения, пограничных сигналов, «фонем стыка» и т. п.<sup>5</sup>

В изучении восприятия речи положение о жесткой зависимости смысловой интерпретации высказывания от его фонологического облика результировалось в концепции восприятия, строго последовательно проходящего языковые уровни «снизу вверх». Согласно этой концепции, переход к морфологическому анализу совершается только тогда, когда полностью завершен анализ фонологический, и т. д.<sup>6</sup> Такой подход характерен для многих авторов по автоматическому распознаванию речи, что, вообще говоря, вполне естественно, так как автоматические устройства, по крайней мере на данной стадии развития техники, могут оперировать прежде всего с некоторыми физическими характеристиками сигнала и с единицами, которые можно описать, в конечном счете, в терминах таких характеристик<sup>7</sup>.

Однако применительно к человеку этот подход, с одной стороны, не может объяснить факты, когда вполне адекватно воспринимается речь, заведомо лишенная ряда необходимых признаков (что является типичным случаем); с другой стороны, такой подход не учитывает положение о принципиально активном, превосходящем характере восприятия, с чем плохо согласуются представления о строго последовательном анализе.

<sup>2</sup> См.: Л. А. Ч и с т о в и ч, Современные проблемы и методы изучения восприятия речи и речеобразования, «Успехи физиологических наук», 1970, I, 1, стр. 85.

<sup>3</sup> Ср.: Л. А. Ч и с т о в и ч, О двух направлениях в исследовании высшей нервной деятельности и о существе разногласий, в кн.: «Методологические вопросы физиологии высшей нервной деятельности», Л., 1970, стр. 96 и 100.

<sup>4</sup> Вполне естественно, что распад системы фонем при тотальной афазии ведет к полной невозможности речевого общения.

<sup>5</sup> Как известно, учение о пограничных сигналах было впервые систематически разработано Н. С. Трубецким — хотя уже сам Трубецкой говорил о их необязательности (Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 300).

<sup>6</sup> Такие представления явно перекликаются с развившимися в дескриптивной лингвистике взглядами об изолированности языковых уровней (так называемое «перегораживание уровней»).

<sup>7</sup> Ср., впрочем, недавнюю работу В. Бакхаузена, где содержится развернутая попытка наметить схему автоматического анализа речи с точки зрения «активного» восприятия (W. J. B a c k h a u s e n, Automatische Spracherkennung als Dekodierung der phonetischen Information? Der moderne Irrweg der Signalphonetik, «Phonetica», 25, 1, 1972. Эта работа требует особого обсуждения.

Выше уже упоминалось, что для многих авторов характерно убеждение в обязательном существовании вполне определенных способов членения на слова по фонетическим признакам. Однако многочисленные экспериментальные исследования доказывают, что лексико-грамматическая отдельность слова в предложении вовсе не обязательно находит выражение в его фонетической отдельности<sup>8</sup>. Практически не существует обязательных пограничных сигналов, сложное слово, в частности, не имеет постоянных фонетических признаков, отличающих его от словосочетаний<sup>9</sup>. Это явно колеблет тезис о жесткой ковариантности фонологического плана и плана содержания. С точки зрения восприятия это означает, что человек способен воспринимать различия, которые фонологически (фонетически) никак не выражены — о воспринимаемости же таких различий говорят экспериментальные данные: испытуемые «слышат» различия, которые реально не присутствуют в сигнале, например, различают интонационные контуры, фонетически идентичные. Точно так же человек адекватно «слышит» реально пропущенные, полностью искаженные звуки<sup>10</sup>.

Это же относится к кажущейся воспринимаемости объективно отсутствующих фонетических признаков словоделения: присущая носителям языка стихийная тенденция усматривать в языке некий «изоморфизм формы и содержания» заставляет человека «слышать» фонетически несуществующие границы, если их наличие с несомненностью следует из грамматики и смысла<sup>11</sup>.

Очевидно, при восприятии, как говорил Л. В. Щерба, «мы на самом деле дополняем то, что мы не выполняем» при говорении<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Существуют типы языковых единиц, где даже сама связь между лексико-грамматической отдельностью и фонетическими характеристиками не вполне ясна. Это относится прежде всего к явлению инкорпорации. С одной стороны, знаменательные компоненты инкорпорированных комплексов вряд ли при включении в соответствующий комплекс низводятся до положения «морфем», они сохраняют известную самостоятельность; с другой же стороны, многие типы инкорпорированных комплексов фонетически оформляются (и отнюдь не факультативно или в связи со стилем речи) как слова — причем в частности и в особенности именно те из них, где отсутствует собственно-грамматическое объединение компонентов комплекса посредством известного приема «замыкания».

<sup>9</sup> Заметим, что при обсуждении проблемы пограничных сигналов (слова) нередко, с нашей точки зрения, не вполне четко расставлялись акценты. Во-первых, следует всегда ясно представлять, что в данном случае речь идет о фонетическом слове, которое отнюдь не всегда материально совпадает с «флективным» или «цельным» словом (см., например: С. Е. Яхонтов, О значении термина «слово», в кн.: «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963). Даже минимальному по протяженности фонетическому слову в конкретном предложении не всегда соответствует слово с грамматической точки зрения, нередко такой минимум — это слово с его клитиками. Максимумом же может выступать все предложение (ср.: E. Pulgram, Syllable, word, nexus, cursus, The Hague — Paris, 1970). Кроме того, реалистично здесь говорить лишь о потенциальных признаках, т. е. таких, которые могут быть при необходимости реализованы говорящим и, соответственно, восприняты слушающим.

<sup>10</sup> См., например: P. Lieberman, On the acoustic basis of the perception of intonation by linguists, «Word», XXI, 1, 1965; его же, Some effects of semantic and grammatical context on the production and perception of speech, «Language and speech», VI, 3, 1963; H. Contreras, S. Saporita, The validation of a phonological grammar, «Lingua», IX, 1960.

<sup>11</sup> При этом в тех случаях, когда возникает противоречие между «формой и содержанием», такой конфликт разрешается, вероятно, чаще в пользу содержания, смысла: слушающий предпочитает более вероятное с точки зрения смысла членение на слова даже тогда, когда фонетические признаки вполне определенно указывают на иной, но семантически менее вероятный, способ сегментации высказывания (ср.: L. [and] H. Gleitman, H. Gleitman, Phrase and paraphrase: some innovative uses of language, New York, 1970).

<sup>12</sup> Цит. по стенограмме лекции, прочитанной в Институте живого слова 27 декабря 1918 г. (стр. 6 стенограммы).

Следует подчеркнуть при этом, что мы везде имеем в виду не такие случаи, когда недостающая или «смазанная» часть высказывания восстанавливается при восприятии путем сознательного угадывания, — мы рассматриваем ситуацию, когда слушающий не замечает никакой разницы между такими частями высказывания и его тщательно, «идеально» произнесенными сегментами. Иначе говоря, имеется в виду полностью автоматическое компенсирование недостающей информации, когда отсутствие полезных признаков и сегментов в акустическом сигнале не только не мешает адекватному восприятию, но даже не сказывается, в общем, на субъективной оценке сигнала слушающим.

Чем же компенсируется недостаток собственно фонетической информации? Если отвлечься от внелингвистических факторов (знание ситуации, собеседника и т. д. и т. п.), которые чрезвычайно существенны, но не могут быть предметом настоящего рассмотрения, то можно утверждать, что компенсирующая информация должна принадлежать более высоким языковым уровням. Тем самым констатируется, что восприятие не является процессом, строго однонаправленным, последовательно проходящим уровни «снизу вверх». Анализ более высоких уровней производится — частично — одновременно с фонологическим анализом. Следовательно, окончательный фонологический облик высказывания, фиксируемый восприятием, может частично зависеть от информации, принадлежащей высшим языковым уровням — и в этом смысле можно сказать, что человек не только «понимает, потому что слышит», но и «слышит, потому что понимает»<sup>13</sup>.

Вместе с тем ясно, конечно, что единицы вышележащих уровней должны обладать определенным фонологическим обликом, — нельзя в собственном смысле анализировать то, чего еще нет в восприятии. Такой анализ носит весьма специфический характер — характер прогнозирования: основываясь на части присутствующих в сигнале признаков и на своем знании языка, человек выдвигает гипотезу относительно того, какое сообщение он принимает. Как отмечал Л. В. Щерба, «достаточно некоторого числа уже элементов...; чтобы из старого багажа пришли нужные элементы на помощь пониманию, слились в одно целое с воспринимаемыми элементами и возникло бы восприятие в его чистом виде... Причем характерным моментом ... является то, что наше сознание не различает данного непосредственно в опыте от того, что... в окончательном счете возникает [в восприятии. — В. К.]»<sup>14</sup>.

Такая концепция отличается от представлений о строго поуровневом восприятии в том отношении, что если эти последние отводят человеку, в сущности, роль «пассивного детектирующего устройства»<sup>15</sup>, то тезис о «комплексном» восприятии, с одновременным анализом разных уровней, гораздо лучше согласуется с общим принципом активности человеческого восприятия и, шире, взаимодействия организма со средой.

Положения общей теории восприятия говорят, что «адекватное отражение субъектом многообразной окружающей действительности не является пассивным отражением по типу фотографического»<sup>16</sup>, что воспринимающая система не просто «переносит» некоторые признаки сигнала «из од-

<sup>13</sup> Ср. характерные названия глав монографии Ф. Смита, посвященных восприятию при чтении: «What the eye tells the brain» и «What the brain tells the eye» (F. Smith, Understanding reading: a psycholinguistic analysis of reading and learning to read, New York, 1971, гл. VII, VIII).

<sup>14</sup> См.: Л. В. Щерба, указ. стенограмма, стр. 4.

<sup>15</sup> П. Колерс, Некоторые психологические аспекты распознавания образов, в кн.: «Распознавание образов. Исследование живых и автоматически распознающих систем», М., 1970, стр. 46.

<sup>16</sup> В. Б. Косов, Проблемы психологии восприятия, М., 1971, стр. 26.

ного места в другое и записывает их на каком-нибудь накопителе»<sup>17</sup>. Напротив, восприятие рассматривается как целенаправленное «действие субъекта, посредством которого осуществляются различные преобразования стимула в образ»<sup>18</sup>. Применительно к наиболее изученному типу восприятия, зрительному, утверждается, что воспринятый образ (по сообщению испытуемого в экспериментальной ситуации) «фактически представляет собой предположение или дополнение — перцептивную конструкцию, основанную на каких-то намеках»<sup>19</sup>. При этом существенно отличающиеся стимулы могут восприниматься как идентичные, а идентичные стимулы как отличающиеся — в зависимости от разного рода условий и целей деятельности<sup>20</sup>.

В более широком плане такие представления связаны с концепцией, согласно которой жизненно важной характеристикой живого организма (в особенности человеческого) является его способность к вероятностному прогнозированию. Организму свойственно опережающее отражение среды; решая определенные задачи, организм «не может себе позволить» скрупулезно обрабатывать сигнал — вместо этого, он, основываясь на какой-то части полученной информации, вырабатывает гипотезы о существующих в данном отношении свойствах среды, делая это в соответствии с некоторыми априорными вероятностями, определяющимися филогенезом и онтогенезом<sup>21</sup>.

В процессе отражения организм действует по принципу «рефлекторного кольца» — циклически возвращаясь к образу «путем поэтапного корригирования развернутой рефлекторной реакции, ... активно-целенаправленного согласования последовательных действий»<sup>22</sup>.

При этом деятельность человека, совершаемые им действия и операции направляются той целью, которой обусловлена данная деятельность. Деятельность направлена на свою цель, и все входящие в нее действия и операции, необходимые для достижения данной цели, являются подчиненными, принадлежат «фоновым уровням» — в отличие от «ведущего уровня», который и ответствен за достижение цели<sup>23</sup>.

Возвращаясь к восприятию речи, мы легко определяем, что, как уже отмечалось выше, целью восприятия речи как деятельности является установление смысла сообщения; следовательно, восприятие с самого начала ориентировано на выяснение смысла, и все прочие действия и операции — анализ на более низких языковых ярусах — принадлежат фоновым уровням<sup>24</sup>. В свете сказанного вполне понятно, что активное восприятие речи не только может, но и должно, вместо тщательного фонологического анализа, предшествующего всему остальному, опираться на некоторую часть фонологической информации, «спеша» перейти к более высоким уровням, к смыслу, посредством выдвижения гипотез и их дальнейшей корректировки.

<sup>17</sup> В. П. Зинченко, Теоретические проблемы психологии восприятия, в кн.: «Инженерная психология», М., 1964, стр. 244.

<sup>18</sup> Там же, стр. 232.

<sup>19</sup> П. Колерс, указ. соч., стр. 46.

<sup>20</sup> См. там же, стр. 57, 79 и др.; В. П. Зинченко, указ. соч., стр. 234.

<sup>21</sup> См.: И. М. Фейгенберг, Вероятностное прогнозирование в деятельности мозга, «Вопросы психологии», 1963, 2; ег о ж е, Мозг, психика, здоровье, М., 1972.

<sup>22</sup> В. Н. Свинцицкий, Концепция «физиологии активности» как предпосылка теоретизации физиологического знания, ВФ, 1972, 6, стр. 38.

<sup>23</sup> Ср.: Н. А. Берштейн, Очерки по физиологии движений и физиологии активности, М., 1966; А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, М., 1972.

<sup>24</sup> Здесь следует сделать одну оговорку: в общем случае речевое поведение человека является компонентом некоторой другой деятельности, и в этом смысле можно было бы говорить о «речевом действии», а не речевой деятельности, где речь в целом принадлежала бы фоновым уровням. Однако с известной степенью условности позволительно выделять речь, вернее, речевую деятельность, в качестве самостоятельного вида деятельности.

Возникает чрезвычайно важный вопрос: каким образом происходит переход от частичного фонологического анализа к целостному восприятию и что, в частности, является здесь оперативной единицей восприятия, единицей решения (т. е. в терминах каких единиц осуществляется восприятие)?<sup>25</sup>

Наиболее простой ответ предлагает теория порождающих грамматик и генеративистски ориентированная психолингвистика. Это известная концепция «анализа через синтез». Согласно данной концепции, активная, превосходящая деятельность воспринимающего субъекта выражается в том, что он, основываясь на некотором минимуме информации (certain cues and certain expectations), порождает встречное предложение — вплоть до его фонетической формы — и уже его воспринимает<sup>26</sup>.

Таким образом, единицей решения здесь выступает предложение.

Признание «анализа через синтез», где предложение выступает в качестве оперативной единицы восприятия, привлекательно во многих отношениях. Прежде всего, именно предложение является единицей, несущей целостный фрагмент информации, смысла («законченную мысль», выражаясь языком школьных грамматик) — восприятие же, как уже упоминалось не раз, направлено именно на постижение смысла сообщения. Кроме того, здесь в принципе исключается необходимость в отдельных механизмах и, соответственно, моделях для порождения и восприятия речи — есть один механизм и, отсюда, одна модель (теория), «теория для носителя языка»<sup>27</sup>.

Вместе с тем указанная концепция, понимаемая так, как это изложено выше<sup>28</sup>, по-видимому, слишком упрощает положение вещей.

Прежде всего можно заметить, что здесь анализ чересчур прямолинейно сводится к синтезу: даже фонетическая (в узком смысле) форма высказывания оказывается «порожденной» — хотя фонетическая реализация фонологического (точнее, морфонологического) облика языковых единиц, будучи естественно необходимой при порождении речи, очевидно, теряет смысл при анализе, если верхние уровни уже «пройденны».

Признание предложения в качестве единственной единицы решения не учитывает и того обстоятельства, что человек осуществляет текстовое распознавание речи: ведь объективно при таком признании следует считать, что собственно процесс распознавания начинается по накоплении информации, рассредоточенной по всему предложению — а это не соответствует хорошо известной тенденции к текущему распознаванию речи. Если же допустить текущее распознавание, сохраняя предложение как единицу решения, то, в полном соответствии с подсчетами самого Миллера, окажется, что человеку для восприятия одного среднего предложения придется выдвинуть  $10^{20}$  последовательно сменяющихся друг друга гипотез (породить

<sup>25</sup> Мы практически полностью обходим здесь вопрос о «наличии некоторого чисто сенсорного процесса, являющегося основой восприятия», который предшествует восприятию как деятельности (см.: В. П. Зинченко, указ. соч., стр. 238).

<sup>26</sup> См.: N. Chomsky, M. Halle, *The sound pattern of English*, New York, 1968, стр. 24. В более разработанных версиях в грамматику включается, наряду с традиционными синтаксическим, семантическим, фонологическим компонентами, также особый «продукционный компонент», входом которого служат лексикон, семантический компонент, показатель глубинной структуры, показатель поверхностной структуры, а также информация о ситуации, собеседнике и т. д. Этот компонент — специальное средство восполнения недостающей в сигнале информации. Одновременно при говорении этот компонент вносит в сигнал те упрощения, которые затем могут быть сняты «продукционным компонентом» грамматики слушающего [см.: P. Liebermann, *Intonation, perception, and language*, Cambridge (Mass.), 1967, стр. 167].

<sup>27</sup> См.: Дж. А. Миллер, *Психолингвисты*, в кн.: «Теория речевой деятельности», М., 1968, стр. 251.

<sup>28</sup> Признание предложения основной и едва ли не единственной единицей решения следует из логики рассуждений Дж. Миллера, Н. Хомского и др. В то же время в иных

10<sup>20</sup> «встречных» предложений): как указывает Миллер, среднее (английское) простое предложение в каждой своей точке может быть продолжено десятью различными способами, а это означает, что при средней «длине» предложения в 20 слов, имеется 10<sup>20</sup> его «вариантов», являющихся результатом возможного изменения стратегии говорящего.

Из указанного обстоятельства следует, вероятно, что предложение не может считаться единственной и даже основной единицей решения при восприятии. Логичнее допустить, что выбор единицы решения зависит от целого ряда условий, и изменение этих условий (от объективного качества сигнала до соотношения социальной и профессиональной принадлежности собеседников) заставляет отдавать предпочтение той или иной единице решения — от дифференциального признака фонемы до, быть может, сверхфразового единства.

При порождении высказываний говорящий склонен использовать обладающие высокой степенью обобщения «топологические схемы», которые относятся к построению укрупненных единиц (и которые уже на более низких уровнях автоматически обретают соответствующую метрику)<sup>29</sup>. Таким же образом и слушающий при восприятии речи ориентируется на возможно более крупные единицы<sup>30</sup> — насколько это позволяет формальной и смысловой избыточностью их компонентов.

Следует лишь ясно сознавать, что здесь возможно чрезвычайно большое разнообразие реальных процессов, которые невозможно свести к единой схеме (выше уже было показано, в частности, что вряд ли реалистично сведение всех возможных типов восприятия к восприятию «по предложениям» — несмотря на известную соблазнительность такого подхода).

В принципе можно полагать, что в качестве единицы решения может выступать любая единица, способная находиться в отношении синтагматического контраста со своими «соседями» и обнаруживающая иерархическую структуру. Последнее необходимо потому, что активное восприятие предполагает избирательную направленность на некоторые «ключевые точки» соответствующего отрезка речи, которые существуют именно тогда, когда такой отрезок обладает внутренней иерархией.

Естественно считать при этом, что значительный удельный вес принадлежит использованию слова в качестве единицы решения<sup>31</sup>. С фонетической точки зрения слово обычно обладает единством фонетического облика (обеспечиваемым ударением, сингармонизмом, тональным контролем). Наличие такого единства способствует относительному синтагматическому выделению слова (по крайней мере, потенциальному). Вероятно, еще более существенно то, что указанное единство достигается за счет выделения определенных частей слова — в результате его линейная структура иерархизируется, и для воспринимающего субъекта возникает благоприятная почва для использования некоторых сегментов и характеристик в качестве «ключевых точек»<sup>32</sup>.

контекстах эти авторы говорят и о других единицах решения (см., например, G. Miller, Decision units in the perception of speech, «IRE transactions on information theory», VIII, 2, 1962.

<sup>29</sup> См.: Е. Н. Винарская, Клинические проблемы афазии (нейролингвистический анализ), М., 1971, стр. 80—81 и др.

<sup>30</sup> Ср.: В. П. Зинченко, указ. соч., стр. 255—256.

<sup>31</sup> Ср.: А. А. Леоптьев, Психоллингвистика и проблема функциональных единиц речи, в кн.: «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 181—185; Л. А. Чистович, В. А. Кожеников, и др., Речь. Артикуляция и восприятие, М.—Л., 1965, стр. 220—223; В. И. Галунюв, В. В. Люблинская, Л. А. Чистович, О моторной теории восприятия звуковых сигналов, в кн.: «Вопросы бионики», М., 1967, стр. 67.

<sup>32</sup> Ср. с известным положением о том, что при зрительном восприятии контура наибольшую информацию несут точки максимальной кривизны.

Так, в языках с ударением к «ключевым точкам», несомненно, относится ударный слог. Вполне вероятно, что контур, образуемый «ключевыми точками», включает в себя также начальный слог (с этим естественно соотнести известный феномен «инициальной интенсивности»). Свою роль в формировании такого контура играют согласные, большая информационная значимость которых в сравнении с гласными неоднократно отмечалась. Наконец, несомненно важны число слогов и ритмическая структура слова. Отметим здесь же, что фонетически «ключевые точки» отличаются обычно «полным типом произнесения»<sup>33</sup>.

Именно слова являются независимыми знаковыми единицами, образующими относительно замкнутый список — что облегчает использование процедуры «вычеркивания», существование которой предположила Л. А. Чистович: эта процедура проводит, по сути, одновременный анализ незнаковых и знаковых единиц, «вычеркивая» из словаря все единицы, не обладающим данным признаком (например, идентифицированным начальным согласным), чем значительно сужается круг поиска<sup>34</sup>.

Подчеркнем еще раз, что, в зависимости от характеристик конкретного сигнала, решаемой задачи, ряда лингвистических и внелингвистических факторов, человеческое восприятие в принципе способно избирать разные пути. «Крайними» случаями являются, с одной стороны, последовательный и тщательный анализ всей доступной фонетической информации, уже после которого следует анализ идентифицированного фонологического облика в качестве означающего соответствующих языковых единиц, а с другой стороны — весьма грубый анализ фонетической данности, после которого (и наряду с которым) осуществляется грамматическая и семантическая интерпретация с автоматическим дополнением до целого фонологической картины и микрокорригированием гипотез в процессе анализа. Существуют, конечно, и всевозможные промежуточные, по отношению к указанным «крайним случаям», пути.

Обсуждая результаты экспериментов по текущей имитации звуковых последовательностей, Л. А. Чистович и В. А. Кожевников пишут, что «человек ведет себя так, как если бы в нем были совмещены минимум два распознающих устройства: одно с низким порогом срабатывания, гарантирующее отсутствие пропуска фонем, и другое с высоким порогом, обеспечивающее накопление информации во времени и достаточную надежность распознавания»<sup>35</sup>. Возможно, здесь реальна интерпретация, сводящаяся к тому, что было сказано выше: второе распознающее устройство рассчитано на восприятие в условиях наименьшей избыточности (новые слова и т. п.), когда необходим по возможности полный фонетический анализ сигнала. Первое же распознающее устройство предназначено для приема в условиях достаточно высокой избыточности<sup>36</sup>.

Изложенное, несомненно, связано с проблемой у р о в н е й языка и речевой деятельности. Как уже говорилось выше, активное восприятие предполагает одновременный анализ высказывания на разных уровнях. Следовательно, возникает особая проблема взаимодействия уровней при восприятии (не сводящаяся к вопросу о выборе единицы решения и о пе-

<sup>33</sup> См.: Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, Л. Р. Зиндер, В. В. Касевич, Стили произношения и типы произнесения, ВЯ, 1974, 2.

<sup>34</sup> См.: Л. В. Бондарко, Н. Г. Загоруйко, В. А. Кожевников, А. П. Молчанов, Л. А. Чистович, Модель восприятия речи человека, [Новосибирск, 1968], стр. 9—10.

<sup>35</sup> Л. А. Чистович, В. А. Кожевников, Восприятие речи, вкн.: «Вопросы теории и методов исследования восприятия речевых сигналов», Л., 1969, стр. 117.

<sup>36</sup> Ср. также понятия «listening to the message» и «listening to the sound» у Эбелинга (С. L. E b e l i n g, Some premisses of phonemic analysis, «Words», 23, 1967).

реходе от одной единицы решения к другой). Эта проблема обнаруживает по крайней мере два аспекта. С одной стороны, необходимо установить наиболее типичные схемы циклической работы языкового механизма, конкретизирующие процессы, описанные выше в самом общем виде, — процессы, которые представляют собой как бы «челночные операции» между компонентами психолингвистического механизма. Они осуществляются до тех пор, пока не будет достигнуто своего рода «равновесие» между имеющейся на входе фонетической картиной, смысловой установкой и собственными закономерностями, присущими каждому уровню системы языка.

С другой стороны, поскольку архитектоника системы языка проявляется в речевой деятельности, возникает возможность вывести из иерархичности аспектов при восприятии иерархичность самой системы языка.

Теория анализа через синтез имеет и другую сторону. Это — моторная теория восприятия речи<sup>37</sup>. (Отметим, впрочем, что моторная теория развивалась, в общем, независимо от генеративной фонологии и принятие общей концепции анализа через синтез не связано с необходимостью принятия моторной теории — и наоборот)<sup>38</sup>.

Наиболее ранний вариант моторной теории удобнее проиллюстрировать на речевом примере, как он дан у А. Н. Леонтьева<sup>39</sup>. По А. Н. Леонтьеву, оценка высоты музыкального стимула человеком осуществляется так: слушающий использует внутреннее «пропевание» мелодии, «подстраивая» ее под сигнал; когда высота совпадает — он измеряет соответствующий параметр продуцированной им мелодии (а не исходной, полученной извне).

Точно так же восприятие речи предполагает «внутреннее проговаривание», подстраиваемое под слышимый сигнал.

Не останавливаясь на имеющейся в литературе<sup>40</sup> критике такой концепции, отметим следующее. По-видимому, для того чтобы сравнить генерируемый сигнал с исходным, подаваемым на вход, нужно располагать параметрами не только генерируемого, но также и исходного сигнала<sup>41</sup>. Иначе говоря, условием успешного сравнения и подстраивания выступает **п р е д в а р и т е л ь н ы й** анализ воспринимаемого сигнала<sup>42</sup>. Однако именно это является конечной задачей — и тогда не вполне ясно, зачем нужны прочие этапы, описанные выше.

Представляется, что феномен внутреннего проговаривания, который действительно наблюдался в некоторых экспериментальных ситуациях, можно объяснить следующим образом. В процессе овладения языком ребенок должен научиться различать и отождествлять звуки речи. В психологических терминах, это — овладение специфическим «умственным дейст-

<sup>37</sup> См.: В. И. Г а л у н о в, Л. А. Ч и с т о в и ч, О связи моторной теории с общей проблемой распознавания речи, «Акустический журнал», XI, 4, 1965; А. М. Л и б е р м а н, Ф. С. К у п е р, М. Стаддерт-Кеннеди, К. С. Х а р р и с, Д. Н. Ш а н к в е й л е р, Некоторые замечания относительно эффективности звуков речи, в кн.: «Исследование речи», Новосибирск, 1967; Л. А. Ч и с т о в и ч, В. А. К о ж е в н и к о в, и др., указ. соч.; К. Н. S t e v e n s, M. H a l l e, An active theory of speech perception, в кн.: «Proceedings of the symposium on perception of speech and visual form», Boston, 1964, и др.

<sup>38</sup> См.: А. А. Л е о н т ь е в, Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969, стр. 124.

<sup>39</sup> А. Н. Л е о н т ь е в, указ. соч., стр. 176—183.

<sup>40</sup> См., например: Н. L a n e, The motor theory of speech perception: a critical review, «Psychological review», 72, 1965.

<sup>41</sup> Ср.: Л. А. Ч и с т о в и ч, Психоакустика и вопросы теории восприятия речи, в кн.: «Распознавание слуховых образов», Новосибирск, 1970, стр. 108—109.

<sup>42</sup> Показательно, что когда К. Стивенс и его сотрудники моделировали описанный процесс на ЭВМ, то сравнивался спектр звука, генерируемый машиной, и спектр, подаваемый на вход, т. е. иначе говоря, на вход подавался уже проанализированный, по существу, сигнал (см.: К. N. S t e v e n s, Toward a model for speech recognition, JASA, 32, 1960).

вием». Условием же последнего является экстернизация — вынесение действия вовне и обращение его в предметное<sup>43</sup>. Такой экстернизацией и выступает, вероятно, проговаривание слышимого — сначала внешнее, а потом внутреннее. В дальнейшем же, когда «умственное действие» хорошо усвоено, необходимость в проговаривании отпадает вообще и возникает лишь в случаях затруднений в восприятии.

Проговаривание, являющееся необходимым при овладении языком, обеспечивает одновременно выполнение задачи первостепенной важности: установление прочной двусторонней связи между сенсорным (акустическим) и моторным (артикуляторным) образами.

К настоящему времени специалисты, по-видимому, не связывают моторную теорию речи с положением о непосредственном участии артикуляторов в процессе восприятия<sup>44</sup>. На современной стадии развития теории принимается, что слушающего при анализе речевого сигнала интересуют не его акустические параметры сами по себе, а информация о произведших сигнал артикуляциях, которую можно извлечь из акустической картины; «акустический сигнал при этом выполняет только роль носителя информации о неакустическом, моторном явлении»<sup>45</sup>. Слушающий перекодирует акустические признаки в артикуляторные и по этим последним уже устанавливает фонемный облик высказывания.

Некоторые авторы высказывают мнение, что разные звуки (например, гласные и согласные) могут распознаваться с использованием разных механизмов: одни — непосредственно сенсорно, путем прямого использования акустических параметров, другие — путем проекции акустических параметров на поле моторных образов<sup>46</sup>.

Возможно, следует сделать еще один шаг (причем, это будет в известной степени «шаг назад») и признать, что не существует примата акустического либо артикуляторного аспекта. Оба они в общем равноправны, и каждый из них может в определенных условиях «лидировать».

Необычайно важна связь между этими аспектами (которая и утверждается энергично моторной теорией). Теснота этой связи аналогична тесноте связи между означающим и означаемым знака — где одна сторона не существует без другой, обладая все же определенной автономией.

Эта связь, как уже говорилось, устанавливается в процессе овладения языком. Предпосылкой ее служит лепет доречевого периода, когда ребенок впервые учится соотносить сигналы от слухового анализатора с кинестезиями от артикуляторов. Впоследствии устанавливается прочная двусторонняя связь артикуляторных и акустических образов.

В связи с этим вполне правомерным представляется мнение Р. Якобсона, который считает неоправданными обе крайности: как «изоляционизм», разрывающий два аспекта звучащей речи, так и «гетерономию», подчиняющую один из них другому<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> См.: Л. С. Выготский, Мышление и речь, М., 1934; П. Я. Гальперин, Психология мышления и учение о поэтапном характере умственных действий, в кн.: «Исследование мышления в современной психологии», М., 1966.

<sup>44</sup> Резко возражает против такого понимания моторной теории Л. А. Чистович (см., например: Л. А. Чистович, Психоакустика, стр. 55, 112—113 и др.). Однако у многих авторов такое понимание моторной теории (чему, вероятно, способствует и «самоназвание» этой теории) сохраняется и в недавних работах (см., например: Ф. Ф. Рау, О механизме восприятия устной речи при нормальном и нарушенном слухе, «Дефектология», 1972, 6 стр. 25).

<sup>45</sup> В. И. Галунов, Л. А. Чистович, указ. соч., стр. 421.

<sup>46</sup> См.: А. М. Либерман, Ф. С. Купер, К. С. Харрис, П. Ф. Мак Нейлс, Некоторые замечания о модели восприятия, в кн.: «Исследование речи», стр. 20—23.

<sup>47</sup> R. Jakobson, The role of phonic elements in speech perception, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 21, 1968, стр. 18—19.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. Э. БАЗЕЛЛ

## МАРГИНАЛЬНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЗАКОНЫ

Поиски решения одной из спорных проблем древнеанглийской фонологии привели меня к осознанию необходимости введения такого понятия, как «маргинальный звуковой закон». Поэтому именно рассмотрение данной проблемы представляется наилучшим способом раскрытия предлагаемого понятия, причем мы не будем касаться всех, связанных с ней частных (а также привлекать материалы других языков), хотя и намерены вернуться к ним в дальнейшем.

Отправной точкой будет служить проблема так называемого «компенсирующего удлинения» кратких ударных гласных, связанного с выпадением *h* в позиции перед гласными, например, им. пад. *feorh* «жизнь; живое существо» — род. пад. *fēores* (<*feorhes*). Это общепризнанное удлинение гласных было подвергнуто сомнению в работе А. Смита<sup>1</sup>, а также в грамматике Р. Квирка и К. Л. Рэна<sup>2</sup>, в частности, на том основании, что в топониме *Walas* (<*Walhas*) «Уэлс» нет никаких следов удлинения. Однако отсутствие удлинения засвидетельствовано, конечно, и в современном топониме *Wales*, так как древнеанглийское *Wālas* дало бы в современном языке форму *Woles*.

Несколько позднее К. Диц<sup>3</sup> выступил с утверждением, что имеется достаточное количество данных, свидетельствующих о наличии удлинения и в географических названиях.

Как же следует в таких случаях объяснять формы без удлинения? То, что такие формы существуют, является общепризнанным фактом. В Кентских псалмах, например, имеется форма *feore*, которая содержит краткий гласный, так как соответствующий долгий в кентском диалекте обозначался диграфом *io*. Но подобные формы объяснялись до настоящего времени действием аналогии. Ожидаемое удлинение засвидетельствовано в поэме «Беовульф»: *fēore beorgan* «жизнь защищать» (1293 стих), где метрика стиха гарантирует долготу гласного.

В подобных случаях представляется убедительным объяснение более поздней формы воздействием аналогии. Действительно, не прибегая к такому объяснению, мы были бы не в состоянии объяснить тот факт, что всюду, где исключается аналогия, отсутствуют и формы с кратким гласным. Так, слово *fīras* «мужи (поэт.); человечество» ни в одном из засвидетельствованных случаев употребления с достаточной определенностью не обнаруживает краткого гласного. Но такое объяснение неубедительно в случае с *Walas*. Для данного слова более обычной была форма мн. числа,

<sup>1</sup> A. H. Smith, English place-name elements, «English place-name society», 25, 1956, стр. 124.

<sup>2</sup> R. Quirk, C. L. Wrenn, An Old English grammar, London, 1957, § 189.

<sup>3</sup> K. Dietz, Zur Vokalqualität ae. Wörter des Typus *W(e)alh* — *W(e)alas*, «Anglia», 88, 1970.

как и для всех названий народов (употребляемых также в дат. падеже для обозначения стран, населяемых этими народами); более того, очень многие из таких слов вообще не имели формы ед. числа (например, *Dene* «даны; страна данов»). Несмотря на существование формы ед. числа *Walk* для обозначения жителя Уэльса использовалось обычно сочетание *Wielisc mann*, что подтверждается и современным словом *Welshman*. Чем же тогда можно объяснить тот факт, что более редкая форма ед. числа оказала влияние на более употребительную форму мн. числа? Представляется возможным компромисс между традиционной точкой зрения, согласно которой гласные всегда удлинялись в таких позициях, и новейшей точкой зрения, что они никогда не подвергались удлинению.

Традиционная точка зрения представляется нам правильной в своей основе: нормальным звуковым изменением при выпадении *h* после *l* и *r* было компенсирующее удлинение гласного в предыдущем слоге. Данных в пользу этой точки зрения более чем достаточно: их можно найти в любой солидной исторической грамматике английского языка (например, в грамматиках К. Люйка<sup>4</sup> и А. Кэмпбелла<sup>5</sup>).

Тем не менее существует проблема, которая остается не замеченной при традиционном подходе к рассматриваемому явлению: это упомянутая выше проблема *Walas*. Хотя данная проблема и не заслуживает того решительного пересмотра, которому ее подвергли А. Смит, Р. Квирк и К. Л. Рэн, ее нельзя вместе с тем так легко отбрасывать, как это делает К. Диц.

Можно сказать, что интерпретация Смита — Квирка — Рэна правильно описывает процесс маргинального звукового развития. Этот процесс не является регулярным звуковым изменением, поскольку все данные свидетельствуют против такого предположения. Но составляющие его исключения не следует относить лишь за счет аналогии. Как образования по аналогии они не могут быть полностью объяснены. Если же допустить, что существовали «маргинальные звуковые изменения», которые вызывались потенциальной аналогией, недостаточно сильной, чтобы воздействовать на парадигму в целом, тогда можно найти определенный смысл в обеих точках зрения, в противном случае исключаящих друг друга.

Поскольку принято считать, что компромиссы практически лишены эмпирической ценности, следует подчеркнуть, что нашу точку зрения довольно легко опровергнуть, если она неверна. Подавляющее большинство образований по аналогии никак не могли быть интерпретированы как маргинальные звуковые изменения. Если бы подобные трудности возникли и в случае этих аналогий, к которым наше предложение не относится, тогда разработку нашей гипотезы можно было бы считать неоправданной. Конечно, можно найти несколько примеров такого рода, если исходить из общепринятых их толкований. Представляется, однако, что все эти толкования остаются при ближайшем их рассмотрении ошибочными. Большинство из них, действительно, уже были отвергнуты учеными, о которых идет речь.

Одним из примеров, обычно приводимых в учебных пособиях, является замена изъявительного наклонения сослагательным в среднеанглийских формах настоящего времени мн. числа. Так, полагают, что др.-англ. *bindaþ* «связывают», которое дало среднеанглийскую форму *bindeth*, было заменено в большинстве диалектов формой сослагательного наклонения *binden*. Поскольку здесь не могло быть и речи о звуковом изменении, ука-

<sup>4</sup> К. L u i c k, *Historische Grammatik der englischen Sprache*, I, Leipzig, 1921, стр. 226.

<sup>5</sup> A. C a m p b e l l, *Old English grammar*, Oxford, 1957, стр. 141.

занный факт рассматривается как поразительный пример, по всей видимости, немотивированной замены немаркированной категории маркированной (точнее говоря, формы, представляющей немаркированную категорию, формой, первоначально представляющей маркированную категорию). Если бы общепринятая интерпретация данного примера действительно была столь простой и очевидной, как обычно полагают, мы были бы вынуждены рассматривать его как убедительный аргумент против нашей гипотезы. Однако в действительности данная интерпретация является крайним упрощением. Возможно, ср.-англ. форма настоящего времени изъявительного наклонения мн. числа *binden* и восходит частично к старому сослагательному наклонению. Но она имеет и более важные источники. Среди них можно назвать форму изъявительного наклонения мн. числа так называемых претерито-презентных глаголов. Будучи весьма немногочисленными, эти глаголы отличались очень высокой частотностью. Их влияние стало сказываться уже в древнеанглийском, где исконная форма мн. числа от глагола «быть» — *sind* — была заменена формой *sindon* по образцу *magon* «могут», *sculon* «должны» и т. д. В среднеанглийском форма *schulen* (< *sculon*) привела, по-видимому, сначала к замене *willeth* «хотят» формой *willen*, а затем последовала общая замена окончания *-eth* окончанием *-en*. Формы прошедшего времени мн. числа на *-en* также играли в данном процессе свою роль, а оба эти фактора играли роль более существенную, чем сослагательное наклонение.

Данное положение подтверждается и соображением, которое обычно не принимают во внимание, а именно тем фактом, что среднеанглийское окончание *-eth* сохраняется в формах повелительного наклонения мн. числа вплоть до XIV в.: это все еще форма Чосера и Гауэра. В связи с тем, что претерито-презентные глаголы, как правило, не имели формы повелительного наклонения, легко объяснить, почему форма на *-en* не распространилась и на повелительное наклонение.

Таким образом, мы приходим к выводу, что предположение о замене изъявительного наклонения сослагательным не выдерживает критики. Конечно, это только один пример предполагаемой замены «немаркированной» формы «маркированной». Другими примерами обычно служили замены форм ед. числа формой мн. числа, формы настоящего времени формой прошедшего и т. д. В рассматриваемом ниже случае с существительными на *-en* имеет место замена формы им. или вин. падежа формой какого-либо из других падежей. Но это уже ярко выраженная аномалия, так как характерной особенностью падежной парадигмы является наличие в ней двух конкурирующих «немаркированных» форм — им. и вин. падежей. Им. падеж обычно рассматривается как немаркированный, но есть все основания считать немаркированным и вин. падеж. В связи с этим можно указать, например, на общие формы вин. падежа в таком романском языке, как французский, где латинский номинатив сохраняется лишь в нескольких именах существительных (например, *fils* «сын; мальчик»). Но когда оба эти падежа совпадают по форме, как в рассматриваемом типе склонения древнеанглийского языка, обобщение основы других падежей вызывает недоумение. Нам представляется, что данное явление можно объяснить, лишь исходя из предположения, что оно было обусловлено воздействием не только традиционной «аналогии», но и какого-либо другого фактора.

Рассмотренный выше пример, следовательно, нельзя использовать для опровержения нашей точки зрения, согласно которой в языке имеются процессы, занимающие промежуточное положение между чисто звуковыми изменениями и чистой аналогией. Нам неизвестен ни один пример, который был бы доводом против нашего построения. Конечно,

не исключено, что такие примеры существуют; более того, даже сомнительные примеры могут привести к некоторым модификациям той точки зрения, которая излагается здесь в самом упрощенном виде.

Обратимся теперь к другому вероятному случаю действия маргинального звукового закона. Общеизвестно, что западногерманское конечное *-an* представлено в древнеанглийском такой же формой: так, в инфинитиве др.-в.-нем. *-an* всегда соответствовало др.-сакс. *-an* и др.-англ. *-an*. Имеющиеся отклонения рассматриваются как обусловленные действием аналогии. Самым примечательным является то, что древневерхненемецким и древнесаксонским существительным, оканчивающимся в им. и вин. падежах на *-an*, в древнеанглийском противостоят существительные на *-en* (*-æn* в древнейших текстах); более того, не зафиксировано ни одного случая, где древнеанглийское существительное оканчивалось бы на *-an*. Так, древневерхненемецкому глаголу *magan* «быть в состоянии; мочь» соответствует идентичная форма в древнеанглийском, а этимологически тождественное существительное *magān* «сила, мощь» представлено в древнеанглийском как *mægen*. Точно так же существительные *Wōden* «Воден (древнегерманское божество)» и *ƿēoden* «вождь, король», прилагательные *orep* «открытый» и *āgen* «собственный» и многие другие всегда соответствуют древневерхненемецким (а иногда, в случае их отсутствия, готским) формам, оканчивающимся на *-an*. Как следует объяснять это явление? Объяснение подобных фактов действием аналогии представляется недостаточно убедительным. Такое объяснение находим в грамматике древнеанглийского языка А. Кэмпбелла (стр. 141), где за образец для изменений по аналогии приняты флективные формы. Действительно, во флективных формах создавались необходимые фонологические условия для перехода гласных заднего ряда в гласные переднего ряда, и этот процесс, по-видимому, распространялся по аналогии и на «нефлективные» формы (т. е. формы им. и вин. падежей). Но поскольку так называемые «флективные» формы (т. е. формы с явно выраженными окончаниями) употреблялись реже, возникает вопрос, почему они подчиняли себе другие формы. Пользуясь традиционными понятиями, невозможно ответить на этот вопрос.

Имеются определенные основания для предположения, что в нескольких существительных на *-en* гласный окончания восходит к флективным формам, где фонологически закономерны были гласные *-e-*, а не *-a-*. Примечательно, однако, что в древнеанглийском на *-en* оканчивались не несколько, не много, а практически все существительные, соответствующие существительным с конечным *-an* в других германских языках. Не зафиксировано ни одного древнеанглийского существительного с окончанием *-an*. Точно так же нет ни одного глагольного инфинитива, который не имел бы окончания *-an* (за исключением случаев, обусловленных позднейшими закономерностями, например, западносаксонским стяжением).

Действием аналогии можно объяснить спорадические изменения, но она не объясняет указанных закономерных соответствий. Однако звуковыми законами также невозможно объяснить, почему то или иное закономерное соответствие связано с грамматическим классом, а не с фонологической структурой слов.

Однако звуковой закон и аналогию, взятые вместе, можно использовать для объяснения необъяснимой иначе регулярности (в рамках одного грамматического класса) или нерегулярности фонологического правила (в словах, принадлежащих к разным грамматическим классам).

Необходимо подчеркнуть, что мы разделяем основной постулат о регулярных звуковых изменениях. Все историческое языкознание покоится на этом постулате, без него наша наука перестала бы быть наукой. Но

его следует, на наш взгляд, понимать не как утверждение некоей абсолютной закономерности, постоянной и неизменной при всех обстоятельствах, а как указание на определенные закономерности, лежащие в основе явлений, от которых мы иногда вынуждены отступать. Если мы отходим от нормы слишком часто, мы лишаемся основы для лингвистической аргументации; но если мы никогда не отходим от нормы, то мы рискуем некритически отнестись к традиционной интерпретации явлений.

К тому же отклонения, которые мы считаем возможными, никогда не являются случайными, они обусловлены такими же строгими правилами, как и правила, присущие звуковым законам. Маргинальные звуковые законы остаются, следовательно, звуковыми законами: границы их действия можно определить точно так же, как и границы основных фонетических законов, с той лишь разницей, что условия, в которых они действуют, связаны с морфологическими правилами и не являются поэтому чисто фонетическими.

Хотя выдвигаемая здесь точка зрения, по-видимому, никогда не была сформулирована эксплицитно, в чем-то сходные с ней положения можно найти в работах предшествующих лингвистов, посвященных рассмотрению частных проблем. Из них наибольшего внимания заслуживает положение, высказанное Ф. де Соссюром в его «Записках» (1878). Швейцарский ученый рассматривал вопросы, связанные с проблемой, которую теперь называют «ларингальной проблемой». Говоря о таких формах, как греч. *δοτός* (которая содержит в соответствии с общепринятой трактовкой, ларингальный с «окраской *ο*»), он пишет: «В отношении *ε* в слове *ἐτός* и *ο* в слове *δοτός* мы допускаем, что память (*le souvenir*) о сильных формах предопределяет в каждом случае направление, в котором идет развитие неопределенного гласного»<sup>6</sup>. Данное утверждение является, конечно, довольно туманным. Вместе с тем совершенно ясно, что де Соссюр не хочет связывать себя ни обычным звуковым законом, ни обычной аналогией. Слово *souvenir* свидетельствует о его колебаниях, но если учесть, что в то время не было сложившегося способа обозначения процесса, находящегося между звуковыми изменениями и аналогией, оно не так неудачно, как может показаться теперь. Если пользоваться современными терминами, сказанное де Соссюром можно интерпретировать следующим образом: шва (*la voyelle indéterminée*) имел три возможных пути развития в греческом языке. Результатом основного пути был звук *a*, но были и маргинальные процессы, приводившие к звукам *e* и *o*. Последние не были регулярными, но они регулярно имели место в случаях, когда их поддерживала какая-то другая форма в парадигме.

Некоторые из современных лингвистов, занимающихся ларингальной теорией, иногда также пользуются нечеткими формулировками, допускающими различные толкования. Так, О. Семереньи, относящийся к тем немногим ученым, которые признают существование лишь одного-единственного ларингального, пишет: «Что касается приводимой всеми триады *θητός*, *δοτός*, *στατός*, трудно отказаться от мысли, что на эти формы оказывали или могли оказывать воздействие формы с полной ступенью чередования *θη*, *δω*, *στᾶ*»<sup>7</sup>.

Но какова природа этого воздействия? Не представляет ли оно морфологическую аналогию традиционного типа? Принимая во внимание многочисленные нерегулярные формы, сохранившиеся в греческих диалектах,

<sup>6</sup> «Récueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure», Genève, 1970, стр. 168.

<sup>7</sup> O. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1970, стр. 120.

кажется маловероятным, чтобы от фонологически закономерных форм не осталось никаких следов. Может быть, здесь мы имеем дело с морфологической обусловленностью выбора чередующихся звуковых изменений?

Интерпретация Семереньи, по-видимому, оставляет открытыми обе эти возможности. Но убедительность его точки зрения, согласно которой в индоевропейском существовал лишь один ларингальный, зависит, вероятно, от того, какую из указанных возможностей он выбирает. Если он полагает, что наличие разных гласных в *ветός*, *δοτός* и *στατός* обусловлено нормальным развитием по аналогии, то лингвисты, отказывающиеся принимать всерьез оригинальную концепцию праязыка, имеют, видимо, серьезные основания для сомнений. Но эти лингвисты, однако, не учитывают второй возможной здесь точки зрения: греческие формы являются не результатом действия морфологической аналогии, а следствием чередующихся звуковых изменений, выбор которых связан, правда, с морфологическими отношениями, но которые представляют собой тем не менее звуковые изменения, а не просто образования по аналогии в обычном понимании этого термина. Если принять последнюю точку зрения, одно из основных возражений против концепции Семереньи может показаться менее значительным; конечно, остаются другие возражения, причем, они, по-видимому, едва ли менее весомы, чем возражения, выдвигаемые против многих других разновидностей ларингальной теории. Некоторые другие ученые, признающие в принципе ларингальную теорию (например, А. С. Мельничук<sup>8</sup>), также склонны к уменьшению общепринятого числа ларингальных.

Основной точкой для нас послужили две второстепенные проблемы древнеанглийской фонологии, причем если одна из них хорошо известна, то другая еще не получила общего признания. Такие второстепенные проблемы заслуживают изучения в том случае, если они приобретают существенное значение в более широком контексте. Можно полагать, что теория ларингальных является таким более широким контекстом, в котором приведенные выше соображения могут оказаться релевантными.

Перевела с английского И. А. Сизова

<sup>8</sup> А. С. М е л ь н и ч у к, Следы взрывного ларингального в индоевропейских языках, ВЯ, 1960, 3.

Е. И. ЦАРЕНКО

К ВОПРОСУ О ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОТОКЕЧУА

1. Распространение языка кечуа, как известно, связано с территориальной экспансией инков в XV—XVI вв. Этот процесс напоминает романизацию в Европе: в обоих случаях сравнительно немногочисленные группы завоевателей навязывали свои языки и культуру гораздо более многочисленному коренному населению. Социально-экономическая политика Испании после завоевания ею «империи» инков способствовала дальнейшему расширению позиций языка кечуа за счет других языков Андского нагорья<sup>1</sup>. Поэтому естественно, что в формировании кечуанских диалектов важную роль играли субстратные, суперстратные и т. п. влияния.

В качестве официального языка государства инков был принят столичный диалект г. Куско, называемый иногда «имперским», или «классическим», инкским. Значение его для изучения истории языка кечуа очевидно. Из современных диалектов наиболее близки к классическому диалекты, распространенные в Перу — Куско (департаменты Куско и Пуно) и Аякучо (департаменты Аякучо, Уанкавелика и Апуримак)<sup>2</sup>. Эти три южных диалекта кечуа можно выделить в особую подгруппу — «инкскую». Другие южные диалекты — боливийский и Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) по некоторым особенностям грамматики и лексики отличаются от инкских. В целом же южная диалектная группа довольно четко отграничивается от двух других групп — северной (диалекты Эквадора и прилегающих районов Перу и Колумбии) и центральной (диалекты северного и центрального Перу).

Вместе с тем по такой важной черте звукового строя, как наличие ларингализованных (придыхательных и смычно-гортанных) фонем в подсистеме смычных, периферийные южные диалекты — Аякучо и Сантьяго-дель-Эстеро — вместе с центральными и большинством северных противостоят двум другим южным диалектам — Куско и боливийскому. Таким образом, классификация кечуанских диалектов по лексико-грамматическим признакам не совпадает с их фонологической классификацией.

По вопросу об исконности ларингализации есть различные точки зрения<sup>3</sup>, которые можно свести к двум основным. Если принять, что «эпицентр» распространения языка кечуа находился в долине Куско, то естественна мысль о сохранении первоначального состояния кечуанского консонантизма в современном диалекте Куско. В большинстве же диалектов, развившихся в результате насаждения говора Куско среди покоренных инками племен и народностей, ларингализация смычных могла бы исчез-

<sup>1</sup> См. об этом., например: Ю. А. З у б р и ц к и й, Проблемы национальной консолидации кечуа, сб. «Нации Латинской Америки», М., 1964.

<sup>2</sup> См., например: А. Т о г е р о, Los dialectos quechuas, «Anales científicos de la Universidad Agraria», III, Lima, 1965.

<sup>3</sup> Обзор и анализ их см.: В. F e r r a r i o, Dialettologia ed i problemi interni della runa-simi (vulgo quechua), «Orbis», V, 1, 1956; С. O r r, R. E. L o n g a c r e, Proto-Kechumaran, «Language», XLIV, 3, 1968.

нуть под воздействием местных субстратов<sup>4</sup>. Вариантом данной точки зрения можно считать и решение, предложенное К. Опп и Р. Лонгакром<sup>5</sup>. Правда, вместо ларингализованных фонем эти авторы выводят для протокечуа двухфонемные сочетания смычных с ларингалами типа «тесно сплетенных пучков (closeknit clusters)». Однако при этом не объясняется, почему в одних случаях ларингалы бесследно исчезли, а в других — превратились в дифференциальные признаки фонем.

По другой точке зрения, ларингализация смычных в языке кечуа — явление вторичное, обусловленное влиянием языка аймара, в котором также есть аналогичные серии согласных<sup>6</sup>. Дело в том, что язык аймара перед инкским завоеванием был распространен на гораздо более обширных пространствах, чем в настоящее время, занимая все боливийское нагорье и южные районы Перу. Но затем большая часть носителей этого языка подверглась кечуанизации. Ларингализация же свойственна главным образом тем кечуанским диалектам, которые сложились на территории исконного обитания народа аймара<sup>7</sup>.

Нетрудно заметить, что обе точки зрения основываются главным образом на соображениях историко-этнологического характера. Однако в лингвистическом исследовании данную проблему желательно решать методами лингвистики. Наша задача — путем чисто лингвистического анализа установить, какой из диалектов инкской подгруппы следует считать более архаичным по звуковому строю (в частности, в отношении ларингализации). После этого можно будет приступить к решению вопроса о характере фонологической системы протокечуа.

Сравнению фонологических систем диалектов Аякучо, Куско и классического инкского посвящена статья известного специалиста по истории и культуре древних инков Дж. Роу<sup>8</sup>. Мы в значительной степени будем опираться на его материалы, но основное внимание уделим не парадигматическим, а синтагматическим отношениям между фонемами.

2. Фонологические системы современных диалектов Аякучо и Куско выглядят следующим образом<sup>9</sup>:

<sup>4</sup> О языковой ситуации на Андском нагорье в течение инкского и колониального периодов см.: P. Rivet, G. de Gréqui-Monfort, *Bibliographie des langues aymara et kichua*, I, Paris, 1951, стр. VII—XXXV; P. Rivet, *Les langues de l'ancien diocèse de Trujillo*, *Journal de la Société des américanistes de Paris*, XXXVIII, 1949.

<sup>5</sup> C. Opp, R. E. Longacre, указ. соч.

<sup>6</sup> См., например: D. de Torres Rubio, *Arte de la lengua aymara*, Lima, 1967 (1-а ед. — 1616); E. W. Middendorf, *Die Aymará-Sprache*, Leipzig, 1891; M. R. Paredes, *Vocabulario de la lengua aymara*, La Paz, 1971. В настоящее время на языке аймара говорят в высокогорных районах Боливии и отчасти Перу, прилегающих к озеру Титикака (ср. карту языков доколумбовой Америки в кн.: *Handbook of South American Indians*, VI, Washington, 1950). Распространение языка аймара в доинкскую эпоху обычно связывают с влиянием культуры Тиауанако, центр которой, как известно, находился на берегах оз. Титикака.

<sup>7</sup> Следует отметить, что ларингализованные и другие комплексные согласные в общем мало свойственны языкам Южной Америки, в отличие от многих североамериканских языков (см.: T. Milewski, *Phonological typology of American Indian languages*, в кн.: *Études typologiques sur les langues indigènes de l'Amérique*, Kraków, 1967). Тем не менее, глоттализованные смычные встречаются в некоторых языках, смежных с языком аймара (в области его первоначального распространения), как, например, чипайя (см.: R. Olson, *The syllable in Chipaya*, *IJAL*, XXXIII, 1, 1967) и матако (см.: M. T. Vinas Uguriza, *Fonología de la lengua mataka*, Buenos Aires, 1970).

<sup>8</sup> J. H. Rowe, *Sound patterns in three Inca dialects*, *IJAL*, XVI, 3, 1950.

<sup>9</sup> Здесь не учитываются фонемы, встречающиеся только в испанизмах. О фонематичности гортанной смычки /ʔ/ в диалекте Куско см.: Е. И. Царенко, *О ларингализации в языке кечуа*, ВЯ, 1972, 1 (там же см. основную библиографию по языку кечуа и его диалектам). Наличие гортанной смычки в диалекте Аякучо постулирует Дж. Роу (см.: J. H. Rowe, указ. соч., стр. 141), но в других работах по этому диалекту о ней ничего не говорится. В ходе приводимого ниже анализа использовались показания информантов, тексты, словари и грамматические описания.

	Аякучо						Куско					
Согласные:	p	t	ch	k	q	( <sup>o</sup> )	p	t	ch	k	q	ʔ
							ph	th	chh	kh	qh	
							p'	t'	ch'	k'	q'	
	m	n	ñ				m	n	ñ			
		r						r				
		l	ll					l	ll			
		s		(x)		h		s		(x)		h
	w		y				w		y			
Гласные:	i		u				i		u			
	a						a					

Как видим, единственное, хотя и весьма существенное, различие между двумя фонологическими системами заключается в том, что в диалекте Куско среди смычных фонем имеются аспирированная и глоттализованная коррелятивные серии, отсутствующие в диалекте Аякучо. По свидетельствам первых грамматистов, в классическом инкском также имелись смычные трех типов <sup>10</sup>.

Более разнообразны, хотя на первый взгляд и не так уж существенны, различия между рассматриваемыми фонологическими системами в синтагматическом плане. Эти различия связаны с наличием сильных и слабых позиций и с особенностями употребления в этих позициях согласных фонем.

При выделении типов позиций будем исходить из понятия различительной способности позиции. Различительная способность фонемной позиции определяется сферой употребления согласных фонем, т. е. тем, как много фонем употребляется и скольким фонемам может противопоставляться та или иная фонема в данной позиции. Различительная способность позиции тесно связана с силой фонологической оппозиции <sup>11</sup>: она тем больше, чем больше сила фонологических оппозиций, в которые могут входить встречающиеся в этой позиции фонемы.

В языке кечуа преобладают двусложные основы типа CV(C)CV(C). Поскольку согласное начало слога обязательно, а согласный исход факультативен, звуковой облик слов различается главным образом за счет их начальнослоговых элементов. С этой точки зрения сильными позициями оказываются позиции начала слога, а слабыми — позиции конца слога. Консонантный состав как начала, так и конца слога тем проще, чем дальше тот или иной слог от начала слова; следовательно, различительная способность фонемной позиции тем больше, чем эта позиция ближе к началу слова, и тем меньше, чем она ближе к концу слова.

Таким образом, максимальной различительной способностью обладает начальнослоговая позиция начала слова (назовем ее п е р в о й с и л ь н о й п о з и ц и е й); несколько слабее начальнослоговая позиция середины слова (в т о р а я с и л ь н а я п о з и ц и я). В свою очередь конечнослоговая позиция середины слова (п е р в а я с л а б а я п о з и ц и я) сильнее конечнослоговой позиции конца слова (в т о р а я с л а -

<sup>10</sup> См., например: «La primera gramática quechua escrita por Fr. Domingo de Santo Tomás, publicada en Valladolid en 1560», Quito, 1947; R. A g u i l a r P á e z, Gramática quechua y vocabularios (Adopción de la 1-a ed. de la obra de Antonio Ricardo «Arte, y vocabulario de la lengua general del Perú llamada quechua, y en la lengua española» Lima, 1586), Lima, 1970; D. G o n z á l e z H o l g u í n, Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua qquichua o del Inca, Lima, 1952 (1-a ed.— 1608); J. J. v o n T s c h u d i, Die Kechua-Sprache, Abt. 1—3, Wien, 1853.

<sup>11</sup> См.: В. К. Ж у р а в л е в, К понятию «силы» фонологической оппозиции, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика», М., 1971.

б а я п о з и ц и я). Различительная способность обеих слабых позиций, естественно, гораздо меньше, чем различительная способность обеих сильных позиций. Типы позиций для согласных фонем продемонстрируем на примере слова *kuntur* «кондор»: *k* — 1-я сильная позиция, *n* — 1-я слабая позиция, *t* — 2-я сильная позиция, *r* — 2-я слабая позиция.

Теперь рассмотрим особенности фонемных позиций в каждом из инкских диалектов.

**Диалект Аякучо.** В 1-й сильной позиции употребляются все согласные фонемы. Во 2-й сильной позиции возможны те же фонемы, что и в 1-й, за исключением ларингальных /ʔ/, /h/.

Для слабых позиций в целом характерна значительно более узкая сфера использования согласных ввиду преобладания открытых слогов. Кроме того, если в сильных позициях употребляются главным образом смычные, то в слабых позициях предпочтение отдается сонантам и фрикативным: /m/, /n/, /ll/, /r/, /s/, /w/, /y/. Однако фонемы /m/, /ll/, /w/ встречаются довольно редко в 1-й и особенно во 2-й слабой позиции.

Из смычных фонем наиболее характерна для слабых позиций глубоководнеязычная /q/: *llaqta* «селение», *sumaq* «красивый». В 1-й слабой позиции возможны и другие смычные: *rapra* «крыло», *ʔutqay* «быстрый», *pichqa* «пять», *chakra* «поле» и т. п. Во 2-й слабой позиции употребление смычных (за исключением /q/) ограничено. Фонема /p/ во 2-й слабой позиции встречается в нескольких словах (*haykar* «сколько», *chiqar* «правдивый»), а также в окончании посессива при гласном исходе основы: *ripa* «человек», *ripa-p* «человека»<sup>12</sup>. Фонема /ch/ появляется только в одной грамматической форме — при наличии аффикса, выражающего неуверенность, сомнение: *qam* «ты» — *qam-chu* «ты ли?» — *qam-chu-ch* «может быть, ты?» Фонема /t/ во 2-й слабой позиции не употребляется совсем. Следует отметить, что в диалекте Аякучо смычные согласные фонемы во всех позициях реализуются в общем одинаково — в виде смычных сегментов соответствующего места образования<sup>13</sup>.

**Диалект Куско.** Синтагматику фонем диалекта Куско рассмотрим в сравнении с диалектом Аякучо. С одной стороны, количество фонем, возможных в сильных позициях, здесь гораздо больше, чем в диалекте Аякучо. Это обусловлено наличием в фонологической системе Куско (К.), в дополнение к пяти простым смычным, еще десяти фонем — пяти придыхательных и пяти смычно-гортанных. Всем трем типам кусканских смычных в Аякучо (А.) соответствуют простые: *K. p'unshaw* «день», *A. rinshaw*; *K. qharaq* «богатый, могущественный», *A. qarac* и т. д. В Куско сфера употребления ларингализованных в 1-й сильной позиции гораздо шире, чем во 2-й сильной позиции, в которой они возможны лишь тогда, когда предшествующие слоги начинаются на несмычные: *ch'aki* «сухой», но *sach'a* «куст»; *t'ika* «цветок», но *rit'i* «снег»; *phuyu* «туча», но *saphi* «корень» и т. д.

С другой стороны, между диалектами Куско и Аякучо можно отметить некоторые различия в характере употребления согласных в слабых позициях.

1) В отличие от диалекта Аякучо, в диалекте Куско смычные фонемы в слабых позициях реализуются в виде фрикативных аллофонов соответ-

<sup>12</sup> В настоящее время в говорах аякучанской диалектной зоны наблюдается тенденция в замене окончания *-p* вариантом *-pa*, который раньше употреблялся только при согласном исходе основы: *ripa* — *ripa-pa*, по аналогии с *kuntur* — *kuntur-pa*.

<sup>13</sup> Однако в собственно аякучанском говоре существует тенденция к фрикативизации фонемы /q/ — единственной смычной, которая часто употребляется в слабых позициях (см.: G. J. Parker, *Ayacucho Quechua grammar and dictionary*, The Hague — Paris, 1969, стр. 17).

ствующего места образования: /p/ ~ [ɸ], /t/ ~ [θ], /ch/ ~ [ʃ], /k/ ~ [x], /q/ ~ [χ].

2) В сравнении с диалектом Аякучо, сфера употребления большинства смычных в слабых позициях ограничена:

а) Фонема /p/ во 2-й слабой позиции не встречается; ср. *A. haykar, chiqar, K. hayk'aq, chiqaq*; ср. также формы посессива: *A. runa-p/runa-pa, K. runa-q*. Часто употребляемым аякучанским формам с аффиксом соотнесенности действий -*pti-* в Куско соответствуют формы на -*qti-*: *A. hamu-pti-y* «когда я прихожу» — *K. hamu-qti-y*. Наблюдается тенденция к переходу /p/ > /q/ (иногда /p/ > /k/) и в середине некоторых слов: *A. rapra* «крыло», *K. rapra/raqra*; *A. chapra* «хворост», *K. ch'apra/ch'agra*; *A. ?urpa* «пить», *K. ?urpa-/?ukya-*. Отметим, что в боливийском диалекте процесс вытеснения фонемы /p/ из слабых позиций с переходом ее в фонему /q/ завершился.

б) Фонема /t/, употребляемая, как и в Аякучо, только в 1-й слабой позиции, имеет тенденцию переходить в /s/: *A. ?utqay* «быстрый», *K. ?utqhay/?usqhay*; *A. ?utqu* «мозг», *K. ?utqhu/?usqhu* (ср. бол. *?uqtu*); *A. sutka* «поскользнуться», *K. sutkha-/suskha-*; *A. tatki* «шаг», *K. thatki/thaski*; *A. mutki* «нюхать», *K. mutkhi-/muskhi-*.

в) Почти полностью устранена из слабых позиций фонема /ch/. В 1-й слабой позиции эта фонема, реализуемая в виде среднеязычного двухфокусного фрикативного [ʃ], сохраняется лишь в двух-трех словах. Но и здесь она уступает место фонеме /s/: *A. qichwa* «кечуа», *K. qhichwa/qhiswa*; *A. ?achka* «много», *K. ?achkha/?askha*; *A. michka* «молодой початок кукурузы», *K. michka/miska*. В остальных случаях аякучанскому /ch/ в Куско соответствует только /s/: *A. ?uchpa* «пепел», *K. ?uspha* (ср. бол. *?uchpa*); *A. pichqa* «пять», *K. phisqa* (ср. бол. *phichqa*) и т. д. Кроме того, часто употребляемый аффикс продолженности действия, имеющий в Аякучо форму -*chka-*, в Куско выступает в виде -*sy-* (<-*ska-*): *A. ri-chka-n* «он идет (в данный момент)», *K. ri-sya-n*. Во второй слабой позиции фонема /ch/ не употребляется: *A. gam-chu-ch* «может быть, ты?», *K. gan-chu-s*.

г) Сокращается сфера употребления фонемы /k/. Так, аякучанским личным формам на -*chik* в Куско соответствуют формы на -*chis*: *A. ri-n-chik* «мы с вами идем», *ri-nki-chik* «вы идете», *wasi-n-chik* «наш с вами дом», *wasi-yki-chik* «ваш дом» — *K. ri-n-chis, ri-nki-chis, wasi-n-chis, wasi-yki-chis*. Ср. также: *A. ?inchik* «земляной орех», *K. ?inchis*; *A. wikchu-* «выбрасывать», *K. wikchu-/wisch'u-*. Иногда /k/ переходит в /q/: *A. huk* «один», *K. huk/huq*; *A. wiksu* «кривой», *K. wigsu*; *A. wak* «другой», *K. wak/waq*.

3) Аякучанским носовым /n/, /m/ в слабых позициях в Куско соответствует одна фонема /n/: *A. kancha* «двор», *K. kancha*; *A. hatun* «большой», *K. hatun* и т. д., но: *A. gam* «ты», *K. gan*; *A. kimsa* «три», *K. kinsa*; *A. llamka-* «работать», *K. llank'a-* и т. д.

4) Сокращается употребление «полугласной» фонемы /w/ в пользу другой «полугласной» /y/: *A. punchaw* «день», *K. p'unchaw/p'unchay*; *A. wawqi* «брат», *K. wawqi/wayqi*; *A. lliw* «весь», *K. lliw/lluy*; *A. kiraw* «колыбель», *K. k'iraw/k'iray*; *A. rawta-* «подстригать деревья», *K. rawta-/rayta-*.

Таким образом, в диалекте Куско получают дальнейшее развитие и логическое завершение тенденции, отмеченные для диалекта Аякучо. Редко употребляемые в слабых позициях фонемы постепенно уступают место другим фонемам, более типичным для этих позиций. Тем самым звуковой состав конца слога в кусканском варианте оказывается менее разнообразным, чем в Аякучо.

**Классический инкский диалект.** Для классического инкского (КИ) достаточно указать, что поведение согласных в слабых позициях в нем почти

то же, что и в диалекте Аякучо, а по употреблению согласных в сильных позициях этот диалект мало отличается от современного диалекта Куско. Можно отметить только определенное расширение сферы употребления ларингализованных фонем в современном диалекте Куско по сравнению с классическим, а также замену фонем /г/ и /л/ в сильных позициях в некоторых словах периферийной фонемой /л/: КИ. *rirp'u* «водная гладь, зеркало» — К. *lirp'u*; КИ. *luychi* «вид оленя» — К. *luychi*.

3. При диахронической интерпретации вышеизложенных фактов возможны два пути рассуждения.

Если стать на ту точку зрения, что все современные южные диалекты (в том числе диалекты Куско и Аякучо) развились из классического инкского, то мы получим выводы, аналогичные тем, к которым ранее пришел Дж. Роу<sup>14</sup>: 1) современный диалект Куско, являющийся непосредственным продолжением классического инкского, в основных чертах сохраняет парадигматику исконной ф-нологической системы кечуа. Мало изменилась и сфера употребления согласных фонем в сильных позициях. В то же время произошли заметные изменения в характере употребления согласных в слабых позициях; 2) в современном диалекте Аякучо существенно упростилась система согласных за счет исчезновения ларингализации смычных. В синтагматическом плане это привело к значительному сокращению инвентаря согласных фонем, употребляемых в сильных позициях. В то же время характер употребления согласных в слабых позициях не претерпел сколько-нибудь существенных изменений.

Однако такие выводы внутренне противоречивы. В самом деле, если согласиться с тем, что в диалекте Аякучо первоначальные три серии смычных по неким причинам слились в одну, то остается неясным, почему такое коренное изменение одного из важнейших участков фонологической системы никак не отразилось на других ее участках. В частности, естественно было бы ожидать, что связанное с уменьшением количества согласных фонем в системе резкое сокращение сферы употребления согласных в сильных позициях должно было компенсироваться за счет слабых позиций<sup>15</sup>. Кроме того, остаются необъясненными причины довольно заметных изменений в поведении согласных в слабых позициях, имевших место в диалекте Куско.

Эти противоречия в выводах снимаются, если предположить, что кечуанской фонологической системе искони не было свойственно разделение смычных на коррелятивные серии и что ларингализация смычных в диалекте Куско (как современном, так и классическом) носит вторичный характер. Тогда в протокечуа инвентарь фонем, возможных в слабых позициях, был бы почти тот же, что и для сильных позиций. Функция слово-различения была бы закреплена в основном за сильными позициями ввиду относительно малой употребительности согласных в слабых позициях.

Расщепление серии смычных на три коррелятивные серии неизбежно должно было нарушить равновесие системы. Действительно, наличие в сильных позициях 26 фонем вместо прежних 16 (увеличение почти на 2/3) резко увеличивает различительную способность сильных позиций. А это делает излишним сохранение в прежнем объеме различительной способности слабых позиций, которые с самого начала уступали в этом отноше-

<sup>14</sup> J. H. R o w e, указ. соч., стр. 148.

<sup>15</sup> В северных диалектах, представляющих собой упрощенный, «спиджинизированный» вариант диалекта Куско, утрата ларингализации почти не отразилась на характере слабых позиций. Но связанное с этим ослабление различительной способности сильных позиций отчасти компенсировалось развитием звонких смычных и аффрикат, употребляемых в основном в сильных позициях. См. об этом: С. O r r, Ecuador Quichua phonology, сб. «Studies in Ecuadorian Indian languages», Norman (Ocl.), 1962.

нии сильным позициям. Наблюдаемые в современном диалекте Куско явления нейтрализации в слабых позициях и являются отражением данной тенденции. Этот процесс, по-видимому, начался на рубеже XVII—XVIII вв., поскольку уже в рукописи драмы «Ольянтай», относящейся к середине XVIII в., закономерности употребления согласных в значительной мере соответствуют современным нормам<sup>16</sup>. Появление же комплексных смычных в диалекте Куско, очевидно, следует датировать временем, предшествующим периоду инкской экспансии. Что касается диалекта Аякучо, то здесь упрощение структуры конца слога не произошло, так как отсутствовала соответствующая причина — увеличение различительной способности сильных позиций. Таким образом, точка зрения, что в фонологической системе Аякучо в основном сохраняется исходное состояние протокечуанского консонантизма, лучше позволяет объяснить некоторые тенденции языкового развития.

4. Дополнительного анализа требует вопрос о причинах появления и развития ларингальности в языке кечуа. Можно думать, что появление дифференциальных признаков придыхания и глоттализации у части смычных связано с влиянием языка аймара. Но, по справедливому замечанию А. Мартине, «хотя природа различительных признаков может изменяться..., говорящие все же никогда не создают ex nihilo новые различительные признаки»<sup>17</sup>. Ссылкой на влияние языка аймара можно было бы довольствоваться, если бы ларингализация характеризовала некоторую ограниченную группу заимствованных слов<sup>18</sup>. Но ларингализация — одна из наиболее характерных черт языка кечуа; она охватывает почти половину исконного лексического фонда и имеет тенденцию распространяться на все новые слои лексики. Следовательно, должны существовать внутриязыковые факторы, вызвавшие к жизни ее столь широкое развитие.

На поставленный вопрос ответить трудно, если не учитывать весьма своеобразную функциональную природу кечуанской ларингальности. Специфика ее заключается в двойственной природе ларингальных фонологических единиц. Как ларингальные фонемы, так и ларингальные признаки, в дополнение к своей основной функции (соответственно фонематической и меризматической), несут ту функциональную нагрузку, которая обычно свойственна просодическим единицам кульминативного типа. Такое совмещение разнородных функций одними и теми же звуковыми элементами не может не сказаться отрицательно на полноценном выполнении каждой из совмещаемых функций. Ларингальные фонемы имеют ослабленную «фонемность», а ларингальные признаки — ослабленную «признаковость». Но наличие фонемности и признаковости, пусть даже в ослаб-

<sup>16</sup> Текст драмы см.: A. V a l d e z, Ollantay, Cuzco, 1958. В другом, более раннем драматическом произведении — «Блудный сын», написанном в XVII в., в основном действуют еще старые правила употребления согласных, хотя весьма многочисленны и случаи отклонений от этих правил; см.: «El hijo pródigo», в кн.: E. W. M i d d e n d o r f, Dramatische und lyrische Dichtungen der Keśua-Sprache, Leipzig, 1891.

<sup>17</sup> А. М а р т и н е, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 242. К этому можно добавить, что различительные признаки равным образом не могут исчезать совершенно бесследно (см. выше о компенсирующем озвончении в эквадорских диалектах).

<sup>18</sup> Ср. проникновение смычно-гортанных звуков в осетинский язык, обусловившее перестройку осетинского консонантизма по образцу автохтонных языков Кавказа (В. И. А б а е в, Смычно-гортанные согласные в осетинском языке, в кн.: «Осетинский язык и фольклор», I, М. — Л., 1949), или расщепление серии глухих смычных на тройные ряды (типа *p* — *ph* — *p'*) в «озерном» диалекте языка мивок (группа калифорнийских пенути) под воздействием соседних неродственных языков (С. А. C a l l a g h a n, Phonetic borrowing in Lake Miwok, сб. «Studies in Californian linguistics», Berkeley—Los Angeles, 1964).

ленном виде, не позволяет в полной мере проявиться и их «просодичности». Отсюда слабость и неустойчивость ларингальных фонологических единиц, склонность их к спонтанному возникновению и исчезновению<sup>19</sup>.

Исследование кечуанской ларингальности отчасти осложняется отсутствием надежных типологических параллелей. Косвенным подтверждением вышеизложенного можно считать некоторые общие особенности ларингальных звуковых образований. Ларингалы отличаются чрезвычайно многообразной функциональной природой, способностью принадлежать к самым различным фонологическим уровням. В частности, в некоторых языках они обнаруживают связь с просодическим уровнем<sup>20</sup>. Общеизвестными примерами просодических единиц с участием ларингальных артикуляций являются «толчок» в датском языке и преаспирация в исландском<sup>21</sup>. Гортанная смычка относится к числу тонов в некоторых тибето-бирманских языках; ларингализованные тоны противопоставляются неларингализованным в кетском языке, во вьетнамском и в ряде других тональных языков Юго-Восточной Азии; глоттализованный тон, наряду с «нормальным» и носовым, отмечен в меланезийском языке уаилу (Новая Каледония)<sup>22</sup>. Ларингализацией сопровождается «четвертый тон» в языке мундурук (семья туш-гуаран, Бразилия)<sup>23</sup>. В акомском диалекте языка керес (Нью-Мексико, США) употребляется глоттальный акцент, а в диалекте Санта-Ана — еще и «придыхательный» (наряду с общими для всех диалектов керес высоким и падающим акцентами)<sup>24</sup>. Ларингализация наряду с тоном является важной просодической характеристикой слога в моносиллабическом чинантекском языке (штат Оахака, Мексика); возможна просодическая интерпретация гортанной смычки в языке каинганг (Бразилия), тагальском языке, а также тотонакском и некоторых других тональных языках Мексики<sup>25</sup>.

Своеобразие функциональной природы ларингалов проявляется также в возможности перехода их с одного фонологического уровня на другой и в определенных связях с единицами других фонологических уровней. Так, в языках Юго-Восточной Азии характер тона тесно связан с типом инициалей, причем тоны могут быть обязаны своим происхождением преаспирации и преглоттализации согласных<sup>26</sup>. Типичным для этих языков является также развитие ларингального тона из сегментной гортанной смычки, источником которой могут быть обычные согласные финали<sup>27</sup>.

<sup>19</sup> См.: Е. И. Царенко, К функциональной характеристике ларингальности в языке кечуа, ВЯ, 1973, 3.

<sup>20</sup> См. об этом: Вяч. Вс. Иванов, О происхождении ларингализации — фарингализации в енисейских языках, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика».

<sup>21</sup> См., например: А. С. Либерман, Исландская просодика, Л., 1971.

<sup>22</sup> R. V u r l i n g, Proto Lolo-Burmese, IJAL, XXXIII, 2, pt. 2, 1967; Г. Р. Вернер, К фонологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке, ВЯ, 1969, 1; Вяч. Вс. Иванов, указ. соч., стр. 125—129; J. K a s a r h é g o u, Prosodèmes de la langue mélanésienne de Houailou (Nouvelle Calédonie), BSLP, LVI, fasc. 1, 1961.

<sup>23</sup> I. B r a u n, M. C r o f t s, Mundurukú phonology, «Anthropological linguistics», VII, 7, 1965.

<sup>24</sup> W. R. M i l l e r, Acoma grammar and texts, Berkeley — Los Angeles, 1965, стр. 8—9; W. R. M i l l e r, I. D a v i s, Proto-Keresan phonology, IJAL, XXIX, 4, 1963, стр. 317.

<sup>25</sup> W. R. M e r r i f i e l d, Palantla Chinantec syllable types, «Anthropological linguistics», V, 5, 1963; U. W i e s e m a n n, Die phonologische und grammatische Struktur der Kaingang-Sprache, The Hague—Paris, 1972, стр. 111, 161—162; Вяч. Вс. Иванов, Комментарий к кн.: Е. Д. Поливанов, Статьи по общему языкознанию, М., 1968, стр. 334—335; Н. Р. Асчманн, Totonaco phonemes, IJAL, XII, 1, 1946.

<sup>26</sup> A. G. H a u d r i c o u r t, Bipartition et tripartition dans les systèmes de tons de quelques langues d'Extrême-Orient, BSLP, LVI, fasc. 1, 1961.

<sup>27</sup> Вяч. Вс. Иванов, О происхождении ларингализации — фарингализации в енисейских языках, стр. 134—136.

В панджаби музыкальный тон появляется на месте дифференциального признака аспирации<sup>28</sup>. В то же время «толчок» и преаспирация в различных скандинавских языках и диалектах тесно связаны с музыкальным акцентом<sup>29</sup>. В самодийских языках источником протетических гортанных смычек (впоследствии подвергшихся назализации в ненецком языке) могло послужить сильное экспираторное ударение на начальном неприкрытом слоге<sup>30</sup>.

В свете приведенных фактов можно представить себе следующий путь развития ларингальности в языке кечуа. Как указывается в первой грамматике языка кечуа, в классическом инкском середины XVI в. акцентуационные единицы в некоторых случаях были закреплены за корневой, т. е. начальной частью слова<sup>31</sup> (в большинстве современных диалектов ударение подвижное и приходится на предпоследний слог). Это позволяет допустить, что в протокечуа некоторые просодические единицы (вопрос о физической природе которых остается пока открытым) также могли характеризовать начальную часть слова.

В языке аймара дифференциальные признаки ларингализации обычно связаны с первым по порядку смычным в данном слове, т. е. тоже являются своего рода сигналом начала слова<sup>32</sup>. В ходе межъязыковых контактов аймаранские дифференциальные признаки могли быть восприняты языковым сознанием кечуа как своего рода просодические признаки слова (кульминаторы) благодаря контаминации с кечуанскими «протопросодемами». Просодическая трактовка ларингальности лучше позволяет объяснить чрезвычайно широкое развитие ее в современном кечуа<sup>33</sup>; как известно, просодические системы довольно легко испытывают разного рода перестройки и переходят из одного языка в другой. В дальнейшем этот процесс охватил ларингальные элементы, уже имевшиеся в языке кечуа — ларингальные фонемы /ʔ/ и /h/, которые также взяли на себя роль кульминаторов.

Внутренним фактором, обусловившим столь своеобразную функциональную природу ларингальности, очевидно, является потребность в дополнительных (наряду с ударением) средствах объединения морфологических компонентов слова, что является характерной чертой агглютинативных языков (ср. сингармонизм в урало-алтайских и внутренние сандхи в дравидийских языках). В языке кечуа целостность слова во многих

<sup>28</sup> См., например: S. Singh Gill, Panjabi tonemics, «Anthropological linguistics», II, 6, 1960.

<sup>29</sup> См., например: С. Д. Канцельсон, Сравнительная акцентология германских языков, М.—Л., 1966, стр. 174—210; Г. С. Клычков, К типологии фонологических систем (исландский консонантизм и скандинавские тоны), сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966.

<sup>30</sup> P. Hajdú, Die sekundären anlautendennasale (ʔ-, h-) im Samojedischen, «Acta ling. Hung.», IV, fasc. 1—2, 1954.

<sup>31</sup> D. de Sánto Tomás, указ. соч., стр. 136—146. Любопытно, что в современном диалекте Кальехон-де-Уайлас (центральная группа диалектов) акцент, в общем, закреплен за первым слогом, причем он носит скорее музыкальный, чем динамический характер. Этот факт особенно знаменателен, если учесть выдвинутый в последнее время тезис о древности центральных диалектов и развитии их независимо от инкского влияния (см.: G. J. Parker, Waylas Quechua phonology, «Working papers in linguistics», II, 4, Honolulu, 1970).

<sup>32</sup> Следует отметить, что характерные для кечуа правила несовместимости нескольких ларингальных элементов в слове в языке аймара прослеживаются лишь в виде определенной тенденции. Здесь возможны слова типа *phughi* «полный», *k'ist'u* «палка», *ch'ankha* «нить», *phallch'a* «светиться» и т. п. В кечуа подобные основы выступают без второго ларингала: ср. айм. *t'ant'a* «хлеб», кеч. *t'anta*; айм. *ghasqa* «грубый, жесткий», кеч. *ghasqa* и т. п. Это не позволяет дать просодическую интерпретацию аймаранской ларингальности.

<sup>33</sup> Другими факторами, способствующими охвату ларингализацией новых слоев лексики, могут быть аналогия и звуковой символизм; см.: В. Proulx, Proto-Quechua /ph/, IJAL, XXXVIII, 2, 1972.

случаях обеспечивается двойным кульминативным эффектом, создаваемым, с одной стороны, ударением, а с другой — ларингальными кульминаторами.

Представленная здесь схема развития является всего лишь гипотезой. Против нее может быть выдвинуто то возражение, что исчезновение маркирующих различительных признаков типологически более вероятно, чем их появление. В этой связи еще раз подчеркнем, что кечуанские комплексные смычные ни в коем случае нельзя отождествлять, например, с придыхательными и смычно-гортанными фонемами языков Кавказа и Америки. В языке кечуа аспирация и глоттализиция — не обычные ингерентные признаки фонем, а фонологические единицы совершенно особого рода. Поэтому и судьба их может быть не совсем обычной. Окончательное же решение затронутых здесь проблем, очевидно, требует всестороннего учета как лингвистических, так и экстралингвистических факторов. В частности, пока еще почти не исследованы просодические системы большинства диалектов кечуа.

В заключение остановимся на принципах сравнительно-исторических исследований в применении к языкам кечуа и аймара. Некоторым из работ, посвященным генетическим связям этих языков, свойственно игнорирование принципа регулярности звуковых соответствий<sup>34</sup> и преимущественное внимание к типологическим критериям в ущерб критерию материального сходства<sup>35</sup>. Трудности, с которыми приходится сталкиваться компаративисту при исследовании языков и диалектов Андской зоны, вытекают из чрезвычайно сложных и многосторонних связей между этими языками. В ходе многовекового взаимодействия из одних языков и диалектов в другие переходили в больших количествах лексические и даже грамматические элементы, причем направление заимствования могло неоднократно меняться. Это заставляет проявлять известную осторожность при отборе материала для праязыковых реконструкций. В частности, следует четко разграничивать возможные «когнаты» и заимствования, которые, учитывая вышесказанное, должны быть весьма многочисленными. Прямолинейный же подход по принципу «генеалогического древа», когда праязыковые формы выводятся путем непосредственного сопоставления и суммирования форм современных диалектов, без учета их происхождения и развития, в данном случае себя явно не оправдывает<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> См., например: M. S w a d e s h, *Un nexo prehistórico entre quechua y tarasco*, «Anales del Instituto Nacional de antropología e historia», 49, México, 1969.

<sup>35</sup> Например: Y. L a s t r a d e S u á r e z, *Categorías posicionales en quechua y aymara*, «Anales de antropología», VII, México, 1970, и особенно: И. К. Ф е д о р о в а, *К вопросу о сходстве между языками кечуа, аймара и полинезийскими*, сб. «От Аляски до Огненной Земли», М., 1967.

<sup>36</sup> Подобный подход снижает достоверность выводов в цитированной работе К. О р р и Р. Л о н г а к р а, несмотря на то, что критерий регулярности звуковых соответствий у них формально соблюден. Критические замечания по этому поводу см.: С. J. P a r k e r, *On the evidence for complex stops in Proto-Quechua*, IJAL, XXXIX, 2, 1973.

Р. З. МУРЯСОВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА

Современное языкознание располагает большим количеством работ, в которых исследуется одна из сложнейших проблем лингвистики — проблема плана содержания слова. Слово, по удачному определению Э. А. Макаева, является «переходящей конститутивной единицей языка, т. е. выступает и может выступать на нескольких уровнях языка»<sup>1</sup>. Значительный интерес представляет также структурная архитектоника слова. Слово может изучаться с точки зрения своего фонематического<sup>2</sup>, слогового, морфологического и словообразовательного строения.

В трудах советских языковедов значительное внимание уделяется вопросу соотношения морфологического и словообразовательного принципов анализа слов (исследования Е. С. Кубряковой, Н. Д. Аругюновой, М. Д. Степановой, М. А. Кумахова, В. В. Лопатина, И. С. Улуканова, Н. А. Янко-Триницкой и др.). Не вдаваясь в изложение различий целей и задач морфологического и словообразовательного анализа слова, укажем, что словообразовательный анализ призван выявить словообразовательную структуру слова, т. е. производящую основу и словообразующий аффикс. Однако следует одновременно подчеркнуть, что наибольшие трудности установления производящей основы и словообразовательного аффикса выявляются не в любых производных, а лишь в тех случаях, когда производящая основа формально совпадает с корневой морфемой, т. е. когда производная основа удалена в одном направлении от исходной основы на одну словообразовательную операцию. Анализ отношений между производящей основой (равной корневой морфеме) и аффиксом сводится по существу к установлению морфем, т. е. в какой-то мере к морфемному анализу. Установление производящей основы, являющейся в свою очередь вторичной, т. е. производной основой, не вызывает никаких трудностей. Так, легко можно вычленить основу *fertig* в производном *Fertigkeit*, в то время как в составе прилагательного *fertig* невозможно выделить полноценную производящую основу. Основная трудность состоит в выделении корневой морфемы. Таким образом, основные трудности морфемного и словообразовательного анализов в конечном счете совпадают, что, однако, не исключает принципиальных отличий между ними.

Собственно немецкие и иноязычные производные основы ведут себя в отношении словообразовательной членности неодинаково. Они легко поддаются членению на производящую основу и аффикс. Структурная четкость немецких основ обусловлена высокой продуктивностью и активностью тех моделей, по которым они образованы.

В настоящей статье будут рассмотрены структурные особенности собственно немецких и иноязычных основ, обладающих признаком формаль-

<sup>1</sup> Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 255—256.

<sup>2</sup> P. Menzera th, Die Architektonik des deutschen Wortschatzes, Bonn — Hannover — Stuttgart, 1954.

ной<sup>3</sup> или эксплицитной<sup>4</sup> производности, а именно: 1) степени членимости, или «морфологической выводимости» (Н. А. Янко-Триницкая) производящей основы из производной; 2) морфонологические факторы и их роль в варьировании производящих основ; 3) установление словообразовательной направленности основ; 4) размер (т. е. линейная протяженность) слова и его связь с выделимостью производящих основ.

Типы словопроизводства распределяются в немецком языке по частям речи неравномерно. Префиксация — это в основном «удел» глагольного словообразования. В противоположность префиксации суффиксация обнаруживает большую продуктивность в производстве имен существительных и поэтому изучение структурных связей между префиксом и производящей основой в соответствующих производных существительных не представляется продуктивным. В системе иноязычных имен существительных префиксы также относительно малочисленны и не играют существенной роли в оформлении их структуры. Иноязычные производные существительные в современном немецком языке в основном латино-романского происхождения, и, как отмечает Ш. Балли, латинский и романские языки почти не пользуются индоевропейским префиксальным наследием<sup>5</sup>. Все трудности определения производности — непроизводности глагольной основы вызваны диффузностью структурных и смысловых отношений между префиксами и некоторыми производящими основами, что характерно как для немецкого глагола, так и для глагольной системы других германских языков. Так, *-ginnen* в нем. *be-ginnen*, *-gin* в англ. *be-gin* и *-gynna* в шведском *be-gynna* не обладают статусом корневой морфемы. Количество подобных примеров в немецком языке может быть легко увеличено (ср., например, глаголы с неотделяемыми префиксами).

При анализе структуры основ существительных наибольшие трудности возникают в установлении производящей основы и суффикса. Немецкие языковеды указывают на такие «застывшие», «мертвые» образования («sprachliche Versteinerungen») <sup>6</sup>, как *Bräutigam*, *Nachtigall*, в составе которых легко вычлениаются первые компоненты *Braut* и *Nacht*, в то время как остаточные элементы *-gam* и *-gall* в современном языке не встречаются ни в виде суффиксов, ни в качестве вторых компонентов сложных слов. Аналогичные элементы в английском языке, например, *cran* в *cranberry*, Г. Марчанд называет композитами (composite form), состоящими из морфемного и не морфемного (non-morphemic) элементов<sup>7</sup>. Их шаткий морфемный статус отражается на анализе структуры соответствующих слов по НС<sup>8</sup>. Особенно сложны структурные взаимоотношения производящей основы и суффикса в системе иноязычной производной лексики. Морфологическая диффузность иноязычных словообразовательных моделей усложняет их теоретическое описание и влечет за собой трудности методического характера. Число иноязычных суффиксов значительно превышает число собственно немецких суффиксов существительных. Кроме того, инвентарь и номенклатура иноязычных суффиксов не константны и их коли-

<sup>3</sup> См.: Е. С. К у б р я к о в а, О соотношении парадигматических и словообразовательных рядов в германских языках, сб. «Историко-типологические исследования морфонологического строя германских языков», М., 1972, стр. 177.

<sup>4</sup> См.: W. F l e i s c h e r, *Worthbildung der deutschen Gegenwartssprache*, Leipzig, 1969.

<sup>5</sup> Ш. Б а л л и, *Общая лингвистика и вопросы французского языка*, М., 1955, стр. 383.

<sup>6</sup> О. В e h a g h e l, *Sprachliche Versteinerungen*, «Von deutscher Sprache. Aufsätze, Vorträge und Plaudereien», Lahr i. Baden, 1927.

<sup>7</sup> Н. М а р ч а н д, *Synchronic analysis and word-formation*, CFS, 13, 1955.

<sup>8</sup> Н. А. С л ю с а р е в а, *Лингвистический анализ по непосредственно составляющим*, ВЯ, 1960, 6.

чество колеблется от автора к автору. В грамматике Дудена представлены 46 суффиксов, В. Шмидт приводит 26 суффиксов, В. Юнг — 38, в специальном исследовании по немецкому словообразованию В. Флейшера описываются 28 суффиксов; советский германист М. Д. Степанова выделяет 17 суффиксов. Таким образом, колебания у разных авторов настолько существенны, что амплитуда колебания составляет от 9 до 46, т. е. разница между низшим и высшим порогами колебания равна 37 суффиксам. Столь существенные различия в списках суффиксов у разных авторов свидетельствуют об отсутствии каких-либо надежных и четких критериев выделения тех или иных конечных сегментов слова в качестве словообразовательных формантов. Не выработаны более или менее устойчивые правила, позволяющие приписать сегменту слова статус аффиксальности или автономной основы.

Попытка установить структурные и семантические связи между производящей и производной основами приводит к выявлению разных ступеней членимости, т. е. шкалы членимости, которая состоит минимум из трех ступеней<sup>9</sup>.

**I. Безостаточная членимость.** В немецком языке производящая основа существует как самостоятельная лексическая единица, вычлениваемая в составе производного безостаточно, например: *Marx-ist, Sozial-ist, Revolution-är, Dozent-ur* и т. д.

**II. Коррелирующая членимость.** Производящие основы в виде автономных единиц в немецком языке не существуют, но встречаются как «связанные» основы в других конструкциях, т. е. в комбинациях с другими суффиксами, и образуют гнезда слов, например: *Demonstr-ant, Demonstr-ation, demonstr-ieren* и т. д.

**III. Остаточная или отрицательная членимость.** «Производящие» основы существуют только в данной конструкции, т. е. уникальны (*unique morphemes*)<sup>10</sup>. Такие основы некоторые языковеды называют «дефектно членимыми»<sup>11</sup> или «отрицательно выделяемыми»<sup>12</sup>, например: *General, Baron, Dekan* и т. п.

Первая ступень членимости характерна не для всех суффиксальных моделей, причем неодинаков и ее удельный вес в разных моделях. Например, производные с *-ist* укладываются в первые две ступени, в то время как производные с *-et* могут обладать признаками только II и III ступени членимости. Ср.:

Шкала членимости	<i>-ist</i>	<i>-tion</i>	<i>-eur</i>	<i>-age</i>	<i>-et</i>
I	122 (50,8%)	2 (0,35%)	10 (11,6%)	13 (28,2%)	—
II	118 (49,2%)	520 (91,2%)	66 (76,7%)	24 (52,1%)	18 (32,1%)
III	—	48 (8,45%)	10 (11,6%)	9 (19,5%)	38 (67,9%)

Большинству иноязычных моделей свойственны II и III ступени членимости.

Суффиксальная маркированность основ первых двух ступеней не вызывает сомнений. Спорным является статус производности слов III ступени,

<sup>9</sup> См.: Р. З. М у р я с о в, Некоторые лексико-грамматические особенности иноязычных производных существительных, сб. «Вопросы описания лексико-семантической системы языка. Тезисы докладов», II, М., 1971.

<sup>10</sup> См.: L. B l o o m f i e l d, *Language*, New York, 1933, стр. 160.

<sup>11</sup> Е. С. К у б р я к о в а, Морфологическая структура слова в современных германских языках, сб. «Морфологическая структура слова в индоевропейских языках», М., 1970.

<sup>12</sup> М. Д. С т е п а н о в а, Аспекты синхронного словообразования, «Ил.яз. в шк.», 1972, 3.

в которых некоторые языковеды различают элементы, называемые «квазиморфами», «квазиморфемами» или «приметами»<sup>13</sup>. Слова с квазиморфами представляют собой псевдоконструкции, значение которых определяется «серийным значением» (*Gruppenbedeutung*)<sup>14</sup> квазиморфов.

Таким образом, те или иные сегменты слов могут претендовать на статус разновидности морфем, т. е. квазиморфов, в том случае, если они поддерживаются «полноценными» морфемами в системе языка, наделенными каким-либо лингвистическим значением.

Собственно немецкая и иноязычная лексика находятся в тесном взаимодействии. Как известно, заимствующий язык приспособливает заимствованные элементы к своей системе. Своеобразной формой взаимодействия иноязычной и немецкой подсистем словообразования является существование в немецком языке так называемых «гибридных» слов (*hybride Bildungen*)<sup>15</sup>, представляющих собой сочетание двух и более генетически инородных морфем. На уровне словообразования речь идет о двух видах взаимодействия инородных морфем: 1) немецкая производящая основа сочетается с иноязычными аффиксами и 2) к иноязычным основам присоединяются немецкие аффиксы. Степень продуктивности и частотность двух моделей неодинаковы. Присоединение немецких суффиксов к иноязычным основам значительно свободнее, чем сочетание иноязычного аффикса с собственно немецкими основами. Большинство немецких суффиксов может сочетаться с иноязычными основами, например: *-heit, -tum, -ei (-erei), -schaft, -ung, -ling*, ср.: *Korrektheit, Ästhetentum, Juristerei, Konditorei, Studentenschaft, Modernisierung, Blondling* и т. д. Члены одного и того же алломорфного ряда обнаруживают неодинаковую активность в оформлении гибридных слов. Например, алломорф *-heit* может сочетаться с различными иноязычными основами, в то время как алломорфы *-keit* и *-igkeit* находятся в комбинации обычно с собственно немецкими основами или с основами, которые сами являются гибридными образованиями: *Deklinierbarkeit, Taktlosigkeit, Manierlichkeit*.

Модели «иноязычный префикс + немецкая основа» (например, *superfein*), «немецкий префикс + иноязычная основа» (например, *verjassen*), «иноязычная основа + немецкий суффикс» (например, *Konkretheit, grazienhaft*) привились в словообразовательной системе немецкого языка.

В противоположность указанным выше моделям, модель «немецкая основа + иноязычный суффикс» представляет собой отклонение от словообразовательных норм немецкого языка и носит ограниченный характер. Гибридные слова, образованные по последней модели, образуют малочисленный класс. Из большого количества иноязычных суффиксов существительных лишь около 20 могут сочетаться с немецкими основами, например: *-age, -al, -ant, -atius (-azius), -ette, -(ol)eyum, -iade, -ikus, -ier, -ie, -in, -ist, -orum, -orium, -(i)tät, -itis* и некот. др. Своеобразная структура таких образований сопровождается возникновением у них «дуги стилистического напряжения», так как «эмоциональное значение может возникнуть при

<sup>13</sup> Е. С. Кубрякова, О типах морфологической членности слов, квазиморфах и маркерах, ВЯ, 1970, 2. По-видимому, предпочтение следует отдать термину «квазиморф». Термин же «квазиморфема» относится к эмическому уровню анализа и указывает на единицу системы языка. Квазиморфы всегда конкретны и характеризуются уникальной дистрибуцией. О том или ином квазиморфе можно говорить только в рамках конкретного слова. Так, нет квазиморфа *-el* вообще, а есть квазиморф *-el*, например, в составе слова *Löffel*, ср. *Deckel (decken), Ärmel (Arm)* и т. д.

<sup>14</sup> M. D o k u l i l, Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem, SaS, 29, 1968, стр. 13.

<sup>15</sup> H. B u n g e r t, Zum Einfluß des Englischen auf die deutsche Sprache seit dem Ende des zweiten Weltkrieges, JEGPh, 62, 1963.

нарушении лексических норм словообразования»<sup>16</sup>. Данную модель следует рассматривать как отклонение, как редкое, нетипичное для немецкого словообразования явление. Об этом свидетельствует, во-первых, закрытый характер гибридных производных, и, во-вторых, тот факт, что эта модель содержит стилистический заряд, т. е. получает эмоциональную оценочность. При этом стилистическая нагрузка гибридов ни в коей мере не зависит от характера производящей основы, а обусловлена экзотичностью модели. Производящие основы сами по себе нейтральны. Ср.: *Buckelorum*, *Buckelinski*, *Buckelanes* «(шутл.) горбун» (*Buckel*), *Bummelantius* «(шутл.) пассажирский поезд малой скорости» (*Bummel*, *bummeln*), *Dichteritis* «(шутл.) болезненная страсть к писательству, к сочинительству, графомания» (*Dichter*), *Lausoleum* «(воен. жарг.) санпропускник» (*Laus*), *Luftikus* «ветрогон, ветреник» (*Luft*), *Stiefelette* «(разг., пренебр.) сапоги» (*Stiefel*). К своего рода словообразовательным «экзотизмам» следует отнести также гибридное существительное *Sammelsurium* «(разг.) всякая всячина, винегрет, неразбериха». Это вычурное слово образовано от основы немецкого глагола *sammeln* и от сегмента *surium*, напоминающего латинскую основу. В словах *Lausoleum*, *Sammelsurium* и т. д. нельзя вычленить морфемы, повторяющиеся регулярно в других образованиях. Существование подобных слов в славянских языках В. Дорошевский объясняет «слуховыми впечатлениями» («wspomnienia słuchowego») <sup>17</sup>. Следует указать еще на одну структурную особенность гибридных существительных. В отличие от иноязычных, характеризующихся нередко остаточной выделяемостью основ, гибридные существительные обладают высокой степенью словообразовательной и морфологической членимости, ср.: *Jesuit-erei*, *Blum-ist*, *Luft-ikus*, *Buckel-orium*, *Stiefel-ette* и т. д. Генетическая инородность морфем обуславливает отсутствие между ними структурной близости, спаянности.

При переходе из одной части речи в другую как фонематический и морфологический облик, так и смысловая структура производящих основ претерпевают ощутимые изменения. Варьирование производящих основ вызывается в основном теми морфонологическими изменениями, которые имеют место в формо- и словообразовании. Наиболее существенными морфонологическими средствами, вызывающими варьирование основ, являются для немецкого словообразования умляут и чередование согласных исхода производящей основы. Умляут свойствен собственно немецкому словообразованию, чередование же согласных характерно для иноязычного словопроизводства. Э. А. Макаев и Е. С. Кубрякова указывают, что «морфонологические характеристики выступают всегда как способствующие дифференциации форм или усиливающие уже имеющуюся дифференциацию» <sup>18</sup>. По их мнению, морфонологические факторы выступают нередко как интенсификаторы морфологических категорий или как дополнительные их различители. Если умляут как разновидность внутренней флексии может выступать в формообразовании как показатель грамматических значений (ср.: *Vater* — *Väter*, *Mutter* — *Mütter*), то в словообразовании он может выступать обычно лишь как интенсификатор, как дополнительный признак словообразовательной направленности основы, например: *väterlich*, *Vögelein*, *kräftig* и т. д. Продуктивность умляута при-

<sup>16</sup> Н. Д. А р у т ю н о в а, Очерки по словообразованию в современном испанском языке, М., 1961, стр. 109.

<sup>17</sup> W. D o g o s z e w s k i, *Nomina loci jako kategoria słowotwórcza*, «Slavia», XXXI, 3, 1962, стр. 345.

<sup>18</sup> Э. А. М а к а е в, Е. С. К у б р я к о в а, Отличительные черты морфонологии германских языков с историко-типологической точки зрения, сб. «Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков», стр. 25.

вела к его употреблению в формо- и словообразовании также в тех случаях, когда он в синхронии фонетически, т. е. позиционно немотивирован (*Töchter*). Однако первоначальная фонетическая экспансия умляута ощущается и в настоящее время. Диахронический спектр умляута находит свое отражение в том, что он обычно появляется при суффиксах, содержащих гласные, которые в более давние этапы развития немецкого языка вызывали умляут корневого гласного. К таким суффиксам относятся *-ig*, реже *-lich* и др. Морфонологическая гибкость корневых гласных в словообразовании не случайна. Она непосредственно связана с их морфонологической гибкостью при оформлении словоизменительных парадигм. Это обстоятельство свидетельствует о тесной структурной связи между словоизменением и словообразованием. Морфонологические факторы, сопровождающие переход слова из одной части речи в другую, потенциально заложены в формообразовательных парадигмах той части речи, которая служит производящей основой. Так, сильные глаголы, получающие умляут в личных формах, почти автоматически имеют умляут корневого гласного при образовании от них существительных с помощью суффикса *-er*, например: *Träger (tragen, trägst, trägt)*, *Läufer (laufen, läufst, läuft)*, ср. далее: *Bäcker, Fänger, Gräber, Schläfer, Wäscher* и мн. др. Исключениями в этом отношении являются *Fahrer* при *fährst, fährt* и *Halter* при *hältst, hält*.

Десубстантивные существительные также получают умляут, если гласные производящей основы существительного имеют умляут при образовании форм мн. числа, например: *Künstler (Kunst — Künste)*, *Abgänger (Abgag — Abgänge)*, *Tänzer (Tanz — Tänze)*, *Häusler (Haus — Häuser)* и мн. др.

Деадъективные существительные с суффиксом *-ling* претерпевают перегласовку по умляуту, если прилагательное, выступающее в качестве производящей основы, имеет умляут при образовании степеней сравнения, например: *Jüngling (jung — jünger — jüngst)*, *Schwächling (schwach — schwächer — schwächst)* и т. д.

Умляут в словообразовании — это морфонологическая примета корня слова, а не любой производящей основы. При наличии последовательности двух или более суффиксов в составе слова гласные предыдущего суффикса или суффиксов не подвергаются перегласовке по умляуту под влиянием последующих, например, суффикс *-igkeit* не вызывает умляута гласных предшествующих ему суффиксов *-los* и *-haft* (ср. *Arbeitslosigkeit, Wahrfügigkeit*). Единственным исключением из этого правила является модель с суффиксом *-tum*. Гласный этого суффикса получает умляут как в формо-, так и в словообразовании, например: *Eigentümer, volkstümlich, Altertümer*.

Таким образом, производные основы «наследуют» от производящей основы не только семантический и структурный инвариант, но и ее морфонологические потенции.

Варьирование иноязычных производящих основ обусловлено чередованиями согласных, которые имеют место на стыке морфем. Чередования деформируют морфемные швы, стирают границы между морфемами и вследствие этого противодействуют членимости основ. Слабая членимость иноязычных основ объясняется «омертвлением» отдельных словообразовательных моделей, т. е. утратой ими своей продуктивности и активности, а также обилием в отдельных словообразовательных моделях чередований. Первая причина не исключает вторую, ибо, как указывает Н. С. Трубецкой, «...нет сомнения, что чередования особенно сильны в мертвых, не продуктивных типах словообразования»<sup>19</sup>. Чем больше чередований, тем

<sup>19</sup> N. S. T r u b e t z k o y, Das morphonologische System der russischen Sprache. TCLP, 2, 1934, стр. 90.

труднее уловить морфемные границы, тем они диффузнее, ср.: *deprimieren — Depression*, *kohärieren — Kohäsion*, *inspizieren — Inspektion*, *akzedieren — Akzession* и др.

Степень морфонологических расхождений между структурно и семантически коррелирующими основами различна. Максимальные морфонологические расхождения существуют между глагольными и субстантивными основами, в то время как между основами прилагательных и существительных они минимальны, ср.: *exprimieren — Expression — expressiv*. Морфонологически близкое родство существительных и прилагательных генетически объяснимо. Глагол и имя в индоевропейских языках образуют полярные точки в системе частей речи, т. е. структурно резко противопоставлены друг другу, в то время как существительные и прилагательные противопоставляются друг другу внутри именной части речи<sup>20</sup>.

Другой морфонологический фактор, накладывающий определенный отпечаток на структурный облик производных слов, представляет собой явление, которое в советском языкознании принято называть «интерфиксацией»<sup>21</sup>. Интерфиксы определяются как части слова, не имеющие самостоятельного значения и выступающие как строевые средства языка<sup>22</sup>. К подобного рода «асемантическим прокладкам» (Е. А. Земская) в немецком языке можно отнести, например, *-t-* в *theoretisch (Theorie)* наряду с *chemisch (Chemie)-is-*, в *karbonisieren* наряду с *abonnieren*, *-an-* в *Hannoveraner, Weimaraner* наряду с *Berliner* и *Hamburger*, *-mat-* в *Schwachmatikus* наряду с *Luftikus* и т. д.

Как явление, примыкающее к интерфиксации, по-видимому, можно рассматривать вставные суффиксы при так называемом чересступенном словообразовании. Чересступенное образование Н. А. Янко-Триницкая рассматривает как результат действия аналогии, суть которого состоит в том, что слово образовано как бы минуя определенную словообразовательную ступень<sup>23</sup>. Так, в прилагательных *subjektivistisch, objektivistisch, feudalistisch* и т. д. отсутствует промежуточный деривационный шаг, ср.: *Leninist — leninistisch, Marxist — marxistisch* и т. п. С помощью суффикса *-erin* образованы обозначения лиц женского пола, являющихся исполнителями специфических видов деятельности, присущих только женщинам (например: *Gebäuerin, Wöchnerin*).

При анализе словообразовательной структуры слова нередко бывает трудно определить, какая часть речи выступает в качестве производящей основы производного. Мотивировано ли, например, слово *Sprecherei* существительным *Sprecher* или глаголом *sprechen*? Поскольку производные *Bäckerei, Druckerei, Sprecherei* и многие другие семантически и структурно соотносятся как с существительным, так и с глаголом, можно говорить об основах с двойным направлением производности<sup>24</sup>. Следует различать два вида двойной словообразовательной направленности основ. Во-первых, возможность двойного соотношения производных слов предполагает также наличие двух взаимоисключающих вариантов одного и того же суффикса, т. е. двух алломорфов. При соотнесении производящей основы с существительным *Sprecher, Bäcker* и т. д. словообразовательным суффиксом является *-ei*, при соотнесении же основы с глаголом выделяется

<sup>20</sup> А. А. Потенция, Из записок по русской грамматике, 3, М., 1968, стр. 5, 37.

<sup>21</sup> См.: Е. А. Земская, Интерфиксация в современном русском словообразовании об. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964.

<sup>22</sup> Там же, стр. 42.

<sup>23</sup> Н. А. Янко-Триницкая, К образованию новых слов *трудоустройство — трудоустроить*, «Вопросы культуры речи», III, М., 1961, стр. 141—142.

<sup>24</sup> См. об этом: К. А. Левковская, Словообразование, М., 1954, стр. 25; М. Д. Степанова, Аспекты синхронного словообразования, «Иж. яз. в шк.», 1972, 3, стр. 6.

алломорф *-erei*. Таким образом, категориальное варьирование (т. е. функционирование в разных лексико-грамматических разрядах) производящей основы вызывает также варьирование суффикса: Другую разновидность двойной словообразовательной направленности находим в производных типа *Kneiperei* при производящих основах *Kneipe* и *kneipen*, *Schmauserei* при *Schmaus* и *schmausen* и т. д. В последнем случае категориальное варьирование производящей основы не обуславливает вариантность суффикса. Ср. также: *Fachsimelei*, *Trommelei* и т. д.

К большинству иноязычных производных формула «В образовано от А» не применима не только или не столько потому, что формула указывает на процессуальный аспект словообразования, сколько из-за формальной невыводимости одной основы из другой. С синхронной точки зрения целесообразней было бы говорить о структурно и семантически коррелирующих, а не о производных и производящих основах. Существование параллельных конструкций с искомыми единицами обуславливает их взаимную производность, а установление направления производности таких основ нередко является несущественным, например: *Student — studieren — Studium — Studiker*. Производящая основа таких образований вычленима на основе формулы «А и В взаимно мотивированы», например, слово *Souffleur* мотивировано глаголом *soufflieren* или существительным *Souffleuse*.

Словообразовательная маркированность, т. е. производность, обнаруживает связь с линейной протяженностью слова, хотя многослоговые основы также могут быть нечленимыми. Большинство слов современного немецкого языка полиморфемны. Как известно, немецкий язык образует по количеству многоморфемных слов среди германских языков высший порог. Размер слова сам по себе, разумеется, не может служить показателем членимости производного на производящую основу и суффикс, но многосложность в большинстве случаев несомненно свидетельствует о полиморфематичности слова, т. е. о конструкции. Конструкция может состоять иногда из одних корневых морфем. Продуктивность словосложения в немецком языке общеизвестна. Такие сложные слова, как, например, *Werkzeugmaschinenbaukombinat*, *Waffenstillstandsverhandlung*, *Internationalisierungstendenzen* и т. д. не являются исключениями. Членение сложных слов на основы или морфемы не вызывает особых трудностей, и поэтому их размер не играет никакой роли для анализа спорных случаев производности. На основе цифровых данных<sup>25</sup> мы попытаемся показать связь между размером иноязычных производных существительных и их потенциальной членимостью. При определении размера слова представляется целесообразным исходить из количества слогов в составе слова. Ступени членимости и количество слогов в основе находятся в отношении прямой пропорциональной зависимости. По мере нарастания количества слогов возрастает потенциальная членимость основы. Количество слогов в иноязычных суффиксальных производных колеблется от двух до семи. Из большого количества (67) иноязычных суффиксов в составе двухсложных слов лишь некоторые могут быть выделены на уровне I ступени членимости. Сюда относятся производные с *-ist* (*Marxist*), *-ur* (*Punktur*), *-är* (*Quartär*) и т. д. Многие суффиксы в составе двусложных слов вообще не встречаются, например: *-ine*, *-elle*, *-ismus*, *-erie*, *-ade*, *-ille* и др. В образовании трехсложных существительных принимают участие все суффиксы. Степень участия по ступеням членимости у разных суффиксов различна. Трехсложные производные с одними суффиксами распола-

<sup>25</sup> Цифровые данные о количестве производных с тем или иным суффиксом извлечены из обратного словаря Э. Матера (E. M a t e r, Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1965).

гаются по всем трем ступеням членимости, например: *-eur* (*Billeteur, Redakteur, Entrepreneur*), *-ier* (*Pontonier, Füselier, Offizier*), *-ine* (*Blondine, Vitrine, Kusine*), *-tion* (*Affektion, Kremation, Libation*) и т. д.; трехсложные существительные с другими суффиксами обладают II и III или только III ступенями членимости, например, *-an* (*Kastellan, Ortolan*), *-ol* (*Stanniol, Alkohol*), *-et* (*Katechet, Interpret*) и т. д. Четырех- и пятисложные слова обнаруживают еще большую потенциальную членимость. В пятисложных существительных III ступень членимости почти полностью исчезает, например: *Materialist, Kommunismus, Klassifikation, Qualifikation* и мн. др. Шести- и семисложные суффиксальные производные никогда не могут относиться к III ступени членимости, т. е. им свойственна самая высокая потенциальная членимость. Особенно хорошо видна связь между размером слова и его членимостью на словообразовательном и морфологическом уровнях при сопоставлении двух полярных точек линейной протяженности, т. е. низшего и высшего порогов длины слов. Например, производные с суффиксом *-tion* в трех- и шестисложных словах имеют следующую картину членимости:

Ступени членимости	Количество слогов				
	2	3	4	5	6
I	—	0,85%	—	0,9%	—
II	29,4%	88%	93,4%	96%	100%
III	70,6%	11,1%	6,6%	3,1%	—

Таким образом, живая или положительная выделяемость производящих основ (т. е. I и II ступени) двусложных равна 29,4%, а отрицательная выделяемость (т. е. III ступень) характерна для 70,6% случаев, в то время как живая членимость шестисложных слов составляет 100%. Эта закономерность присуща преобладающему большинству словообразовательных моделей иноязычных существительных. Проиллюстрируем данное положение еще на одной словообразовательной модели. Двусложные производные с *-ier* обладают только II и III ступенями членимости, и при этом очень велик удельный вес существительных, относящихся к III ступени — 72,5%. В трехсложных словах процент существительных I и II ступеней резко повышается (I — 36%, II — 36%). Четырехсложные производные обладают только живой членимостью.

Итак, структура слова представляет собой сложную организацию, не всегда поддающуюся непротиворечивому и однозначному описанию. Словообразовательная архитектура слова не может быть описана только на основе оппозиции «производная основа — непроезводная основа». Она имеет дело с континуумом переходов между непроезводностью и произвольностью основ, т. е. словообразовательной мотивации присуща полевая структура. Двумя полярными точками в цепи мотивированности — немотивированности (т. е. произвольности) лингвистического знака являются сложные слова и непроезводные корневые слова. Другие виды конструкции располагаются между этими двумя полюсами.

И. Г. ДОБРДОМОВ

ОТРАЖЕНИЕ ДВУХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ РОТАЦИЗМА  
В БУЛГАРСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Среди соответствий чувашскому *p* в прочих тюркских языках, кроме простых случаев тождественных соответствий (*p* ~ *p*), наблюдаются два типа соответствий нетождественных. Одно, наиболее древнее и особенно часто обсуждаемое, соответствие согласного *z* (с его модификациями) большинству тюркских языков чувашскому *p* (соответствие *z* ~ *p*) имеет ротацистическое соответствие также в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, поэтому его можно назвать «алтайско-булгарским ротацизмом». Другое, более многообразное и не менее часто обсуждаемое, соответствие *й, з, т, д* ~ *p* может быть условно названо «булгарско-чувашским ротацизмом», ибо этот «ротацизм» представлен только в чувашском языке, а также частично в исчезнувших родственных ему булгарских диалектах, т. е. ограничивается фактически лишь тюркскими языками. Это явление — хронологически более позднее, и его отражение (в булгарской части) более многообразно: заимствованные слова отразили «булгарско-чувашский ротацизм» в процессе его становления на разных стадиях развития.

Эти два совершенно различных хронологически и географически ротацизма иногда не различаются<sup>1</sup>. Объединяя эти два ротацизма по общности их представления в современном чувашском языке и приписывая им одну общую ступень развития (*z* > *p*), Б. А. Серебренников, однако, строго разграничивает их на ранних ступенях и объединяет лишь на заключительном этапе, отмечая одновременно случаи ошибочного неразграничения этих явлений у других лингвистов<sup>2</sup>.

Не все лингвисты придерживаются одного взгляда на возникновение соответствия *z* ~ *p*. Одни считают первичным зетацизм, а ротацизм вторичным (*z* > *p*, такую точку зрения разделяет, например, Б. А. Серебренников, специально высказывавшийся в ее защиту). Однако наиболее распространена другая точка зрения, согласно которой первичным признается ротацизм (палатализованный *p'* > *z*), а зетацизм — соответственно инновацией небулгарских групп тюркских языков. Впервые сформулированная Г. И. Рамседтом, эта гипотеза вызвала большое количество откликов как в ее поддержку<sup>3</sup>, так и против нее, но вопросы хронологизации этого процесса рассматривались сравнительно редко. В частности, И. Маркварт сделал попытку установить хронологию ротацизма, не вдаваясь в решение вопроса о первичности *z* или *p*. По его мнению, письменные памятники позволяют отметить ротацизм уже в VI в. н. э.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> См., например: А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970, стр. 85, примеч. 234; М. Р. Федотов, Чуваш чёлхин историйё, I. Сасасем, Шупашкар, 1971, стр. 82—94.

<sup>2</sup> Б. А. Серебренников, О некоторых спорных вопросах сравнительно-исторической фонетики тюркских языков, ВЯ, 1960, 4, стр. 65.

<sup>3</sup> Одна из последних работ по этому вопросу: Т. Текин, Zetacism and sigmatism in Proto-Turkic, «Acta orient. Hung.», XXII, 1, 1969.

<sup>4</sup> J. Markwart, Kultur- und sprachgeschichtliche Analekten. IV — Chronologische Data für den bulgarisch-türkischen «Rhotazismus», «Ungarische Jahrbücher», IX, 1, 1929.

Исходя из того, что тюркский зетацизм предшествовал болгарскому ротацизму ( $z > p$ ), И. Бенцинг на основе материалов Махмуда Кашгарского относил развитие чувашского ротацизма ко времени после XI в., а болгаризмы венгерского языка с ротацизмом считал относительно новым приобретением (уже на современной территории) из языка поглощенных венграми болгаров<sup>5</sup>).

Н. Н. Поппе, придерживаясь диаметрально противоположного мнения о сравнительно позднем развитии тюркского зетацизма из прототюркского ротацизма ( $p > z$ ), считает, что старые тюркизмы венгерского языка с отражением ротацизма восходят к тому периоду истории тюркских языков, когда не было противопоставления тюркских языков по ротацизму (булгарская группа) и зетацизму (прочие тюркские языки), т. е. к прототюркскому языку, включавшему как болгарскую группу, так и предков прочих тюркских языков. Тем самым фактически снимается вопрос о хронологии ротацизма и ставится вопрос о хронологии зетацизма в тюркских языках Восточной Европы<sup>6</sup>.

Обычно исследователи при рассмотрении проблемы ротацизма опирались на материалы тюркских языков (как современных, так и представленных в письменных памятниках) и в гораздо меньшей степени на тюркские заимствования в финно-угорских языках (прежде всего, в венгерском), славянский же материал обычно не использовался из-за неразработанности вопроса о древних славянских болгаризмах и шире — тюркизмах. В предлагаемой статье предпринимается попытка проанализировать болгаризмы восточнославянских языков с точки зрения значения этих болгаризмов для решения вопроса о хронологии ротацизма. При этом следует учитывать, что славянские языки сами могут быть объектом своеобразной типологической классификации с точки зрения наличия процессов, так или иначе связанных с ротацизмом, или их отсутствия: 1) южнославянские со спорадическим переходом  $ж > p$  (например, серб.-хорв. *jer* «ибо» < *ježe*); 2) западнославянские с регулярным для чешского, польского и некоторых диалектных группировок обратным переходом палатализованного  $p' > \overline{pж/ж}$ <sup>7</sup>; 3) восточнославянские с отсутствием явлений, родственных ротацизму (если не считать диалектных *сварьба*, *усарьба*, соотв. *свадьба*, *усадьба*), что небезынтересно в плане прежде всего восточнославянско-болгарских связей и может составить тему особого разыскания.

1. «Алтайско-болгарский ротацизм» в тюркизмах славянских языков. Наиболее яркой чертой, противопоставляющей болгарско-чувашский языковой регион прочим тюркским языкам, считается чувашский ротацизм<sup>8</sup>, соотносительный с зетацизмом прочих тюркских языков: тюркскому звуку  $z$  в чувашском языке соответствует  $p$ . Например: татар. *кыз* «девушка, девушка, девица; дочь, дочка; невеста» — чуваш. *хёр* «дочь, девушка, девушка, девица».

По этому признаку отмеченное в словаре В. И. Даля казанское диалектное *хирка* «чувашская девка, девчонка» (с указанием на чувашское проис-

<sup>5</sup> J. Benzing, Die angeblichen bolgartürkischen Lehnwörter im Ungarischen, ZDMG, 98 (N. F. 23), 1, 1944.

<sup>6</sup> N. Poppe, On some Altaic loanwords in Hungarian, «American studies in Uralic linguistics», Bloomington, 1960, стр. 139—157. Возражения см.: L. Ligeti, A propos des éléments «altaïques» de la langue hongroise, «Acta ling. Hung.», XI, 1—2, 1961; а также: Г. Е. Корнилов, К вопросу об источниках алтайских заимствований в венгерском языке, «Советское финноугроведение», 1972, 1.

<sup>7</sup> Ср.: G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I, Helsinki, 1957 (= MSFOu, 104, 1), стр. 105.

<sup>8</sup> Проблема алтайско-болгарского ротацизма породила большую литературу, обзор которой см.: А. М. Щербак, указ. соч., стр. 84—85.

хождение) противостоит столь же экзотическому среднеазиатскому *кыз* (также употребляется как обращение *кызык* и в русифицированном облике *кызымка* от притяжательной формы *кызым* «моя дочь, девочка») <sup>9</sup>. Любопытно одинаковое русское суффиксальное оформление чувашизма *хирка* и среднеазиатского тюркизма *кызымка*.

Вероятно, через венгерское посредство проник в украинский язык корень *тарк-*, входящий в состав целого ряда названий мастей: *таркáč* «конь белый с черными или рыжими пятнами», *таркб* «кличка пестрой собаки», *таркá(нiс)тий* «пестрый» [последнее слово легло в основу молд. *тэркат* и рум. *tărcat* «пегий, пятнистый, полосатый», давших обратное заимствование в украинском языке, *теркá(нiс)тий* с тем же значением, что и украинский первоисточник]. Сюда же примыкает укр. *таран* «копина, след оспы». Венгерская первооснова этих слов (ст.-венг. *tar* и нововенг. *tarka* с уменьшительным суффиксом *-ka*) восходит к несохранившемуся в чувашском языке прилагательному \**тар*, которому в древнетюркском языке соответствует *таз* «парша, плешь; паршивый, шелудивый», ср. алт. *тас* «лысына; лысый, голый» <sup>10</sup>.

Как отражение тюркских ротацистических форм должны рассматриваться русские диалектные слова: *сърпа* «рыболовная снасть, похожая на корзину» (арханг., енисейск.) и *сърпа*, *сърба* «приспособление для процеживания браги» (олонецк.), *сърьпа* «ловушка на рыбу» (арханг.). М. Фасмер нерешительно объединяет их друг с другом и сравнивает с русским пермским диалектизмом *сырп* «рыболовная сеть в виде мешка», выводимым из манс. *sirp* «вид рыболовной сети», хотя и объявляет первую группу слов неясной <sup>11</sup>. Все эти формы хорошо объясняются вместе с астраханским *сюзэ* «мешок для ловли рыбы», донским *сюзьма* «кушанье из процеженного молока» (которым М. Фасмер дает неточные этимологии), как дериваты тюркского глагола *сүз-* (чуваш. *сёр-* «цедить, фильтровать; ловить рыбу бреднем» с ротацизмом, откуда венг. *szűr-* «цедить, фильтровать») с помощью различных суффиксов и с разным направлением развития семантики (орудие и результат действия).

Уже неоднократно обращалось внимание на восточноевропейское название сазана, карпа *шаран*, представленное в русском, украинском, болгарском, македонском, сербскохорватском языках, в чешских ганацких диалектах, в старочешском, польском, а также в румынском языках и входящее к болгарскому соответствию тюркского *сазан*, которое вытеснило в современном чувашском языке исконную форму, сохранившуюся лишь в части славянских языков и в румынском. Достоверность болгарского происхождения этого слова подтверждается наличием другой болгарской фонетической черты: - в соответствии с начальным *с-* перед долгим гласным *-а-* в других тюркских языках.

<sup>9</sup> См.: З. С. Шеломенцева, Словарь тюркизмов в русском языке жителей Киргизии, Фрунзе, 1971, стр. 77—79.

<sup>10</sup> И. Г. Добродомов, К этимологии украинского *таркач* и т. п., «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», 341, 1969, стр. 89—91; J. Németh, Eine Benennung für scheckige Tiere bei Türken und Ungarn, «Acta ling. Hung.», XV, 1—2, 1965, стр. 79—84.

<sup>11</sup> М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 808, 820; см. также: M. Räsänen, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türkisprachen, Helsinki, 1969 (далее — Räsänen, EW), стр. 438—439; ср.: А. К. Матвеев, Новые данные о финно-угорских заимствованиях в русских говорах Урала и Западной Сибири, «Вопросы финно-угорского языкознания», М.—Л., 1962, стр. 136; А. И. Попов, Из истории славяно-финноугорских лексических отношений, «Acta ling. Hung.», V, 1—2, 1955, стр. 7—8. В пользу финно-угорской этимологии говорит география слов *сърпа*, *сърьпа* и ударение, но привлекаемое сюда в качестве источника фин. *suurja*, *surja* «мешкообразный невод» фонетически далеко от русских слов.

Чрезвычайно сложным представляется вопрос о происхождении и миграциях восточнославянского слова *брага*, которое проникло в отдельные соседние славянские языки (польск. *braha*), а также за их пределы (венг. диалектн. *bráha*, *braha*, *brága*, рум. *braga*, молд. *braha*). Праформа этого слова \**бърага* (с морфологически возникшим на славянской уже почве -а) отражает болгарское диминутивное образование (в современном чувашском языке не сохранившееся) от болгарского соответствия тюркскому названию разного рода напитков *боза* ~ булг. \**бура*. Следы этого же болгарского слова есть в финно-угорских языках Поволжья. Уже из мордовского языка вторично в русский язык пришло то же самое болгарское слово в виде нижегородского *пурé* (нескл.) «мордовский вареный мед». К неболгарскому источнику восходит также русское наименование преимущественно чуждых, экзотических напитков разных народов *буза*, которое имеет широкое распространение в различных языках. Истории всех этих слов посвящена обширная литература, обзор которой можно найти под соответствующими словами в этимологических словарях, а попытка синтетического обзора сделана Г. Дёрфером<sup>12</sup>, что позволяет отослать к нему и сосредоточить внимание на хронологии заимствования, датируя последнее общевосточнославянской эпохой, ибо в слове возник и исчез впоследствии так называемый редуцированный гласный -ъ < у (кратк.) < общетюрк. о (восстанавливается на основе показаний большинства тюркских языков). Следовательно, болгарский переход о > у имел место до XI в., когда древнерусский язык уже испытывал исчезновение гласных ъ, ь. До XI в. имело место заимствование. В осетинском малоупотребительном наименовании браги, напитка из проса *бырæгъ* хорошо сохранен консонантизм болгарского первоисточника при некоторой эволюции вокализма. Морфология и фонетика восточнославянского *брага* своим развитием напоминают аналогичное развитие общеславянского болгаризма *къниг(a)* > *книга*<sup>13</sup>.

Общеславянское распространение имеет болгаризм \**хърѣнь*, удачно протимологизированный М. Рясняном: русск. *хрен*, укр. *хрін* (род. *хріну*) и гиперистично *хрон*, *хрѣну*, белорусск. *хрэн*, болг. *хрян*, серб.-хорв. *хрен*, словен. *hren*, чеш. *křen*, ст.-чеш. *chřen*, словац. *chren*, польск. *chrzan*, *krzan* он выводил из болгарского источника (ср. чуваш. *хёрэн* «хрен», дословно «жгучий», причастие от глагола *хёр* «накаляться») в соответствии с древнетюркским *кыз* «краснеть, пламенеть, багроветь»<sup>14</sup>. Уже через славянское посредство слово распространилось по языкам Европы: литов. *kriėnà* (ж. р.) и *kriėnas* (м.р.), нем. *Kren* (наряду с *Meerrettich*), итал. *crepno*, франц. *cran*, новогреч. *χράνος* (при *жерáiv* у Теофраста). Луговое марийское *крен* заимствовано из русского языка, а горное *йрэн* восходит к чувашской форме, подобно татарскому и башкирскому *керэн*, которые, правда, иногда ошибочно возводятся к русскому *хрен*<sup>15</sup>.

Несколько неожиданным представляется болгарское происхождение половецкого имени *Шаруканъ* (*Шароканъ*, *Шараканъ*) и производного от него названия кочевнического города *Шаруканъ* в соответствии с кыпчакским апеллятивом *саз(a)ган* «змея, дракон». Болгарский апеллятив представлен в венгерском *sárkány* «змея, дракон». Отзвуки этого половецкого имени сохранились в виде кальки в названии города Харьковской обла-

<sup>12</sup> G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, II, Wiesbaden, 1965 (далее — Doerfer), стр. 337—341.

<sup>13</sup> И. Г. Добродомов, Книга, «Русская речь», 1971, 5.

<sup>14</sup> M. R ä s ä n e n, Slav. хрѣнь «Meerrettich», «Festschrift für W. Eilers», Wiesbaden, 1967, стр. 558.

<sup>15</sup> Л. З. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, II, СПб., 1871, стр. 120.

сти *Змиев*, расположенного в районе знаменитых Шаруканских походов, а также в собственном личном имени (отчестве) былинного *Змея Тугарина* (*Тугарина Змиевича*). Правда, в имени былинного персонажа отразилась, вероятно, также память о современнике знаменитого Шарукана — другом половецком князе Тугоркане. Булгарские элементы в половецком словаре и ономастике связаны, безусловно, со следами болгарского субстрата в тюркских языках южнорусских степей. Булгарские истоки личного имени *Шарукань* подтверждаются не только ротацизмом, но и соответствием *с* — *ш* между прочими тюркскими языками и болгарско-чуваским. Уже из венгерского языка заимствованы чешские и словацкие названия дракона *žarkan, šarkan, žiarkaň*, украинское *шаркан, харкан* «змей, дракон», а также семантически изменившееся *шаркан* «сильный ветер, буря»<sup>16</sup>.

Как установил М. Ряснен, к болгарскому источнику восходят др.-русск. *ковъръ*, русск. *ковёр* (*ковра́*), укр. *ковёр* (род. *ковра́*), *кобёр* (род. *кобра́*), польск. *kobierzec*, словацк., чеш. *koberec*. Все эти славянские слова отражают дальнейшее развитие форм \**ковъръ*, \**кобъръ*, восходящих к болгарскому ротацистическому соответствию \**кавир* тюркского названия ковра типа древнетюркского *кевис*<sup>17</sup>. Колебания фонемного состава слова на славянской почве (*б* — *в*) обнаруживают заимствованный характер слова и не дают оснований для этимологизации этого бродячего слова на почве славянских языков.

К числу слов с алтайско-булгарским ротацизмом принадлежит русско-белорусский диалектизм *юра́га* «пахтанье; осадок при топлении сливочного масла», убедительно проэтимологизированный на болгарской почве О. Н. Трубачевым. Прототип этого слова, а также венг. устар. *írб* «сыворотка» и марийск. *йыра́* «пахтанье» обнаруживается во втором компоненте чувашского названия молозива *ёне йрри*, имеющем соответствия типа татар. *уыз*, др.-тюрк. *агуз* «молозиво» не только в тюркских языках, но и на монгольской почве (\**uurag*)<sup>18</sup>. Необычное для тюркизов ударение в этом слове объясняется наращением окончания *-а*, которое ударения не получило (ср. также *бра́га, кнѣга, верѣга*),

К болгарскому ротацистическому источнику возводится русское *овраг* (из более раннего *врагъ*), соотнесенное уже Н. И. Ашмариним с чуваш. *варак* «дупло дерева; промоина, овражек; продольное углубление»<sup>19</sup>, а последнее является точным фонетическим соответствием тюркскому диминутиву от *о́з* [= чуваш. *вар* в составе *тип вар* «овраг (безводный), дол, суходол, лог, сухое русло ручья»], подобному казах. *өзек* «речка, иногда выходящая; долина». Правда, ввиду исходной для русского языка формы \**вьрагъ*<sup>20</sup> < \**viragъ*, ее следует возводить не к современному чувашско-

<sup>16</sup> Н. И. З а й ц е в а, По поводу некоторых тюркизов в чешской и словацкой мифологической лексике, «Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках. Тезисы докладов Второго симпозиума (25—27 ноября 1969 г.)», Минск, 1969, стр. 26; И. П а н ь к е в и ч, Закарпатський діалектний варіант української літературної мови XVII—XVIII вв., «Slavia», XXVII, 2, 1958, стр. 179.

<sup>17</sup> М. R ä s ä n e n, Der Wolga-bolgarische Einfluß im Westen im Lichte der Wortgeschichte, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXIX, 1946, стр. 196; более строго: М. Р я с н е н, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 114 (отделены названия войлока, кошмы). Огласовку древнетюркского *kiviz, k'iwiz* в «Древнетюркском словаре» (Л., 1969, стр. 311; далее — ДТС) целесообразно исправить на *кевис*, учитывая алт. *кебис*, тув. *хевис*, хакас. *кибис*, ногайск. *куьйиз* (ср. *ев* ~ *йй* «дом»).

<sup>18</sup> О. Н. Т р у б а ч е в, Об этимологическом словаре русского языка, ВЯ, 1960, 3, стр. 66.

<sup>19</sup> Н. И. А ш м а р и н, Словарь чувашского языка, V, Чебоксары, 1930 (далее — Ашмарин), стр. 174.

<sup>20</sup> Ф. П. Ф и л и н, Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк, Л., 1972, стр. 534—535.

му *вараж* или его прототипу, а к другому болгарскому диалекту, где соответствующее слово было представлено в форме \**вираж* с вокализмом, как в современном казанско-татарском. Зато к чуваш. *вараж* оказываются чрезвычайно близкими почти общеповолжское русск. диалектн. *вараж* «овраг», также *вараг* и испытывшее контаминационное взаимодействие с *байрак*, *буерак* тоже поволжское *бараж* „овраг“. Из-за того, что русская форма *овраг* сравнительно моложе формы *вараж*, из которой она и возникла в результате переразложения предложно-падежных форм типа \**въвърагъ* > *во вараж* > *е овраг* (ср. аналогичное развитие у диалектной формы *отворник* <sup>21</sup>), отпадает недавно предложенная М. Рясняном этимология для русск. *овраг* в связи с др.-тюрк. *ограг*, *огруг*, *овруг* «изгиб, пережат, седловина» (ДТС, 363, 364, 374) и турецк. *убрук* «глубокая долина, низменная земля, низменность» (последнее сравнение сделано еще В. В. Радловым) (Räsänen, EW, стр. 358).

Возможно, большую роль болгарской торговли в Восточной Европе отражает специфический торговый термин, известный особенно в западнорусской (прежде всего на белорусской территории), а также в русской и польской письменностях в формах *тах(ъ)ръ*, *тахеръ*, *тахиръ*, *tacher*, *тахель*, *тахиль* и употреблявшийся в качестве счетной торговой единицы для ножей, топоров и белок. Фонетически этот термин полностью совпадает с наименованием довольно престижного у тюрков числа «девять» с болгарским ротацизмом: чуваш. *тăххӗр*, *тăхӗр* при тюрк. *тоғыз*. Правда, принятию этой этимологии мешает отсутствие сведений относительно употребления девятки в качестве счетной единицы у тюрков.

По разысканиям Э. Боева, болг. диалектн. *самсур* «нелюбезный, непристойный», где тюрк. *сан* «счет, число, честь, достоинство» в болгарской форме *сам* сочетается с привативным суффиксом *-сур* (ср. татар. *-сыз*), представляет собой своеобразный болгаризм болгарского языка с явным болгарским ротацизмом <sup>22</sup>.

Русский астраханский, саратовский и донской диалектизм *бирюк*, *бирючок* «бычок на втором году» скорее всего связан с калмыц. *бирб* «двухлетний теленок», а не с чуваш. *пӑру* «теленок (вообще)», соотносительным с кыпчакской формой *бузау* (откуда в русских говорах *бузавик*, *бузавок*, *бузьвик*, *бузевок* и т. п.). Ср. также венг. *borjú* «теленок», марийск. *презе* «теленок».

Отражение ротацизма есть в русском сибирском *күрна* «черногруд, крупный хорь Южной Сибири, с кошку, зовут его и дикой кошкой» (Даль, II, 223), сопоставимом с тюркским названием хорька *күзән* (Räsänen, EW, стр. 312), ротацизирующий вариант которого отражен в венг. *gö-rényu* «хорь, хорек, вонючка». Но особенности огласовки сибирского русского диалектизма заставляют видеть в нем скорее монголизм. Фонетически ближе всего к сибирскому *күрна* стоит калмыцк. *kurnae* «*mustela putoris*» (из материалов П. С. Палласа) <sup>23</sup>.

Славянские болгаризмы с проявлением алтайско-болгарского ротацизма, несмотря на их сравнительную малочисленность, позволяют выявить одну характерную фонетическую черту ранних болгаризмов, которая не могла быть обнаружена на финно-угорском материале. Речь идет об отсутствии даже следов палатализации в славянских отражениях болгарского *р*, соответствующего тюркскому *з*. Согласный *з*, по Г. И. Рамstedту, получал-

<sup>21</sup> В. А. Богородицкий, Очерки по языковедению и русскому языку, 4-е изд., М., 1939, стр. 154—156.

<sup>22</sup> Е. Боев, За предтурского тюркско влияние в българския език — още няколко прабългарски думи, БЕ, XV, 1, 1965, стр. 15.

<sup>23</sup> См.: Z. Gomboš, Die bulgarisch-türkische Lehnwörter in der ungarischen Sprache, MSFOu, 30, Helsinki, 1912, стр. 73.

ся из палатализованного  $p'$ . В славянских языках палатализованный  $p'$  характеризуется большой древностью: этот звук возник в праславянский период довольно рано и был свойствен ранней стадии развития всех отдельных славянских языков, когда, вероятно, имели место болгарские заимствования, обычно присущие далеко не всем славянским языкам. Следовательно, в момент заимствования болгаризмов славянами болгарский язык имел уже отвердевший согласный  $p$ , подобный соответствующему звуку современного чувашского языка, а это позволяет говорить, что уже тогда болгарский язык противопоставлялся прочим тюркским языкам, даже если принять предположение Н. Н. Поппе о позднем развитии зетацизма.

2. «Булгарско-чувашский ротацизм» и его стадии в тюркизмах славянских языков. В соответствии  $\dot{y}$ ,  $z$ ,  $\dot{z}$ ,  $t$ ,  $\delta \sim p$  возникновение булгарско-чувашского  $p$  из исходного  $\delta$  проходило через ступень спирантов  $\dot{z} > z$ , причем эта промежуточная фрикативная ступень проявляется в некоторых болгаризмах венгерского языка, где в отдельных случаях также отражено и более древнее исходное состояние  $-\delta-$ . То же самое касается и болгаризмов в славянских языках.

Проблема «булгарско-чувашского» ротацизма в связи с историей интервокального  $-\delta-$ , изменявшегося в  $-\dot{z}- > -z- > -p-$ , привлекала внимание преимущественно исследователей болгаризмов венгерского языка по части этимологизации в нем булгарского наследия. М. К.-Палло в специально посвященной этому сложному вопросу статье<sup>24</sup> не касается славянского материала, хотя он может дать некоторые сведения относительно булгарской фонетики после прекращения венгерско-булгарских контактов в конце IX в.

Пытаясь установить абсолютную хронологию булгарско-чувашского ротацизма ( $\delta > p$ ), И. Маркварт решал вопрос не столько на основании древних заимствований из булгарского источника в русский язык (*трунове*, *Сурожь* — см. об этом ниже), сколько на показаниях составленной в 1313 г. в Египте арабско-тюркской грамматики Абу Хайяна Мухаммада ибн Йусуф ал-Андалуси ал-Гарнати; материал же этой грамматики указывает на произношение в булгарских словах  $-\dot{z}$  в соответствии с тюркским  $-\dot{y}$  (хотя источники сведений Абу Хайяна о булгарском языке неизвестны). На этом основании И. Маркварт относит появление булгарско-чувашского ротацизма к XIV в., а появление ступени  $z$  — ко времени Махмуда Кашгарского (XI в.). В русских же отражениях *трунове*, *Сурожь* И. Маркварт предполагал маловероятную субституцию согласного  $-\dot{z}$  (отсутствующего в передаче русских) привычным  $-p-$ <sup>25</sup>, что не встретило поддержки у последующих исследователей.

Еще более категорично за позднее развитие чувашского ротацизма из зетацизма высказался И. Бенцинг, объединивший развитие соответствий  $p \sim z$  и  $p \sim \delta$ ,  $\dot{y}$ ,  $t$ ,  $z$ ,  $\dot{z}$ , но данные Махмуда Кашгарского о булгарском языке, на которые опирался И. Бенцинг, были признаны недостоверными<sup>26</sup>.

Г. Дёрфер дает следующую хронологизацию этого процесса: в VIII в. еще был  $-\delta-$ , к X в. — звук, близкий к  $z$  (через ступень  $\dot{z}$ ), далее  $pz$  (*рж*) в XIII в. и в XIV в. уже  $p$ ; для сочетания  $-\delta\dot{z}-$  он устанавливает упрощенную схему:

<sup>24</sup> М. К.-Palló, Die mittlere Stufe des tschuwaschischen Lautwandels  $d > \delta > > r$ , UAJb, 43, 1971; см.: e e ж e, Hungaro-Tschuwaschica. 2. Zur Chronologie des tschuwaschischen Lautwandels:  $d > r$ , UAJb, XXXI, 1959.

<sup>25</sup> J. Markwart, Kultur- und sprachgeschichtliche Analekten II. Das Alter des bulgarischen Wandels des alttürkischen  $d > r$ , «Ungarische Jahrbücher», IX, 1, 1929.

<sup>26</sup> См.: O. Pritsak, Kāšgaris Angaben über die Sprache der Bolgaren, ZDMG, 109 (N. F. 34), 1, 1959.

-ад-> (XIII в.) з > (XIV в.) р<sup>27</sup>, что не вполне согласуется со славянским материалом.

По фонетической черте (-д-, не изменившемся в -з- > -ж- > -р-) следует признать наиболее древним заимствованным болгаризмом русск. диалектн. *кодман* рязанск., тульск. «суконный, особ. синий, женский пун», рязанск. «женская накидка из понитка, как широчайшая рубаша, но без проема для головы, мешок с рукавами; накидывается как есть вдвое, на спину, в ненастье на голову, а рукава спускаются по плечам вперед» (Даль II, 130). Вместе с венг. *ködön* «полупубок» русск. *кодман*, известное уже с XII в., возводится к болгарскому \**kädmän* > \**кадман*. Передний вокализм венг. *ködön* (народноэтимологическое сближение с *köd* «туман, мгла») по сравнению с русским задним вокализмом в *кодман* отражает более старое состояние. Встречающееся в древнерусском языке написание *кѣдманъ* с -ѣ- следует рассматривать как гиперизм. Серб.-хорв. *кедмен*, приведенное К. Менгесом по Э. Бернекеру, восходит к венг. *ködön*<sup>28</sup>. Впрочем следует также учитывать предполагаемую К. Менгесом возможность субституции славянским и венгерским -д- тюркского -з-, отражающего уже следующую ступень эволюции в сторону з > р. Не связано ли наличие д в этом слове с положением звука перед согласным, где он сохранялся (в отличие от интервокальной позиции)?

На первый взгляд кажется, что аналогичное происхождение имеет -д- в русском слове *курдюк* «жировое отложение в задней части туловища, у хвоста, у некоторых пород овец», сопоставляемом с тюркским названием хвоста типа др.-тюрк. *кудруқ*, *кузруқ* «хвост; задняя часть, зад», хакас. *хузурух*, кирг. *куйрук*, якут. *кутурук* (примеры отражают все этапы развития соответствия д - з - т - й ~ р.). Но метатеза сочетания др → → рд не объясняет, почему произошло смягчение согласного д > д'. В связи с этим можно выдвинуть предположение о развитии сочетания рд из геминаты рр (или скорее р'р'), которая могла возникнуть на болгарской почве в результате изменения д в р (или, что менее вероятно, в результате ассимиляции й последующему р), причем диссимиляция имела место уже на русской почве. Чувашский язык также утратил здесь геминату, но лишь путем ее упрощения: рефлексы этого тюркского слова в чувашском языке [*хйре* «хвост, конец», диалектн. *хёре* = *хйре* — Ашмарин, XVII (1950), 14; *хивре* «хвост» — Ашмарин, XVI (1941), 119] красноречиво об этом свидетельствуют<sup>29</sup>.

Одно из древнейших датированных отражений болгарско-чувашского ротацизма (р < д) содержится под 1230 г. в Троицкой летописи. Это болгарский титул \**турун*, зафиксированный Троицкой летописью в форме мн. числа *трунозе* (с русским окончанием -ове). В русском языке это слово, судя по его фонетике, было известно задолго до этого, еще в период наличия в нем редуцированных: *трунове* < \**търун(ове)* < булг. \**турун*. Слово имеет довольно значительную литературу. Н. И. Ашмарин увязал этот титул с чувашской топонимикой, а в разборе взглядов ученого Б. Мункачи нашел этому титулу тюркское соответствие [др.-тюрк. *тудун*, *тузун* «распорядитель; тот, кто распределяет в селении воду в арыках»; ср. также *тутун* «тутунг, название должности (правитель области) и титул (компонент имен собственных)», последнее из кит. *дутун*, *to-thon* — ДТС,

<sup>27</sup> G. Doerfer, II, стр. 523. Несколько иную датировку см. там же, т. III (1967), стр. 208: д или з (VIII—IX вв.) > з (X—XI вв.) > р или рз (XIII в.).

<sup>28</sup> K. H. Menges, Schwierige slavisch-orientalische Lehnbeziehungen, UAJb, XXXI, 1959, стр. 182—183.

<sup>29</sup> О ностратических соответствиях и морфологическом строении тюркского *куд(у)-рук* см.: В. М. Иллич-Свищич, Опыт сравнения ностратических языков, М., 1971, стр. 327—328.

584, 593]. Независимо от Б. Мункачи, а также друг от друга аналогичную работу проделали А. А. Шахматов и А. Н. Самойлович<sup>30</sup>.

Вторая ступень развития болгарско-чувашского ротацизма представлена в этимологически изолированном слове — топониме *Азов*, которое возводится к тюрк. *адақ, азақ, айақ* «нога» и «устье реки». Из формы *азақ*, «устье реки», с параллельным вариантом *азаг*, произошла ранняя болгарская форма *азаў*, перешедшая в русск. *Азов*<sup>31</sup>. Следует заметить, что закрепление названия *Азақ* и превращение его в *Азаў* связано со сменой тюркских языков — болгарского кыпчакским.

Одним из старых показателей наличия болгарско-чувашского ротацизма можно считать общеславянское (хотя с некоторыми фонетическими расхождениями в оформлении исхода слова) название дрофы (русс. *драхва́, драфа́, дрохва́, дрофа́* и т. п., укр. *дрѣхва, дрѣфа*, белорусск. *драфа́, болг. дрѡпла, серб.-хорв. дрѡпла*, словен. *drǒplja*, чеш. *drop*, ст.-чеш. *drofa, dropfa*; словацк. *drop*, польск. *drop*, ст.-польск. *drop, dropia* и т. п.), болгарская этимология которого была установлена М. Рясняном<sup>32</sup>. На основе общетюркской формы *тогдақ* М. Ряснян восстановил для чувашского языка форму *\*тѣрах* (у М. Фасмера — I, 542 русск. издания; I, 372 немецкого — ошибочно дана как реальная — без астериска), более старая форма которой *\*тѣрах<sup>w</sup>* с кратким *y* и лабиализованным *x* легла в основу славянских форм — в них гласный начального слова превратился в ъ с последующим его исчезновением. Падение так называемых редуцированных гласных ъ, ь началось в славянских языках после IX в. на южной территории и далее распространилось на север<sup>33</sup>. Следовательно, название дрофы было заимствовано славянами до начала этого процесса, т. е. до X в. Отсюда новое уточнение в датировке болгарско-чувашского ротацизма IX веком. Любопытно, что более ранний болгаризм венгерского языка *tízok* «дрофа» с *z* еще сохраняет долготу гласного в начальном слоге, сокращающуюся к моменту заимствования слова славянами.

Вероятно, восходит к иному болгарскому диалекту древнерусская ротацистическая форма названия крымского города Судака — *Сурожь* < <булг. *\*Сурог* + славянский притяжательный суффикс *\*-ий* в соответствии со старым *Судедақ*<sup>34</sup>. В болгарском диалекте — источнике древнерусского *Сурожь* — не было сокращения долготы в первом слоге, который в силу своей долготы перетянул на себя ударение на русской почве. О более раннем вхождении этого слова в язык восточных славян по сравнению со словом *дѣрофа* говорить пока не приходится, ибо топоним, кажется, известен только древнерусскому языку.

В работах, где затрагивается вопрос о «болгарско-чувашском ротациз-

<sup>30</sup> Н. И. Ашмарин, *Болгары и чуваша*, Казань, 1902, стр. 17, 66; В. Мункачи, *A volgai bolgárokról*, «Etnographia», XIV, 1903, стр. 66—76, 147—152, 261—265, особенно стр. 72—73. См.: А. А. Шахматов, Заметка об языке волжских болгар, «Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук», V, 1, 1918; А. Н. Самойлович, Турун — тудун (Еще пример тюрко-болгарского ротацизма), там же. Ср. также: Doerfer, III, стр. 207—210. Н. Н. Поппе в рецензии на кн.: D. M. Dunlop, *The history of the Jewish Khazars* (Princeton, 1954), противопоставляя булг. *\*турун* и хазар. *тудун*, говорит об отличии хазарского языка от болгарского («Central Asiatic Journal», I, 2, 1955, стр. 157).

<sup>31</sup> См.: Hadzy Mehmed Senai z Knymu, *Historia Chana Islam Gereja III*, wydał Z. Abrahamowicz, Warszawa, 1971, стр. 164. Ср.: Н. К. Дмитриев, Соответствие *p || θ || t || s || z || й*, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков». Ч. I — Фонетика, М., 1955, стр. 328.

<sup>32</sup> M. Räsänen, *Der Wolga-bolgarische Einfluss...*, стр. 196; дополнительный материал см.: Doerfer, II, 519—524; И. Г. Добродомов, Дрофа — дудак. Этимологические заметки, «Русская речь», 1968, 4.

<sup>33</sup> См.: Р. Нахтигал, *Славянские языки*, М., 1963, стр. 145—146.

<sup>34</sup> См.: H. Menges, *The Oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos «The Igor» Tale* (Slovo o rьku Iгореvѣ), New York, 1951, стр. 47—49.

ме» (соответствие  $p \sim \dot{y}, \delta, t, z, \dot{z}$ ), уже сложилась традиция рассматривать раздельно примеры с реконструированным исходным  $-\delta-$  и примеры с исходным сочетанием  $-r\delta-$ , что представляется не вполне правомерным, поскольку заднеязычные согласные в исходе слога на болгарской почве довольно рано утрачивались<sup>35</sup> и дентальный  $-\delta-$  становился интервокальным и имел общую судьбу с исконным интервокальным  $-\delta-$ . Другие же тюркские языки значительно дольше сохраняли  $-r-$  в этом положении, поэтому в сочетании с ним согласный  $-\delta-$  имел иную судьбу, чем в интервокальной позиции. Следует, правда, учесть возможное влияние заместительной долготы предшествующего гласного на соноризацию  $-\delta-$ , но вопрос о влиянии долгот на развитие болгарско-чувацкого ротацизма пока еще не ставился. Возможно, архаичность фонетики ( $\delta$ ) в слове *кодман* объясняется так же.

Для хронологизации перехода  $-\delta- > -\dot{z}- > -r-$  было бы чрезвычайно важным пересмотреть вопрос о происхождении севернославянского слова *буда*, *будка*, которое по традиции выводится из средневерхнемецкого *biude* «шалаш, палатка», хотя высказываются также предположения об обратном направлении заимствования<sup>36</sup>. С этим восточнославянским строительным термином М. Ряснен связал поволжские названия сруба и закрома (чуващ., марийск. *пура*, татар., башк. *бура*), считая их результатом проявления лексически ограниченного чувацкого ротацизма ( $-\delta- > -r-$ ), распространенного вместе со словом путем заимствования<sup>37</sup>. Правда, в «Опыте этимологического словаря тюркских языков» М. Ряснен отказался от этого сравнения в пользу не менее проблематичной связи с древнетюркским (по Махмуду Кашгарскому) *бурга-* «раскалывать, разрушать», *бугар-* «надрубать, делать зарубку» (ДТС, 120; Räsänen, EW, стр. 78: с огласовкой  $-o-$ ) и якутским *буогара* «перехват (у трости); излучина (дороги)», «обшивка (у дверного порога, у камелька)».

Рассмотрение славянских данных с отражением развития болгарско-чувацкого ротацизма на разных этапах его развития также позволяет на собранном нами материале сделать вывод о том, что и здесь болгарские слова не обнаруживают следов палатализованности у рефлексов древнего  $-\delta-$ , если отвлечься от единственного случая в слове *курдюк*, для которого возможно также иное объяснение. Во всяком случае, отражение всех стадий развития болгарско-чувацкого ротацизма (в соответствии  $p \sim \dot{y}, z, \dot{z}, \delta, t$ ) указывает на звонкость соответствующего согласного, почему никак нельзя согласиться с болгарской этимологией гидронимического названия *Битюг*<sup>38</sup> (от прилагательного со значением «рослый, высокий»: др.-тюрк. *bedük, bezük*; тув. *bedik* «высокий», хакас. *pözik* «высокий», кумык. *бийик* «высокий»; (?) якут. *bötöçkös, bödöçkös* «крупный, довольно взрослый»), ибо якутская фонетическая черта — оглушение  $\delta > t$  — болгарскому языку не была свойственна.

В нашей статье еще раз подчеркивается общеизвестная, но на практике зачастую игнорируемая мысль о том, что заимствования из какого-либо языка в соседних языках представляют собой весьма ценный материал для истории этого языка. В рассмотренных случаях болгаризмы славянских языков позволяют по-новому осветить хронологию и историю ротацизма.

<sup>35</sup>  $\dot{r}$  в сочетании  $r\delta$ , вероятно, следует объединять с заднеязычными в исходе слова, которые в речевой цепи фактически оказывались при соединении с аффиксами внутри слова, но традиционно рассматриваются как конечные. О судьбе болгарских заднеязычных в конечной позиции см.: A. R. b n a-T a s, On the Chuvash guttural stops in the final position, «Studia turcica», Budapest, 1971.

<sup>36</sup> V. M a c h e k, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1971, стр. 61.

<sup>37</sup> M. R ä s ä n e n, Wortgeschichtliches zu den Sprachen der Wolga-Völker. I, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXVI, 2—3, 1939—1940, стр. 131—133.

<sup>38</sup> Е. С. О т и в, Из этимологических исследований донской гидронимии, «Этимология. 1970», М., 1972, стр. 232—233.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ИНТЕРФИКСАХ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В последние годы в исследовании русского словообразования наметилось направление, исходящее из того общего положения, что не всякая часть слова обладает самостоятельным значением. Это направление представлено прежде всего работами Е. А. Земской «Интерфиксация в современном русском словообразовании»<sup>1</sup> и «Рост интерфиксации»<sup>2</sup>.

Здесь мы рассмотрим не все «интерфиксы», о которых пишет Е. А. Земская, но лишь «интерфиксы» в наименованиях лиц по их отношению к местности, стране, городу, учреждению, организации, общественному движению и т. п., т. е. в словах типа *новгородец, ленинградец, читинец, кабардинец, орловец* (житель г. Орла), *нахимовец, суворовец, мхатовец, вузовец, толстовец* и т. п. Эти слова с точки зрения словообразовательной системы языка произведены не от названия города, страны, учреждения, фамилии и т. п., а от той основы, от которой образуются прилагательные на *-ский*, выражающие значение отношения<sup>3</sup>. Прилагательные на *-ский* типа *ленинградский, орловский, читинский, нахимовский, мхатовский, вузовский, толстовский* и т. п. выражают категорию отношения к городу, стране, учреждению, фамилии и т. п., а существительные на *-ец* означают лицо, названное по его отношению к городу, стране, учреждению, фамилии и т. п. При этом наблюдается строгая закономерность, не имеющая исключений: *ленинградский — ленинградец, читинский — читинец, ярославский — ярославец, орловский — орловец, европейский — европеец, конголезский — конголезец, неаполитанский — неаполитанец, генуэзский — генуэзец, уфимский — уфимец, норвежский — норвежец, эстонский — эстонец, американский — американец, пензенский — пензенец, нахимовский — нахимовец, мхатовский — мхатовец* и т. п.

Как видим, здесь к одной и той же именной основе присоединяется то суффикс прилагательного *-ск(ий)*, то суффикс существительного *-ец*: *орловский, орлов-ец; новгород-ский, новгород-ец*. Ударение у всех существительных на *-ец* и прилагательных на *-ский* всегда совпадает, что также свидетельствует о несомненной корреляции этих слов в словообразовательной системе русского языка. Е. А. Земская в рассматриваемых работах не учитывает обязательности этой корреляции.

Суффиксы *-ов-* в *орловский — орловец* (ср. *Орел*), *-ин-* в *читинский — читинец* (ср. *Чита*), *-ан-* в *американский — американец* (ср. *Америка*), *-ей-* в *европейский — европеец* (ср. *Европа*), *-эз-* в *генуэзский — генуэзец*

<sup>1</sup> Сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964 стр. 36—62 (далее — 1).

<sup>2</sup> Раздел из второй главы коллективной монографии «Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка», под ред. М. В. Панова, М., 1968, стр. 40 и сл. Книга написана под руководством Е. А. Земской (далее — 2).

<sup>3</sup> Подробнее см.: А. А. Дементьев, Наименование лиц по местности с суффиксом *-ец*, РЯШ, 1946, 2, стр. 35—41; е г о ж е, Очерки по словообразованию имен существительных в русском языке. ДД, Куйбышев, 1960, стр. 380 и сл.

(ср. *Генуя*), *-итан-* в *неаполитанский* — *неаполитанец* (ср. *Неаполь*) и т. п. являются обычными суффиксами производящей именной основы. Е. А. Земская считает их не суффиксами, а «интерфиксами». Она пишет: «Нет оснований... считать объединение этих промежуточных звуковых комплексов и суффиксов новыми производными суффиксами и выделять такие суффиксы, как *-овец*, *-инец*, *-анец*, *-ианец* (наряду с суффиксом *-ец*), *-овск*, *-инск*, *-анск*, *-ианск* (наряду со *-ск*)... Ведь эти суффиксы не имеют никакого нового значения по сравнению с суффиксами простыми. Правильнее — и с точки зрения более точного понимания структуры слова, и с точки зрения удобства анализа — рассматривать эти элементы как особые строевые части слова, связывающие корень (или основу) и словообразовательный суффикс. Термины, применяемые для их названия в научной литературе, разнообразны: пустые морфемы, связочные морфемы, интерфиксы, „вставки“, „прокладки“... В дальнейшем в работе будет использоваться термин интерфикс, который удобен тем, что состоит из одного слова и по своей структуре ставится в один ряд с терминами префикс, суффикс, постфикс» (1, стр. 41—42). Далее говорится: «Интерфиксы можно определить как части слова, не имеющие самостоятельного значения и выступающие как строевые средства языка, функция которых состоит в соединении морфем в слове» (там же). Таким образом, признается существование в слове звуковых комплексов типа *-ов-*, *-ин-*, *-ан-*, *-ээ-*, *-итан-* и др., которые никакого отношения к значению слова не имеют.

Какую же роль играют «интерфиксы» в слове, являющемся единством звучания и значения?

Е. А. Земская пишет: «Интерфиксы, начинающиеся гласными, соединяют основы, кончающиеся согласными, и суффиксы, начинающиеся согласными, устраняя скопление согласных на морфемном шве: *сестра* — *сестр-ин-ск-ий*, *Ялта* — *ялт-ин-ск-ий*, *Чаква* — *чакв-ин-ск-ий*, *Бугульма* — *бугульм-ин-ск-ий*, *Можга* — *можг-ин-ск-ий*» (1, стр. 45). Однако это верно далеко не для всех случаев.

В прилагательных на *-ский* суффикс *-ин-* действительно облегчает произношение, избавляя его от скопления согласных (иначе было бы *ялтский*, *бугульмский* и т. п.). Известны случаи, когда во избежание скопления согласных вместо одного суффикса употребляется синонимичный ему суффикс. Например, вместо суффикса *-ка* (*горка*, *травка*) после основ на два согласных употребляется суффикс *-очка*: *ванночка*, *кисточка*, *звездочка*, *весточка*, *лампочка*, *тумбочка* и т. п. Однако в соответствующих прилагательному на *-ский* существительных на *-ец* (*ялтинец*, *бугульминец*, *ухтинец*, *ельнинец*, *кабардинец*) нет труднопроизносимого скопления трех согласных, а суффикс *-ин* все же обязателен. Следовательно, употребление его связано не только с условиями произношения.

Суффикс *-ин-*, противореча положению Е. А. Земской, обязателен и в тех словах, в которых перед *-ин-* отсутствуют два согласных: *Чита* — *читинский* — *читинец*, *Куба* — *кубинский* — *кубинец*, *Баку* — *бакинский* — *бакинец*, *Хива* — *хивинский* — *хивинец*, *Тува* — *тувинский* — *тувинец* и т. п.

Русский язык знает примеры скопления трех согласных в прилагательных на *-ский*, причем от этого скопления избавляются существительные на *-ец*: *Самарканд* — *самаркандский* — *самаркандец*, *Оренбург* — *оренбургский* — *оренбуржец*, *Коканд* — *кокандский* — *кокандец*, *Ташкент* — *ташкентский* — *ташкентец*.

Таким образом, сводить наличие «интерфиксов» к требованиям произношения и отказывать им в собственном значении было бы неправильно. Они прежде всего призваны обеспечивать ясность значения слова в процессе общения.

По происхождению суффиксы *-ин-* и *-ов-* — это суффиксы притяжательных прилагательных. Не случайно, что суффикс *-ин-* употребляется при основах склонения на *-а, -я*: *Чита — читинский — читинец*, *Ельня — ельнинский — ельницец*, *Куба — кубинский — кубинец*, *Ялта — ялтинский — ялтиненец*, *Хива — хивинский — хивинец*, *Кабарда — кабардинский — кабардиненец*, *Алма-Ата — алмаатинский — алмаатинец* и т. п., а суффикс *-ов-* (*-ев-*) — при основах склонения на согласный: *Орел — орловский — орловец*, *Котлас — котласовский — котласовец*, *рабфак — рабфаковский — рабфаковец*, *вуз — вузовский — вузовец*, *Спартак — спартаковский — спартаковец*, *местком — месткомовский — месткомовец*, *МХАТ — мхатовский — мхатовец* и т. п. Как известно, именно так и образуются притяжательные имена прилагательные: *папа — папин*, *мама — мамин*, *тетя — тетин*, но *отец — отцов*, *Вольт — вольтова дуга*, *Адам — адамово яблоко*, *Шекспир — шекспирова* (трагедия).

Однако почему в одних словах не требуется «интерфиксов», а в других они обязательны? Ср.: *Самарканд — самаркандский — самаркандец*, *Куйбышев — куйбышевский — куйбышевец*, *Ленинград — ленинградский — ленинградец*, *Новгород — новгородский — новгородец*, *Ташкент — ташкентский — ташкентец*, но *Чита — читинский — читинец*, *Орел — орловский — орловец*, *Куба — кубинский — кубинец*. Е. А. Земская этого вопроса не ставит. Вот возможный ответ на него.

Если производящая основа сама по себе хорошо обеспечивает выражение необходимого значения (города, страны и т. п.), «интерфиксов» не требуется: *Самарканд — самаркандский — самаркандец*, *Новгород — новгородский — новгородец*, *Ленинград — ленинградский — ленинградец*, *Женева — женеvский — женеvец*, *Холмогоры — холмогорский — холмогорец*, *Алтай — алтайский — алтаец*, *Ташкент — ташкентский — ташкентец* и т. п. Если же производящая основа сама по себе не способна обеспечить выражение необходимого значения, употребление «интерфикса» обязательно. Иначе появились бы семантически неясные слова типа *Чита — \*читский — \*читец*, *Куба — \*кубский — \*кубец*, *Орел — \*орльский — \*орлец*, *Баку — \*бакский — \*бакец* и т. п. В реальных словах с «интерфиксами» именно суффиксы *-ин-* и *-ов-* создают отнесенность слов на *-инец* с основами склонения на *-а -я*, и слов на *-овец* с основами склонения на согласный (*котласовец* связывается с *Котлас*, *богучаровец* с *Богучар*, *белебеевец* с *Белебей* и т. п.).

Без суффиксов *-ин-* и *-ов-* по причине многозначности суффикса *-ец* получились бы беспомощные, расплывчатые по значению слова типа *\*читец*, *\*бакец*, *\*кубец* и т. п., основа которых оставалась бы совершенно неясной (*чит?* *бак?* *куб?*). Лишь суффиксы *-ин-* и *-ов-* дают соответствующим образованиям твердую опору в значении.

Что касается основ несклоняемых слов типа *Баку — бакинский — бакинец*, *НАТО — натовский — натовец*, *Динамо — динамовский — динамовец*, *Монако — монаковский — монаковец*, которые нельзя соотносить ни с I, ни со II склонением, то здесь можно заметить следующее. Система соотносительности суффиксов *-ин-* и *-ов-* с основами соответствующих типов склонения возникла и утвердилась на базе русского лексического материала, а затем уже перешла на несклоняемые слова, обычно иноязычного происхождения. При этом от слов на *-о* типа *Монако*, *Динамо*, *НАТО* и т. п. прилагательные и наименования лиц стали оформляться при помощи *-ов-ец*, а в остальных случаях — при помощи *-ин-ец*: *Монако — монаковский — монаковец*, *Динамо — динамовский — динамовец*, но *Баку — бакинский — бакинец*, *Сочи — сочинский — сочинец*, *Улан-Удэ — уландундинский — уландундинец* и т. п. При аббревиатурных основах почти безраздельно господствует *-ов-ец*: *МХАТ — мхатовский — мхатовец*, *итээр* (ИТР) — *итээрров-*

ский — *итэзровец*, *жакт* — *жактовский* — *жактовец*, *РАПП* — *рапповский* — *рапповец*, *местком* — *месткомовский* — *месткомовец* и т. д.

Аналогично, как это заметил еще Г. Павский, уменьшительно-ласкательный суффикс *-ок (-ек)* бывает у основ на *г, к, х*, а суффикс *-ик* бывает у основ на *ж, ч, ш*: *берег* — *бережок*, *бык* — *бычок*, *орех* — *орешек*, но *еж* — *ежик*, *кирпич* — *кирпичик*, *шалаш* — *шалашик*. Только благодаря тому, что в системе русского языка суффиксы *-ок* и *-ик* строго соотнесены с основами на *г, к, х* и *ж, ч, ш*, форма *лучик* безошибочно соотносится со словом *луч*, а форма *лучок* со словом *лук*<sup>4</sup>. Такие примеры в языке не единичны.

Итак, суффикс *-ов-* является обязательным в следующих случаях: 1) при основах II склонения: *Орел* — *орловский* — *орловец*; 2) при основах несклоняемых существительных на *-о*: *Динамо* — *динамовский* — *динамовец*; 3) при аббревиатурных основах: *МХАТ* — *мхатовский* — *мхатовец*.

Суффикс *-ин-* обязателен в следующих случаях: 1) при основах I склонения: *Чита* — *читинский* — *читинец*; *Куба* — *кубинский* — *кубинец*; 2) при основах несклоняемых существительных, кроме существительных на *-о*: *Баку* — *бакинский* — *бакинец*, *Сочи* — *сочинский* — *сочинец*, *Улан-Удэ* — *уланудинский* — *уланудинец*.

Являются ли суффиксы *-ин-* и *-ов-* в рассматриваемых словах самостоятельными или они входят в сложные, производные суффиксы — *-инск(ий)*, *-инец*, *-овск(ий)*, *-овец*? Поскольку, как это было показано выше, эти суффиксы используются как дополнительные выразители категории отношения, их следует считать самостоятельными суффиксами. Об этом же говорит словообразовательная соотносительность с суффиксами притяжательных прилагательных<sup>5</sup>. Нетрудно видеть, как притяжательные прилагательные типа *шекспиров*, *эйштейнов*, *рентгенов* (луч) и т. п. превратились в современные прилагательные *шекспировский*, *эйштейновский*, *рентгеновский* и т. п., выражающие категорию отношения. При них вскоре появляются и наименования лиц типа *шекспировец*, *эйштейновец* и т. п.

В русском языке есть и другие случаи совместного употребления двух суффиксов для полного выражения определенного значения. Уменьшительно-ласкательный суффикс *-ок (-ек)* сам по себе не полностью выражает свое значение: *сынок*, *возок*, *грибок* и т. п. Для выражения полного значения уменьшительности при нем употребляется второй суффикс *-ек*: *сыночек*, *возочек*, *грибочек* и т. п. Суффикс *-ик* полностью выражает значение уменьшительности: *стол* — *стол*, *сад* — *сад*, *год* — *год*, *лист* — *лист* и т. п. и употребляется без дополнительного суффикса; формы типа *стол* — *стол*, *сад* — *сад*, *год* — *год* не свойственны русскому языку (кроме слов *ножик*, *ковшичек*, *дождичек*, существование которых объясняется тем, что исходные формы *нож*, *ковшик*, *дожд* сами по себе утратили значение уменьшительности). Не случайно что суффикс *-ик*, имеющий полное значение уменьшительности, вытесняет суффикс *-ок (-ек)* с неполным значением уменьшительности-ласкательности<sup>6</sup>.

Ряд других суффиксов — *-ен-* [в *пензенский* — *пензенец*, *варненский* — *варненец* (Варна)], *-им-* (в *уфимский* — *уфимец*), *эз-* (в *генуэзский* — *генуэзец*, *конголезский* — *конголезец*), *-ан-* (в *американский* — *американец*, *африканский* — *африканец*), *-итан-* (в *неаполитанский* — *неаполитанец*) и др., — согласно теории «интерфиксации», также являются «интерфиксами». С нашей точки зрения, это тоже обычные суффиксы, выступающие также в качестве дополнительных суффиксов к суффиксам *-ск(ий)*, *-ец* в сло-

<sup>4</sup> См. об. этом: А. А. Дементьев, Очерки по словообразованию имен существительных в русском языке, «Уч. зап. Кубышевск. пед. ин-та», 27, 1959, стр. 57 и сл.

<sup>5</sup> См.: «Грамматика русского языка», I, М., 1953, стр. 342.

<sup>6</sup> См.: А. А. Дементьев, Уменьшительные слова в русском языке, РЯШ, 1953, 5, стр. 10—11.

вах рассматриваемого типа. Все эти суффиксы требуют специального исторического исследования. Особенно это важно для иноязычных по происхождению суффиксов: *-ан-* в словах типа *африканский* — *африканец*, *-ез-* в словах типа *конголезский* — *конголезец*, *-итан-* — в словах типа *неаполитанский* — *неаполитанец* и др. Что касается интервокального *-j-* в прилагательных типа *верди-j-евский*, *россини-j-евский* (1, стр. 43, 56; 2, стр. 45), то это тоже не «интерфикс», а явление фонетическое, не имеющее отношения к словообразованию.

Таким образом, автор данной статьи приходит к выводу о том, что интерпретация суффиксов *-ов-* и *-ин-* как «интерфиксов» опровергается фактами русского языка.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

**А. Н. Жукова. Грамматика корякского языка. Фонетика и морфология. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1972. 322 стр.**

Монография А. Н. Жуковой является результатом ее многолетних исследований фонетического и грамматического строя корякского языка. Это исследование базируется в основном на материалах, собранных самим автором во время неоднократных экспедиций в Корякский национальный округ (см. «Введение») и характеризуется не только богатством анализируемых в нем фактов корякского языка, но и серьезной теоретической основой.

В монографии А. Н. Жуковой получены новые результаты по сравнению с предшествующими исследованиями в том, что касается характеристики, прежде всего, грамматической природы слов и частей речи и отчасти фонетического строя корякского языка.

В первой части «Фонетика. Фонология» дается описание системы звуков корякского языка, рассматривается его фонемный состав, дистрибуция фонем, сингармонизм и явления ассимиляции, а также слоговая структура слова и ударение. Здесь, в частности, уточняется фонемный состав корякского языка. А. Н. Жукова в отличие от предшествующих исследователей не считает фонемами гортанный смычный  $\text{ʔ}$  и неопределенный гласный  $\text{ə}$  (стр. 16—19). Поскольку гортанный смычный не играет в корякском языке смысловозначительной роли и отсутствуют минимальные пары, члены которых противопоставлялись бы по наличию и отсутствию гортанного смычного, с положением о его нефонематическом статусе можно согласиться. Что же касается  $\text{ə}$ , то, судя по примерам, приведенным А. Н. Жуковой (стр. 17), в корякском языке есть минимальные пары, члены которых различаются по наличию и отсутствию этого гласного (например:  $\text{ʔəʔʔ}$  «жара» —  $\text{ʔiʔʔ}$  «лед») и, следовательно, этот гласный играет смысловозначительную роль, т. е. обладает статусом фонемы.

Вторая, наиболее объемистая часть рецензируемой книги — «Морфология». Специальный раздел посвящен морфологической структуре слова корякского

языка. Здесь выделяются строевые элементы слова, различные типы морфем и различные виды моделей слов в зависимости от состава включаемых в них строевых элементов, а также способы словообразования.

В этом разделе, в частности, представляет интерес анализ так называемых конфиксов — это такое сочетание префикса и суффикса, оформляющих одну основу, которое используется для выражения одного грамматического (или лексического) значения (стр. 54—57).

При анализе словообразовательных процессов в корякском языке в монографии используется метод, называемый А. Н. Жуковой вслед за В. П. Старинным сводным морфологическим анализом. Применение этого метода направлено на выявление реального процесса словообразования и компонентов, участвующих в каждом конкретном акте словообразования, а не морфемного состава слова, возникшего в результате этого акта словообразования. Заслуживает внимания стремление автора разграничить эти принципиально различные явления.

В этом же разделе А. Н. Жуковой пересматривается вопрос о составе частей речи в корякском языке, а в последующих разделах дается детальная их характеристика, так же как их отдельных лексико-грамматических разрядов.

Следует прежде всего отметить, что в рецензируемой книге, в отличие от предшествующих исследований по чукотско-камчатским языкам, обосновывается наличие в корякском языке прилагательного как особой части речи с различными лексико-грамматическими группировками (качественные, относительные прилагательные и слова, обозначающие качественное состояние). К качественным прилагательным автор относит слова с конфиксом  $\text{ny-ʔin(a)-ʔən}$  (а), обозначающие «постоянный признак предмета и все качества и свойства предметов, воспринимаемые непосредственно органами чувств...» (стр. 146). Аналогичные образования в чукотском языке рассматриваются как один из разрядов имен

качественного состояния<sup>1</sup>, занимающих промежуточное положение между именными частями речи и глаголом. В корякском этот разряд слов образуется от основ самой различной семантики (от основ со значением качества — типа *ны-майыч-ҕин* «большой», от основ существительных — типа *ны-ҕэҕэҕы-ҕэн* — «морозный», ср. *ҕэҕэҕы* «мороз», от основ наречий — типа *ны-юлеҕ-ҕин* «продолжительный», ср. *юлеҕ* «долго», а также от основ переходных и непереходных глаголов) и характеризуется только именными категориями (лица и числа, а также падежа), поэтому, по-видимому, есть основание квалифицировать его как разряд прилагательных. В принципе те же основания позволяют рассматривать в качестве относительных прилагательных «слова, обозначающие признак предмета по его отношению к другому предмету, признаку или действию» (стр. 156) и образованные при помощи суффиксов *-ин(а)/-эн(а)*, *-кин(а)/-кэн(а)* и конфикса *э-/а-—лин(а)/-лэн(а)* от основ с различной категориальной семантикой (существительных, местоимений, наречий, глаголов). Вместе с тем едва ли можно согласиться с включением в состав прилагательных слов, обозначающих качественное состояние (стр. 166—172), которые образуются от основ качественных прилагательных и наречий при помощи конфикса *э-/а-—кэ/ка*.

Образования этого типа являются неизменяемыми и выступают только в функции сказуемого в отличие от качественных и относительных прилагательных, которым свойственна не только предикативная, но и атрибутивная функция.

В монографии пересматривается и состав некоторых других частей речи. Так, в отличие от ранее высказанной точки зрения о принадлежности слов с суффиксом *-ла'* к причастиям, А. Н. Жукова включает их как особый лексико-грамматический разряд («имя деятеля») в состав существительных, так как им свойственны те же грамматические категории и синтаксические функции, что и другим существительным (стр. 137—144).

В теоретическом отношении особый интерес представляет раздел «Грамматика», в котором рассматриваются слова-заместители и в особенности — с основами *никэ-/нэка-*, *нийкэ-/нэйка-*, *-еҕ/-яҕ*: они замещают в корякском языке не только имена, но и глаголы и другие части речи.

Как отмечает А. Н. Жукова, «заместительные слова в корякском языке представляют собой как бы микросистему частей речи с ограниченным лексическим составом, сформировавшуюся на основе

необходимости представления в связной речи каждого из членов предложения.

Так, словоформы с основами *никэ-/нэка-* и *нийкэ-/нэйка-* в своей совокупности охватывают систему морфологии корякского языка, представляют по существу модель морфологической системы» (стр. 183).

Возможность использования одной и той же основы в функции самых различных частей речи при соответствующем словоизменительном оформлении каждой из них наглядно характеризует агглютинативную природу слова в корякском языке и отсутствие резких разграничительных линий между частями речи в языках того типа, к которому принадлежит корякский язык.

Можно согласиться с автором в том, что «заместительные слова в корякском языке представляют собой не особый грамматический класс слов (часть речи), а систему специализированных по семантике и синтаксической функции слов, обеспечивающих надежную связь слов в предложении при любых условиях, в частности при „лексической недостаточности“, вызванной тем, что нужное слово с конкретной лексической семантикой не может быть произнесено, а также при своего рода „лексической избыточности“, когда слово с конкретной лексической семантикой только что употреблялось или хорошо известно участниками речевого акта» (стр. 182—183). Иначе говоря, слова-заместители в корякском языке, видимо, следует рассматривать как некую грамматическую группировку слов, не имеющих номинативного значения. Эта группировка как бы надстраивается над системой частей речи, каждую из которых составляют слова с вещественными значениями.

В этом отношении корякский язык обнаруживает сходство с нивхским и некоторыми языками юго-восточной Азии (например, китайским)<sup>2</sup>, где также вы-

<sup>2</sup> См.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка. Ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 225—228; А. А. Д р а г у н о в, Исследования по грамматике современного китайского языка, М.—Л., 1952, стр. 13. А. А. Драгунов объединяет слова-заместители китайского языка в одну особую часть речи. Поскольку морфологические различия между отдельными группировками слов-заместителей в китайском как языке аналитическо-агглютинативного типа оказываются значительными меньшими, чем, например, в нивхском или корякском языках, являющихся языками синтетическо-агглютинативного типа, такое их объединение представляется возможным. Вместе с тем следует иметь в виду, что в китайском языке слова-заместители в отличие от знаменательных частей речи не имеют номинативного значения.

<sup>1</sup> См.: П. Я. С к о р и к, Грамматика чукотского языка. Ч. 1, М.—Л., 1961, стр. 421 и сл.

деляются группировки слов с самым абстрактным (категориальным) значением: такие лексемы, замещающие в определенных ситуациях слова с вещественными значениями, имеют ту же морфологическую природу, что и замещаемые ими слова.

В плане характеристики корякского как языка синтетическо-агглютинативного типа представляет интерес рассматриваемый в «Грамматике» факт наличия здесь такого рода морфем, которые, во-первых, сочетаются со словами, принадлежащими к различным частям речи, а, во-вторых, по своему значению занимают как бы промежуточное положение между словообразованием и словоизменением. К такого рода морфемам относятся суффикс *-к*, образующий местный падеж имени и инфинитив, суффикс *-н*, образующий дательный падеж имени и форму супина (стр. 262), префикс *эм-/ам-* со значением ограничения, префикс *пэ-* ~ *пч-* со значением, приблизительно соответствующим русскому слову *ведь*, и некоторые другие (стр. 292 и сл.). Наличие такого рода морфем в корякском языке также свидетельствует о сравнительно слабом противопоставлении различных частей речи в отличие, например, от языков синтетическо-флективного типа, где границы между различными частями речи оказываются более четкими.

Таким образом, при описании морфологического строя корякского языка в монографии выявлены такого рода факты, которые имеют существенное значение для типологической характеристики этого языка.

В «Грамматике» дается подробное описание грамматических категорий всех частей речи и вносится ряд уточнений по сравнению с предшествующими работами. Так, в частности, устанавливается, что так называемые прошедшее I и прошедшее II различаются не по временному признаку, а по модальности (стр. 198).

Несомненным достоинством работы А. Н. Жуковой является также то, что описание фонетического и грамматического строя корякского языка дается в сопоставлении с другими языками чукотско-камчатской группы и прежде всего с чукотским. Наконец, в качестве положительной стороны работы следует отметить и то, что применяемые в ней методы исследования языкового материала автор в большинстве случаев стремится эксплицировать.

Вместе с тем, точка зрения автора на некоторые грамматические явления представляется спорной или недостаточно обоснованной. По мнению А. Н. Жуковой, в корякском языке категория вида отсутствует, а есть лишь категория Aktionsart. «Обозначение способа протекания действия (многократность/однократность, длительность/мгновенность, интенсивность/неполнота проявления

действия), — пишет она, — не сказывается на словоизменении глагола, а является одним из типов образования основ глагола с дополнительным лексическим значением. Поэтому мы не вводим в число грамматических категорий глагола категорию вида, но отмечаем при описании образования основ глаголов суффиксы, служащие для выражения различий в способе протекания действия (Aktionsart)» (стр. 195). Разграничение Aktionsart и грамматической категории вида разработано на материалах прежде всего славянских языков, являющихся языками флективного типа, и по отношению к этим языкам оно имеет реальные основания: 1) если различие по виду имеет грамматический характер и осуществляется в пределах одного лексического значения, то противопоставление глаголов по Aktionsart носит словообразовательный характер (противопоставляются две различные лексемы); 2) аффиксы, выражающие тот или иной Aktionsart, являются словообразовательными морфемами; 3) противопоставление глаголов по признаку Aktionsart не имеет тотального характера или во всяком случае не охватывает подавляющей массы глаголов, и осуществляется лишь в пределах ограниченных лексических группировок; 4) категория вида в славянских языках надстраивается над категорией Aktionsart. Так, например, в русском языке в образовании совершенного вида участвует около двадцати приставок, из них лишь некоторые не изменяют лексического значения глаголов и передают только одно видовое значение (*делать* — *с-делать*), а остальные, выражая видовое значение, одновременно изменяют и лексическое значение глагола, указывая на тот или иной способ совершения действия. Исторически категория вида в русском языке возникла путем обобщения лексических значений, передаваемых многочисленными приставками, суффиксами и другими способами, выражающими различные разновидности Aktionsart.

Анализ соответствующих явлений в языках синтетическо- или полисинтетическо-агглютинативного типа — таких, как тюркские, монгольские, некоторые палеоазиатские и другие, — показывает, что в них следует разграничивать факты двойного рода. С одной стороны, как и в индоевропейских языках и, в частности — славянских, в этих языках есть случаи, когда различие по способу действия выражается словообразовательными средствами и охватывает лишь отдельные группы глаголов.

С другой стороны, в некоторых языках этого типа противопоставление по способу протекания действия носит грамматический характер, осуществляется в пределах одного лексического значения, и, как в случае оппозиции глаголов совершенного и несовершенного вида в русском языке,

оно охватывает подавляющее число глаголов. Сюда относятся, например, случаи выражения значений продолженности, законченности, многократности, обычности и других способов протекания действия в некоторых из этих языков, которые осуществляются посредством суффиксов или аналитическими формами глагола. При этом значения такого рода обычно выражаются у всех глаголов одними и теми же средствами. В частности, в этой связи можно сослаться на нивхский язык, в котором выражение такого типа значений имеет достаточно универсальный характер, охватывая основную массу глаголов<sup>3</sup>.

Как отмечает А. Н. Жукова, в корякском языке «... при образовании основ глаголов посредством присоединения к исходной основе одного (реже — нескольких) из серии аффиксов, служащих для характеристики способа протекания действия, ... обнаруживается почти грамматическая регулярность» (стр. 195). В другом месте она пишет: «Потенциально каждый из аффиксов может употребляться регулярно с большинством глагольных основ, но фактически сфера употребления сужена не только факультативностью характеристики, но и ограничивается как лексическим значением глагола, так и значением аффикса. Слова с суффиксами способа действия не обязательно существуют в языке как готовые словарные единицы. Они весьма свободно создаются в контексте» (стр. 216—217).

Таким образом, и в корякском языке выражение различия по способу протекания действия — многократности/однократности, длительности/мгновенности, интенсивности/неполноте проявления действия — имеет скорее словоизменительный, а не словообразовательный характер, поскольку противопоставления по этим значениям осуществляются в пределах одного и того же лексического значения и эти грамматические значения выражаются если не тотально, по всем глаголам, то, по крайней мере, охватывая их основную массу.

Очевидно, что в этом и подобных случаях формы глагола, выражающие различные способы протекания действия, образуют грамматическую категорию. Такого рода грамматическая категория отличается от грамматической категории вида в славянских языках лишь набором частных грамматических значений — в славянских языках, в отличие от рассматриваемых языков, эту грамматическую категорию образуют значения совершенности и несовершенности действия. Имеется здесь также различие в характере противопоставления частных грамматических значений, например, в силу наличия в агглютинативных языках ней-

трального значения и факультативности выражения маркированных конкретных значений способа протекания действия.

Думается, что такого рода отличия грамматической категории, характеризующей способ протекания действия во многих агглютинативных языках и в том числе корякском, от категории вида в славянских языках не могут служить основанием для того, чтобы отказаться от рассмотрения первой в качестве категории вида. При этом следует также учитывать, что такого типа грамматическая категория, выражающая способ протекания действия имеет более широкое распространение в языках мира, чем та грамматическая категория вида, которая сформировалась в славянских языках.

В рецензируемой «Грамматике» выделяется два типа модальности: 1) «модальное значение отношения содержания высказывания к действительности, получающее парадигматическое выражение в системе форм глагола и определяемое как наклонение глагола с тремя его разновидностями — изъявительным, повелительным и сослагательным (или условным)» (стр. 199); 2) модальное значение отношения говорящего к содержанию высказывания, имеющее три разновидности — категорическое, проблематическое и неочевидное значения (там же). Этот тип модальности также получает выражение в синтетической форме глагола.

Далее утверждается, что первый тип модальности, т. е. наклонение, основан на противопоставлении достоверности/недостоверности, а второй ее тип — на категоричности/некатегоричности суждения говорящего (стр. 200). Такая трактовка категории модальности в корякском языке не представляется обоснованной. В самом деле, если считать, что первый тип модальности (наклонение) основан на противопоставлении достоверности/недостоверности, то он будет полностью включать второй тип модальности, так как категоричность/некатегоричность суждения говорящего и есть выражение степени достоверности высказывания с точки зрения говорящего.

Представляется спорным также положение о том, что изъявительное наклонение глагола само по себе без дополнительных формантов имеет значение категоричности (стр. 200), в то время как проблематичность и неочевидность в изъявительном наклонении передаются особыми формантами. По-видимому, изъявительное наклонение, если оно не включает дополнительных формантов, выражает простую достоверность, а категорическая достоверность содержания высказывания при глаголе в изъявительном наклонении передается модальными словами типа *лыгыҕэйли* (стр. 287).

Вызывают возражения и некоторые другие положения и отдельные формулировки монографии, касающиеся харак-

<sup>3</sup> См.: В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., Ч. II, М.—Л., 1965, стр. 64—79.

теристики категории модальности в корякском языке. Так, например, к модальным словам, передающим различные оттенки вероятности, автор относит не только слова, выражающие сомнение, неуверенность в совершении действия, но и слова со значением желательности или запрета производить действие (стр. 286); к модальным словам, выражающим мнение говорящего об отношении содержания высказывания к действительности, в монографии причисляются слова со значением отрицания и отрицания-запрета наряду со словами, характеризующими степень достоверности содержания высказывания с точки зрения говорящего (стр. 287); среди средств, выражающих модальные значения, в «Грамматике» называются междометия (стр. 289).

Таким образом, объем и содержание категории модальности в корякском языке, типы модальных значений и их роль в модальной характеристике предложения, способы их выражения, соотношение синтетических и аналитических способов их выражения, соотношение категорий модальности и наклонения требуют дальнейших исследований, и их анализ, данный в «Грамматике», нуждается в существенных уточнениях.

Следуя традиции чукотско-корякского языкознания, А. Н. Жукова выделяет два типа склонения в корякском языке. При этом первое и второе склонения имеют одни и те же падежные суффиксы (стр. 95), и различие между ними сводится к тому, что во втором склонении нет творительного и комитативных падежей, а во всех остальных косвенных падежах между основной и падежным суффиксом вставляется суффиксированный артикль *-на/-на* в ед. числе, *-йык(а)* во мн. числе, выражающий значение определенности. В связи с этим возникает вопрос, насколько правомерно выделять два типа склонения, если различие между ними не связано с различием падежных суффиксов, обслуживающих одни и те же падежи, как это имеет место во флективных языках типа русского.

Основываясь на том, что форма выражения значений абсолютного падежа, ед. числа и 3-го лица у имени имеет синкретический характер (тем самым уподобляясь грамматическим формам флективных языков), А. Н. Жукова полагает, что «это обстоятельство косвенно свидетельствует... о некоторой однородности грамматической категории падежа, числа, лица в корякском языке» (стр. 96). Очевидно, однако, что сам по себе факт синкретичности формального выражения различных грамматических категорий не дает оснований говорить об однородности этих грамматических категорий тем более, что в корякском языке каждая из этих категорий получает особое выражение в косвенных падежах, в дв. и мн. числах, в 1 и 2-м лицах.

Подробную и интересную разработку получила в «Грамматике» категория грамматического числа. Следует, однако, отметить, что автором выделены не все типы множественности, получающие формальное выражение в корякском языке. Так, судя по приведенным примерам, в корякском языке в пределах грамматической категории числа существует тип репрезентативной множественности, о котором ничего не говорится в монографии. Ср.: *Анянтэ палатгыгь'э ялк* «Бабушка (с внучкой) остались дома» (стр. 129) — здесь слово *аня* «бабушка» имеет форму дв. числа, хотя речь идет не о двух бабушках, а о бабушке с внучкой, т. е. в форме дв. числа выступает имя, обозначающее один из неоднородных членов множества, и этот член множества репрезентирует все множество, следовательно, оно как бы характеризуется по наличию в нем указанного члена множества.

Высказанные нами критические замечания не затрагивают основ «Грамматики». В целом рецензируемая монография вносит серьезный вклад в описание фонетического и грамматического строя корякского языка и дает немало материалов, которые должны быть учтены при разработке теоретических проблем грамматики.

В. З. Панфилов

А. Zareba. Atlas językowy Śląska. — Kraków, Państwowe wydawnictwo naukowe, I — 1969; II, cz. 1 и 2 — 1970; III, cz. 1 и 2 — 1972.

Повышенный интерес к лингвистической географии характерен в последние десятилетия для славистики в целом: завершается работа по сбору материалов для Общеславянского атласа, подготовлены к изданию или уже изданы фундаментальные национальные атласы Бело-

руссии, Украины, Польши, Словакии, Лужицы, Болгарии. Весьма продуктивным оказалось это направление в полонистике, где оно имеет давнюю традицию, восходящую к предвоенным работам З. Штибера. М. Малецкого и К. Нича, Ю. Тарнацкого. В послевоенные годы

подготовлен и издан 13-томный «Малый атлас польских говоров»<sup>1</sup>, охватывающий всю территорию Польши, создан целый ряд региональных атласов и лингвогеографических исследований иного жанра (в частности, монографий, снабженных большим числом карт)<sup>2</sup>.

Рецензируемый атлас является одним из серии региональных польских атласов и посвящен диалектной зоне, пользовавшейся особым вниманием исследователей со времени зарождения польской диалектологии (Л. Малиновский и К. Нич) до наших дней. Обилие конкретных материалов по силезским диалектам<sup>3</sup>, безусловно, оказалось хорошим подспорьем при работе над атласом Силезии. Вместе с тем, эти материалы не могли послужить непосредственной основой для картографирования по многим причинам: они были неоднородны как в методическом, так и в хронологическом отношении, они, естественно, не удовлетворяли необходимому для атласа условию систематичности и, наконец, они отражали почти исключительно факты фонетики и морфологии и совсем или почти совсем не содержали сведений по лексике и словообразованию. Все это определило чрезвычайную актуальность предпринятого А. Зарембой сплошного лингвогеографического обследования силезских диалектов в их современном состоянии, тем более, что длительное господство немецкого языка, а в послевоенные годы закономерное интенсивное воздействие польского литературного языка заметно ослабили позиции местного диалектного элемента в Силезии.

Первый том «Языкового атласа Силезии» содержит исчерпывающие сведения об всех этапах работы от составления вопросника до картографирования; в нем излагаются методические принципы и основные цели атласа, дается обоснование принятых границ и сетки обследованных населенных пунктов с подробной характеристикой каждого пункта, а также полный текст вопросника и четыре карты (изучаемая территория на физико-административной карте, сетка пунктов, историко-политическая карта Силезии, карта пунктов, обследованных в других атласах, и пунктов, подвергшихся предварительному обследованию при подготовке программы). В целом материал I тома свидетельствует о всесторонне про-

думанной и обстоятельно разработанной программе исследования и составления атласа.

Территория, покрываемая атласом, уже была в той или иной степени и в той или иной своей части предметом лингвогеографического изучения. На юго-востоке она пересекается с зоной «Атласа польского Подкарпатья» М. Малецкого и К. Нича<sup>4</sup>, на юго-западе — с областью ляхских говоров, обследованных К. Дейной<sup>5</sup>, на северо-востоке — с территорией, изученной З. Штибером<sup>6</sup>, на юго-востоке почти смыкается с зоной Келецкого атласа К. Дейны<sup>7</sup>, через один пункт на территории ГДР она связывается с зоной лужицкого атласа<sup>8</sup>. И наконец, эта зона входит в границы «Малого атласа польских говоров».

Всего было обследовано 58 пунктов, из них 50 — на территории Польши (48 польских и 2 ляхских), 7 в Чехословакии (4 польских, 2 ляхских и 1 польский со словацким влиянием) и 1 в ГДР (восточнонижнелужицкий мужаковский). Густота принятой сетки пунктов (большая на юге и меньшая к северу) соответствует различной степени диалектной дробности силезской территории.

Заслуживает особого внимания опыт составления вопросника для Силезского атласа. Хорошо известно, что содержание и достоинство атласа в первую очередь определяются качеством программы. Не раз говорилось о том, что составление программы не может быть начальным этапом, предваряющим сбор материала, а должно быть ступенью, завершающей определенный цикл полевых исследований. Тем не менее на практике это обычно не соблюдается, и недостатки программы искупаются на стадии картографирования за счет редукции значительного числа собранных материалов, не поддающихся картографированию.

При составлении вопросника для Силезского атласа были строго соблюдены все необходимые стадии: сначала на основании всестороннего анализа имеющейся литературы А. Зарембой был составлен первый вариант, который был опробован в полевых условиях. Восемь контрольных пунктов, репрезентующих

<sup>4</sup> M. M a ł e c k i, K. N i t s h, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków, 1934.

<sup>5</sup> K. D e j n a, Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, I—II, Łódź, 1951—1953.

<sup>6</sup> Z. S t i e b e r, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych wojewódstw Łęczyckiego i Sieradzkiego, Kraków, 1933.

<sup>7</sup> K. D e j n a, Atlas gwarowy wojewódstwa Kieleckiego, I—VI, Łódź, 1962—1968.

<sup>8</sup> «Sorbisches Sprachatlas (Serbski réčny atlas)», 1—3, Bautzen (Budyšin), 1965—1970.

<sup>1</sup> «Mały atlas gwar polskich», I—XIII, Warszawa — Wrocław — Kraków, 1957—1970.

<sup>2</sup> Подробнее см.: С. М. Т о л с т а я, Современное состояние польской диалектологии (краткий библиографический обзор), «Советское славяноведение», 1973, 5.

<sup>3</sup> Библиографию см.: S. B a k, Zróżnicowawie narzecza śląskiego, «Prace i materiały etnograficzne», XXIII, 1963, стр. 483—517.

основные группы силезских диалектов, были выбраны с учетом степени изученности отдельных диалектов, так что они не пересекались с районами, уже обследованными другими авторами, но в то же время равномерно заполняли лакуны на диалектологической карте Силезии. Полевая работа в этих пунктах преследовала две цели: во-первых, собрать возможно более богатый материал по лексике этих говоров с тем, чтобы дополнить лексическую часть программы, для которой явно не хватало опубликованных материалов, и, во-вторых, проверить пригодность составленного варианта вопросника.

Обширный материал, собранный по предварительной программе, дополненный материалом, почерпнутым из печатных источников, был подвергнут тщательному анализу с точки зрения его «картографируемости». Было составлено более 2000 пробных карт, отражающих прежде всего ареалы отдельных лексем и в меньшей степени — локализацию значений и словообразовательных типов. В результате был составлен окончательный вариант вопросника, отличающийся от предварительного главным образом в лексической части. Значительное число вопросов было исключено из программы, поскольку они не выявили ареальных различий, и, наоборот, было учтено много новых проблем, интересных в географическом отношении.

Окончательный вариант вопросника, опубликованный в первом томе, содержит 1991 вопрос, из которых 1743 касаются лексики, 87 — фонетики и 161 — морфологии, словообразования и синтаксиса. Вопросник в лексической части имеет тематическую структуру (телега, сани, упряжь, плуг, пахота, зерновые культуры, сев, жатва, молотба, лес, жилой дом и т. д.). Вопросы, относящиеся к одним и тем же понятиям (реалиям), вопросы, касающиеся одних и тех же лексем или относящиеся одновременно к разным разделам программы, снабжены взаимными отсылками, что облегчает работу с вопросником в полевых условиях и повышает надежность полученных ответов. Большая часть лексических вопросов построена по принципу «от значения к слову»; другие, наоборот, предполагают выяснение значений названного в вопросе термина; третьи — предлагают территориально противопоставленные словообразовательные или иные варианты термина с целью уточнения их границ. Вопросы остальных разделов носят обобщенный характер и посвящены определенным, характерным для силезских диалектов фонетическим, морфологическим, словообразовательным явлениям, причем в этой части предполагается использование ответов на лексические вопросы и обоюдный контроль.

Подготовительные работы над атласом

заяли четыре года (1957—1961), сбор материалов по программе продолжался пять следующих лет (1961—1966). Помимо автора атласа проф. А. Зарембы, обследовавшего 20 так называемых главных пунктов, в сборе материалов принимали участие еще 15 квалифицированных диалектологов, пять из которых обследовали свои родные села и еще пять — села, соседние с их родными, или же пункты, в которых они прежде вели специальные диалектологические наблюдения. Все это обеспечило достоверность и высокое качество полученных на программу ответов.

В первом томе содержатся подробные и весьма поучительные сведения о технике и организации работы над собранными полевыми материалами. Достаточно сказать, что фактической базой атласа служат три обширных коллекции материалов: 1) общая картотека, насчитывающая около 150 000 карточек и содержащая упорядоченные в соответствии с программой ответы на все вопросы в каждом из 58 пунктов, 2) копии ответов на вопросы программы в каждом пункте с пометами и пояснениями эксплоратора, позволяющие получить представление о говоре данного пункта в целом, характерных для него фонетических, грамматических и иных чертах (более 300 тетрадей по 50 страниц каждая), и, наконец, 3) коллекция черновых карт с надписанными на них ответами по каждому вопросу и подвопросу программы (всего около 2500 карт). Помимо них, составитель атласа располагает упоминавшейся уже картотекой опубликованных материалов (более 50 000 карточек), картотекой синонимов и понятийной картотекой, каждая из которых насчитывает по несколько тысяч карточек. Очевидно, что сбор, оформление, систематизация и проверка всех этих обширных материалов потребовали многолетнего напряженного труда автора атласа и его помощников. Кроме первого, вступительного тома, к настоящему времени издано еще два тома, включающие каждый по 250 карт и особую книгу комментариев и указателей к картам. Предполагается, что все издание будет состоять из 7 томов и содержать приблизительно 1500 карт.

Представленные в атласе карты в своей тематической последовательности в принципе соответствуют структуре вопросника, хотя нередко одна карта обобщает материал нескольких вопросов одной или даже разных тематических групп.

В лексической части атласа содержатся карты трех типов: 1) лексемные, показывающие набор и взаимное размещение лексем, соответствующих одному десигнату, 2) семантические, определяющие распространение разных значений одной лексемы, и 3) ареальные, дающие локализацию определенной лексемы в указанном значении. Однако в действительности

содержание лексических карт значительно шире, ибо они приводят почти исчерпывающие сведения о словообразовательном и фонетическом варьировании картографируемых лексем. Легенды лексемных карт включают иногда более двух десятков названий (ср., например, карта 22 «Podrózka tylnej kłonicy» или карта 208 «Kłusownik»). Столь большая содержательная нагрузка карты требует продуманной системы формальных средств для ее адекватного и в то же время наглядного выражения с учетом, конечно, технических возможностей издания.

Основным графическим приемом в Силезском атласе служат знаки (геометрические фигуры с черно-белым фоном и внутренним членением), в качестве дополнительного, необязательного приема используются изоглоссные линии. В целом знаки применяются систематически, т. е. за ними закреплена определенная для каждого типа карт функция. Наиболее последовательно употребляются геометрические фигуры в лексемных картах: одной фигурой на каждой карте обозначаются лексемы одного корня, хотя есть и случаи отступления от этого принципа, ср. карту 364, где для вариантов одного корня (например, *rycif'a* и *ploufta*) используются разные фигуры (соответственно круг и треугольник), и карту 36, где, наоборот, кругом обозначены и *chorcadńic(e)*, и *dobgażiżk(i)*. Менее последовательно используются дополнительные средства (фон, частичное затемнение фигуры, внутренние линии), которыми передаются различные словообразовательные и фонетические признаки. Так, различие фона (белая и черная фигура) обычно соответствует словообразовательным различиям (например, карта 135:

*dumač* — *dumač*, карта 34: *sp'odńica* — *spodńorka*), но в ряде случаев оно же передает грамматические различия в роде или числе (карта 143: *k'eŭ* — *k'ca*, карта 27: *jašla* — *jašle*), различия в звуковом составе морфем (карта 28: *šebel* — *zbel*, карта 480: *skra* — *iskra*, карта 463: *ščećina* — *škućina*, карта 470: *čoŝoŭ* — *čoŝeŭ*) или даже стилистические различия (карта 94: *dupa*). Внутренние линии вообще не имеют постоянного значения; так, наличие — отсутствие вертикальной линии внутри белого кружка может соответствовать различиям как в вокализме (карта 194: *las* — *les*, карта 308: *bednaš* — *bednoš*), так и в консонантизме (карта 296: *blaza* — *blaza*, карта 90: *čub'in* — *čubiñ*, карта 79: *żyto* — *zyto*), тем же способом передается наличие — отсутствие протетического элемента (карта 17: *dobartel* — *obartel*), морфонологические различия (карта 103: *k'č'ńičyna* — *k'ńičyna*) и даже словообразовательные (карта 170: *kuž'č'ntko* — *ku'žitko*, карта 246: *fsyp* — *syp*). Нет единообразия и в использовании

одних и тех же линий внутри разных фигур.

Представленный в атласе материал демонстрирует чрезвычайное многообразие фонетических вариаций одних и тех же лексем (морфем) на исследуемой территории. Поэтому практически невыполнимым было бы требование однозначного употребления значков при передаче фонетических различий. Однако, как кажется, некоторые, наиболее регулярные фонетические различия, характерные для силезских диалектов, такие как наличие — отсутствие мазурения, различная рефлексация \**f*, различия по лабиализации, напряженности и назальности у гласных, характер заднеязычных фрикативных, рефлексы твердого *l* и т. п. могли бы получить последовательное и однозначное отражение на картах без ущерба для их наглядности.

Другим техническим неудобством, помимо неоднозначности средств выражения, является отсутствие иерархии в их употреблении. Если на карте представлены лексемы разных корней и каждому гнезду соответствует своя фигура, то в легендах эти разные фигуры с их модификациями приводятся в произвольной последовательности: круг, квадрат, треугольник или: треугольник, квадрат, круг и т. п. Если же на карте фигурируют лексемы одного корня, то он обозначается любой фигурой. Между тем, логичней было бы при отсутствии различия по корням использовать во всех случаях один и тот же знак, скажем, круг, а остальные вводить по мере увеличения числа корней: при двух корнях — круг и квадрат, при трех — круг, квадрат и треугольник и т. д. Тот же принцип мог бы упорядочивать применение фона и частичного затемнения фигуры.

500 карт, составляющих второй и третий том, показывают большую неоднородность силезской диалектной зоны в лексическом и словообразовательном отношении. Далеко не во всех случаях картографируемые явления образуют четко очерченные ареалы; если же такие ареалы обозначаются, то их границы могут членить силезскую территорию в самых различных направлениях. Тем не менее даже имеющиеся материалы позволяют обнаружить несколько наиболее устойчивых направлений изоглосс. К ним относится прежде всего пучок изоглосс, проходящих в направлении с северо-запада на юго-восток (не менее четырех десятков карт, в том числе карты 105, 128, 145, 172, 245, 368, 384, 391 и др.), затем линия, идущая с запада на восток приблизительно на уровне Racibórz — Rybnik или несколько севернее (карты 4, 14, 93, 316, 321, 360, 393, 416, 418 и др.). Достаточно ярко выражена линия изоглосс, делящая всю территорию пополам и проходящая с запада на восток (карты 39, 40, 135, 201, 253, 348, 349,

383 и др.). В ряде случаев четко выделяется центральная зона, противопоставленная северной и южной, зоны вдоль границы с Чехословакией и некот. др. Очевидно, что полное представление о диалектном членении Силезии может быть получено лишь после всестороннего анализа всех материалов атласа.

Комментарии к картам, образующие вторую часть каждого тома, содержат дополнения, уточнения и объяснения к картам, отсылки к картам, тематически близким, указание на номера соответствующих вопросов программы, а также необходимые этнографические, географические и методические разъяснения. Помимо комментариев, вторая часть каждого тома имеет индекс слов, представленных на картах, с указанием номера соответствующей карты.

Диалектный атлас Силезии проф. А. За-

рембы уже сейчас привлек внимание специалистов по славянской диалектологии и лингвистической географии богатством, новизной и высоким качеством своих материалов, продуманными приемами их представления, важностью поставленных в нем задач<sup>9</sup>. Атлас в его полном виде, несомненно, явится достойным пополнением коллекции региональных диалектных атласов Польши и обогатит славянскую лингвистическую географию ценным опытом, накопленным автором на всех этапах этого крупного начинания — от составления программы до публикации.

С. М. Толстая

<sup>9</sup> См. рец. Е. Павловского в «Język polski», LI, 1971, 3, стр. 219—223 и LIII, 1973, 2—3, стр. 231—233.

**A. Bartoszewicz. История суффиксальной отсубстантивной деривации существительных в русском литературном языке**  
(*nomina concreta* от *nomina concreta*).—

Poznań, 1972. 226 стр. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział filologiczny, Seria Filologia Rosyjska, nr. 2).

Основными достоинствами рецензируемой книги являются богатство языкового материала, обстоятельность его описания, четкость и ясность изложения, наличие обширной литературы вопроса. Объект исследования — суффиксальное словообразование конкретных существительных на базе конкретных имен существительных в русском литературном языке в историческом плане. Исследование ограничивается четырьмя словообразовательными факторами: характером производных слов, характером производящей базы, типом словообразовательных средств и способом словообразования. Это сделало работу компактной и конкретной.

В отборе материала, который удовлетворял бы формуле «*nomina concreta* от *nomina concreta*», имеются определенные трудности, особенно в отношении образований на *-ник* (типа *лесник*, *садовник*, *станочник* и т. п.), поскольку отсубстантивность таких образований не является самоочевидной и общепризнанной: некоторые исследователи видят в них отадективные образования (т. е. не *лес* — *лесник*, а *лесной* — *лесник*, не *станок* — *станочник*, а *станочный* — *станочник* и т. п.<sup>1</sup>; даже слова типа *рыбак*, *сибиряк* и т. п. нередко описываются как образованные от прилагательных с пропуском адективного суффикса: *рыбный* — *рыб(н)ак*, *сибирский* — *сибир(ск)як* и т. п.).

<sup>1</sup> См., например: «Грамматика русского языка», I, М., 1952, стр. 217—218.

Свою точку зрения на этот вопрос автор книги с достаточной ясностью, хотя и кратко, изложил в гл. II (см. там же интересные замечания относительно образования слов типа *верблюжатник* от *верблюды*, а не от *верблюжата*). Можно, однако, отметить, что противоположная точка зрения при этом по существу не обсуждалась; не названы даже ее сторонники.

Материал исследования извлечен из словарей русского языка — исторических, диалектных и словарей современного русского литературного языка, а также из карточек этих словарей. Историческая перспектива представлена в книге разнообразно. Различаются два основных периода истории русского языка — от древности до XVII в. и от XVIII в. до современности (донациональный и национальный периоды)<sup>2</sup>. При необходимости и возможности выделяются более дробные периоды — группы веков, отдельные века и даже части столетий, например, XI—XIV вв., XVIII в., начало XIX в. и т. п. По этим координатам рассматриваются отдельные образования в целом (например, образования с суф-

<sup>2</sup> Ср.: Н. А. Мещерский, К периодизации истории русского литературного языка, «Программа и тезисы докладов к VIII научно-методической конференции Северо-западного зонального объединения кафедр русского языка педагогических институтов», Л., 1966.

фиксом *-арь*), их значения (например, значения существительных с суффиксом *-ист*), движение, развитие и разрушение синонимии и т. п. В интересах стилистической дифференциации и интерпретации материала различаются три основные группы памятников: церковные, светские и деловые. Слова первого исторического периода снабжаются указанием на их распространенность в этих группах памятников. Отмечено, например, что образования на *-арь* распространены главным образом в церковных памятниках письменности.

В основу собственно словообразовательной интерпретации материала автор положил разработанное им (см. «Введение»; там же рассмотрены и другие общие вопросы<sup>3</sup>) понятие дериватемы (дериватемы сопоставлены в работе с понятием словообразовательного типа и словообразовательной модели): «... дериватема — это абстрагированная от речи общая схема образования слов..., которая характеризуется определенным словообразовательным средством (формативом) и определенными лексико-грамматическими свойствами слов, реально и потенциально составляющих производящую базу, и тем, что слова-структуры, произведенные по ее образцу, могут использоваться для выражения новых лексических или лексико-грамматических значений по сравнению с исходными для них словами» (стр. 11).

Дериватемы делятся на монофункциональные и полифункциональные (ср. однозначные и многозначные словообразовательные типы и модели). Среди «монофункциональных дериватем» различаются далее дериватемы со значением лица (*рыбак, рыбарь* и т. п.) и дериватемы со значением предмета (*чайница, голубятня* и т. п.). В полифункциональных дериватемах совмещается значение лица и предмета: *мытник, телатник, медвежатник* и т. п. Полифункциональные дериватемы (гл. 2) представлены лишь одной дериватемой «конкретное имя существительное + *-ник*»; монофункциональные дериватемы (гл. 1), напротив, весьма многочисленны: дериватемы со значением лица (первый раздел гл. 1) характеризуются суффиксами *-арь, -ач, -ник, -щик, -ист* и другими менее продуктивными, дериватемы со значением предмета (второй раздел гл. 1) имеют суффиксы *-ина, -ище, -ница, -ня* и другие менее продуктивные.

В гл. 3 «Явления словообразовательной синонимии» рассматривается синонимия в области личных и предметных существительных. Книга завершается кратким «Заключением» (стр. 201—208);

имеется также «Список сокращений» и резюме на английском языке.

Конкретные наблюдения и выводы автора, а также характер и стиль его изложения можно показать на примере дериватемы с суффиксом *-ист*. Первые имена существительные на *-ист* со значением лица пришли в русский язык уже в древнерусскую эпоху в виде одиночных заимствований из греческого языка, среди которых самым устойчивым было слово *евангелист*. Однако почти вплоть до XVIII века, точнее до Петровской эпохи, такие заимствования были случайными и не составляли словообразовательного ряда ввиду своей малочисленности и нерегулярности: *алхимист, артиллерист, арфист, окулист* и, по-видимому, произведенное уже на русской почве *бубенист* (стр. 84). В словаре Смирнова «отмечается 13 слов на *-ист*, бытовавших в Петровскую эпоху. В дальнейшем на протяжении XVIII века заимствования на *-ист* со значением лица непрерывно пополняют словарный состав языка. Почти все словари XVIII века фиксируют слова этого рода: Лекс. 1762 отмечает 7 таких имен, Росс. Целл. 1771 — 4, Нордстет — 23, Письм. Кург. — 15, САР (первое издание) — 14, САР (второе издание) — 19. Примечательно, что Нов. словотолк. отмечает уже 99» (там же). «Приток слов на *-ист* особенно усиливается со второй половины XVIII века и к концу XVIII века, по свидетельству Н. И. Зелинской, в языке насчитывалось уже 166 слов на *-ист*» (там же). «Одновременно с увеличением количества слов на *-ист* в языке происходит объединение их в определенные структурно-семантические группы. Среди них ранее всех и наиболее четко определялась группа наименования музыкантов-исполнителей по названию инструмента, например: *арфист, бандурист, валторнист, гобоист, органист* и др.» (стр. 85). «В литературном языке XVIII века, особенно в конце XVIII века, среди имен существительных на *-ист* с общим значением лица вычленяются различные группы, объединяющие „производные“ на *-ист* по определенному типу мотивации и по соотношению их с определенным типом „производящих“... 1) Название лица по отношению к предмету как орудию действия: *бандурист, валторнист*... Эту группу составляли прежде всего наименования музыкантов-исполнителей по инструменту. 2) Наименование лица по отношению к предмету как продукту труда: *копиист*... В дальнейшем эту группу будут составлять прежде всего названия лиц по отношению их к искусству со значением „создающий тот или иной предмет искусства, творящий в этом жанре, манере и т. д.“ 3) Название лица по месту его нахождения, занятия, службы: *академист*...» (стр. 86—87). «Среди всех имен существительных на *-ист*

<sup>3</sup> См. также: А. Бартошевич, К определению системы словообразования, ВЯ, 1972, 2.

наиболее активно пополнявшуюся на протяжении XIX в. и самую обширную группу составляли имена на *-ист* со значением лица по его отношению к общественно-политическому, научному, религиозному, философскому направлению или к системе взглядов, учению, связанным обычно с именем деятеля, например: *байронист, бонапартист, дарвинист, шеллингист, шиллерист* и др.» (стр. 89). «Довольно многочисленным был сформировавшийся в XIX в. разряд имен на *-ист*, обозначающих специалистов в различных областях науки и техники, например: *арабист, грамматист, криминалист, лингвист, славист* и др.» (стр. 90). Далее приводятся интересные данные о развитии и представленности данного словообразовательного типа в конце XIX в. и в XX в.

Интересны также разделы о дериватах с суффиксами *-арь, -щик*, а также сводный раздел «Другие дериватемы».

Синонимичными признаются лишь те образования, которые не только имеют сходное значение, но и синхронны, в частности, фиксируются в сходных значениях каким-либо одним и тем же словарем или отмечаются в памятниках письменности одной эпохи. За всем этим автор следит очень внимательно: «триада *скворечник — скворечница — скворечня*, впервые полностью зафиксированная в Сл. Даля, оказалась наиболее жизненной» (стр. 198). Другая триада *кофейник — кофейница — кофейня* впервые фиксируется в словаре Академии Российской, но «составляющие ее никогда не были семантически равноценными дублетами» (стр. 198): *кофейник* — это обозначение сосуда для варки кофе, *кофейница* — это обозначение сосуда для хранения кофе, а *кофейня* — «дом, где продают приготовленный напиток из кофею» (Словарь Академии Российской). Или еще: «Издавна семантически различаются *чайник* и *чайница*, объяснение значений которых в современных словарях совпадает с толкованием их в САР» (стр. 194). Из частностей укажем здесь на интересные замечания автора о слове *вратарь* (стр. 36), *обувщик* (стр. 74). В книге

широко используется метод количественной характеристики явлений.

Критических замечаний у нас немного: 1) стилистические характеристики (в соответствии с церковными, светскими и деловыми источниками) даны при каждом отдельном слове, а в последующем тексте обобщаются лишь частично и эпизодически. В этом плане нужны более систематические и более полные обобщения; 2) «Заключение» оказалось недостаточно конкретным; 3) сомнительная принадлежность к *nomina concreta* от *nomina concreta* слов *караульщик* (стр. 58), *звонарь* (стр. 29), неприемлемо членение слова *пастух* на *паст-ух* (стр. 12); 4) в общей характеристике предшествующих современному русскому языку исторических периодов развития языка А. Бартошевич остается в пределах широко распространенных, но мало убедительных представлений: раньше в языке не было ничего определенного, все только складывалось, иногда «экспериментировалось» (XVIII в.), постоянно были какие-то переходные состояния и т. п., и только в XIX в. «устанавливаются и окончательно стабилизируются общелитературные словообразовательные нормы» (стр. 205). А между тем язык всегда более или менее нормативно установлен и в то же время никогда окончательно не устанавливается, он всегда в движении и развитии и в то же время всегда обслуживает общество и только в отдельные исключительные, действительно переходные периоды обычная картина неустойчивого равновесия значительно нарушается (такие периоды и состояния требуют, конечно, особого объяснения). Но это, однако, замечание не только по поводу книги Бартошевича.

Книга в целом — весьма ценное научное сочинение, демонстрирующее большой систематически собранный языковой материал, обработанный и упорядоченный с привлечением количественных характеристик в историческом, стилистическом и семантико-словообразовательном отношении. Он будет полезен для изучения общей истории русского словообразования.

А. И. Моисеев

**A. Mielczarek. Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej.**  
— Warszawa, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1972, 200 стр.

Лексикографы стремятся в последнее время проводить научный анализ на тех участках словарной работы, которые до последнего времени считались «малолингвистичными» и вообще «нелингвистичными». Связь теории лексикографии не толь-

ко с лексикографической практикой, но и с экстралингвистикой (с теорией информации, социологией, педагогикой) очевидна.

Именно в свете этих идей можно рассматривать попытку польского лексико-

графа А. Мельчарек изложить принципы построения энциклопедий в рецензируемой монографии «Из задач энциклопедической лексикографии». Выход в свет этой работы можно признать актуальным не только для польской, но и для советской лексикографической науки, учитывая, что пока никаких сколько-нибудь серьезных исследований в этой области сделано не было. До сих пор энциклопедии (в том числе БСЭ) снабжались лишь предисловиями к изданиям или газетными заметками разного объема.

Книга распадается на шесть глав с предисловием, введением и послесловием. В предисловии и послесловии, написанных соответственно Я. Токарским и В. Крышевским, указывается на отправные моменты в исследовании А. Мельчарек, на задачи энциклопедической лексикографии, на трудности лексикографа при составлении энциклопедии и на лингвистические основы этой области лексикографии.

Во «Введении» автор подчеркивает полемический характер своей книги. Все исследование строится как на достижениях польской прикладной лексикографии, так и на теоретических трудах польских и советских авторов (В. Дорошевского, С. Скорупки, Л. В. Щербы, О. С. Ахмановой, Л. А. Булаховского). В работе над монографией были учтены идеи и методы французских семасиологов-лексикографов, выдающегося испанского лексикографа Х. Касареса и других зарубежных исследователей. А. Мельчарек, принимавший участие в создании польских энциклопедических изданий, попытался обобщить личный опыт и редакционную практику ряда специальных издательств мира. Определяя «лексикографию» как науку, которая занимается «теорией и практикой разработки словарей и энциклопедий» (стр. 21), А. Мельчарек подчеркивает, что эта дисциплина все больше становится теоретической базой для работы редакционно-издательского аппарата.

Традиционно отделяя теоретическую лексикографию от практической, автор указывает на диспропорцию в развитии этих двух аспектов и на бедность лексикографической методологии. Теоретическую лексикографию, по мнению автора, можно разделить на «словарную» и «энциклопедическую» (стр. 22). Если словарная лексикография распадается на лексикографию разноязычных и национальных словарей, то энциклопедическая лексикография может распадаться на лексикографию «систематических» и «алфавитных» энциклопедий (стр. 22). Предметом исследования автора становятся только «алфавитные» энциклопедии, так как, по мнению автора, именно этот вид энциклопедий преобладает в редакционно-издательской практике.

Связывая энциклопедическую лексикографию с составлением национальных словарей, автор ищет черты, общие для обоих разделов науки, и через теорию построения национальных словарей стремится найти для интересующей его области опору в языкознании, в частности, в лингвистической семантике. Этим, без сомнения, трудным, но верным путем идет автор при анализе всей богатой проблематики книги.

А. Мельчарек следующим образом формулирует задачи своего исследования: а) выяснение вопроса о функциях энциклопедических изданий, б) изучение принципов разработки энциклопедической информации с учетом условий сегодняшнего дня, в) анализ возможностей для улучшения методов построения алфавитных энциклопедий. Указанные задачи детализированно раскрываются в корпусе монографии.

Гл. 1 «Функции энциклопедических изданий» открывается очерком о происхождении и историческом развитии энциклопедий. Автор сообщает много интересных сведений о развитии этой области лексикографии — от эпохи древних цивилизаций через Средневековье и эпоху Возрождения до наших дней. Любопытна описываемая автором картина взаимной связи и взаимного влияния энциклопедических изданий мира во все времена.

Бегло коснувшись вопроса о первых русских энциклопедиях, А. Мельчарек более подробно характеризует историю польских энциклопедий. Представляются ценными сведения о тенденциях в функциональном развитии энциклопедий мира. Так, А. Мельчарек отмечает, что в древнем мире функция энциклопедий сводилась к «синтезу общих знаний», а в период Средневековья возникновение новых функциональных тенденций было связано с необходимостью отделения специальных знаний (вначале знаний в области религии) от общих сведений о мире. Стремление автора не ограничиваться описанием фактического материала, каким бы интересным он ни был, а выявлять тенденции в развитии энциклопедических изданий, представляется весьма положительной чертой монографии.

В современную эпоху узкой специализации наук значение энциклопедий особенно велико. Ни один специалист не в состоянии изучить тот огромный материал, который разрабатывается в тысячах научных журналов. «Универсализм» энциклопедии как одна из ее функций уже давно не абсолютен. Указывая на трудности лексикографа, комбинирующего «универсальную» и обобщенную информацию с многочисленными частными сведениями и на противоречивость этих двух тенденций, автор, к сожалению, избегает каких-либо рекомендаций для решения этого сложного вопроса.

А. Мельчарек указывает далее на общественно-идеологическую и общекультурную значимость современных энциклопедий, ссылаясь на традицию, восходящую к «Большой французской энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Даламбера. На вопрос о соотношении между научной подлинностью сведений и идеями общества А. Мельчарек дает однозначный ответ: «Для современного энциклопедиста... научность энциклопедии не находится в противоречии с ее идейными основами, если только они соответствуют действительному общественному прогрессу» (стр. 47).

Стремясь пролить свет на вопрос о месте энциклопедий среди других лексикографических изданий, автор специально останавливается на употреблении терминов «энциклопедия», «справочник», «словарь», «лексикон». А. Мельчарек замечает, что в лексикографической и издательской практике все эти термины часто смешиваются. С целью удовлетворить читателя-неспециалиста в «энциклопедию» сравнительно небольшого объема все чаще помещается информация широко экстралингвистического мира. Читатель-специалист в поисках интересующей его информации может также обратиться к «энциклопедии». Но вначале такой читатель, по-видимому, обратится к «справочнику», когда он захочет получить сведения о значении специального термина. «Справочник», по А. Мельчареку, это — издание «узкоспециализированное», содержащее точные сведения о «технических деталях» (стр. 48). И «энциклопедия», и «справочник» имеют дело с денотатами экстралингвистического мира; различие между ними состоит в степени специализации разрабатываемых понятий. По мнению автора, информация энциклопедического типа может подаваться также в «лексиконе», который является своего рода «малой энциклопедией». Автор считает, что «лексикон» занимает промежуточное место между «энциклопедией» и «словарем». Говоря о «лексиконе», автор имеет в виду «срединное» место издания этого типа только с точки зрения объема информации. По характеру материала и по функции лексикон приближается к «энциклопедии». Такая трактовка «лексикона» не является единственно возможной: английский автор К. Уиттейкер определяет «лексикон» (lexicon) как «словарь», содержащий лексику древних, мертвых языков. Принципиального различия между «лексиконом» и «словарем» К. Уиттейкер не усматривает. Таким образом, замечания А. Мельчарек по поводу употребления термина «лексикон» оказываются спорными. «Словарь» как основной тип справочных изданий определяется А. Мельчарек (вслед за В. Дорошевским) как справочник, в котором описываются «значения» слов и «формы связи» этих слов с десигнатом. Основное разли-

чие между «энциклопедией» и «словарем» состоит, по мнению автора, в характере дефиниций. Нам представляется такая позиция совершенно правильной. Стремление автора провести строгое разграничение терминов «энциклопедия» и «словарь» имеет принципиальное значение, поскольку в лексикографии бытует выражение «энциклопедический словарь». Досадно, что А. Мельчарек обходит молчаливым вопросом об употреблении других терминов, обозначающих типы лексикографических изданий и соотносящихся с «энциклопедией». Ничего не сказано, в частности, о корреляции терминов «энциклопедия» — «тезаурус». Основы наших знаний о типах справочных изданий, заложенные еще Л. В. Щербой, пока слабо развиваются лексикографами<sup>1</sup>.

В гл. 2 «Дефиниция и дефинирование в энциклопедической лексикографии» автор останавливается на характеристике логического аспекта дефиниции. Логическая дефиниция состоит из следующих компонентов: из «определяемого», «дефинитивной связки» и из «определяющего члена». Однако не всякое высказывание, построенное по этой схеме, равно логической дефиниции. Последняя предполагает относительно точное и строгое определение. В терминах энциклопедической лексикографии дефиниция понимается более узко: лексикографическая дефиниция соответствует лишь компоненту «определяющий член» в дефиниции логической. Эта особенность имеет важное следствие: на передний план выдвигается семантика заголовочного слова. Не всякое определение является лексикографической дефиницией. В отличие от частной информации, от описания конкретного индивидуума, лексикографическая дефиниция должна характеризоваться достаточной степенью обобщения. Прочие высказывания подразделяются автором на «утверждения» (stwierdzenia) и «определения» (określenia). В «утверждении» выражается отношение автора к объясняемому десигнату, а в «определении» дается объективная информация о десигнате.

Идеи такого рода не вызывают у нас сомнений. Эти принципы явно восходят к традиции, идущей от Х. Касареса<sup>2</sup>. Заметим, что отдельные советские лексикографы специально занимаются изучением логического аспекта и содержания дефиниций<sup>3</sup>. К сожалению, А. Мельчарек не касается в своей работе формул тол-

<sup>1</sup> Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3.

<sup>2</sup> Х. К а с а р е с, Введение в современную лексикографию, М., 1958, стр. 174—175.

<sup>3</sup> Д. И. А р б а т с к и й, Об основных функциональных типах семантических определений, сб. «Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии», Пермь, 1972, стр. 23—27.

кования, структуры и типологии дефиниций — словом, всего того круга вопросов, которым посвящается ныне все большее число трудов советских лингвистов (А. М. Бабкин, И. В. Арнольд, В. А. Москвич и др.).

Последовательно опираясь на семиологию и лексикологию, автор в гл. 3 «Полисемия и синонимия слова» специально останавливается на вопросах полисемии и синонимии. А. Мельчарек считает существенным для энциклопедической практики отличать «этимологическое» значение слова от значения «реального», а внутри последнего выделять различного рода узкие оттенки и переносные значения. Остается, однако, неясным, в каком именно направлении строится семантическая иерархия. Нельзя не согласиться с автором, когда он высказывает мнение, что лексикограф должен заботиться о воспитательном значении энциклопедического труда.

Вызывает сожаление то обстоятельство, что А. Мельчарек, говоря о синонимии и подробно анализируя примеры из военной отраслевой терминологии, оставляет лишь один (последний) абзац соответствующего параграфа для собственно лексикографической разработки синонимии в энциклопедии.

В гл. 4 «Структура алфавитной энциклопедии» А. Мельчарек останавливается на некоторых сложных вопросах энциклопедической практики. В частности, автора интересуют критерии отделения всеобщей энциклопедии от энциклопедий специальных, а также методы отбора слов для специальных энциклопедий. А. Мельчарек считает, что всеобщая энциклопедия не может претендовать на «универсализм». Вместе с тем она должна быть достаточно полной, чтобы удовлетворить любого читателя со средним образованием. Читатель же с высшим образованием больше заинтересован в специализированном энциклопедическом издании. Последнее по своему содержанию должно соответствовать уровню современного специалиста, если учитывать, что не менее 50% всех его знаний составляют так называемые общие знания (в том числе — гуманитарные), 25% — знания из областей, смежных со специальностью, и только около 25% — знания из специальной области. Соответственно и для отбора словника для специализированных энциклопедий нельзя, по мнению автора, ограничиваться только специальными словами-понятиями. В центре внимания энциклопедиста должен быть вопрос о частоте употребления термина и о степени его связи с конкретной областью науки. Решая вопрос о включении термина в специализированную энциклопедию, лексикографу нужно исходить из чисто языковых особенностей термина и из определенной методологии. Так, существенными могут оказаться словообразова-

тельная традиция для ряда сочетаний с прилагательными (*broń wojskowa*, *marynarka wojenna*) и анализ влияния на нормативное употребление со стороны исторического фактора. Думается, однако, что в этом месте монографии А. Мельчарек переоценивает роль диакронического анализа. Наиболее рациональным, с точки зрения автора, методом классификации слов является метод выявления их «понятийных центров» (*centra pojęciowe*). Лексикографа при этом не должно смущать то обстоятельство, что порой понятийные центры слов, относящихся к конкретной дисциплине, находятся в совершенно иной области знаний. Указанный метод несомненно сближает энциклопедическую практику с лингвистической теорией семантических полей.

В гл. 5 «Словник» речь идет о проблеме словника энциклопедий в сопоставлении со словником словарей. Заголовочное слово определяется как автономная лексикографическая единица, и принципы его подачи в энциклопедии разрабатываются в соответствии с этим определением. В отличие от словаря, энциклопедия подает преимущественно основные, исходные термины и избегает разработки терминов производных. Энциклопедист избегает также подачи нескольких (вариантных) словоформ, называя лишь основную форму слова. Составляя всеобщую энциклопедию, лексикограф предпочитает включать в нее, в основном, те термины, которые уже приблизились к словам повседневного обихода. Автор кратко перечисляет также возможные типы энциклопедических статей и (что немаловажно) указывает на разные возможности построения лексикографической отсылки. А. Мельчарек уделяет внимание и такому частному, но существенному вопросу, как вопрос о методах, облегчающих поиск информации в энциклопедии. Очень интересна сама по себе постановка проблемы размеров словарной статьи, но, к сожалению, автор ограничивается критическими рассуждениями по поводу невозможности строгого подхода к ее решению и на этом основании не дает никаких рекомендаций.

Последняя (шестая) глава «Структура словарной статьи» содержит весьма важные сведения о структуре статьи в энциклопедии. Автор охватывает широкий круг вопросов — от графики заголовочных слов до расположения значений и критериев корректности дефиниций. Представляется положительным, что А. Мельчарек достаточно глубоко раскрывает проблему помет. Роль помет («квалификаторов») состоит не только в том, чтобы указывать на принадлежность заголовочного слова той или другой отрасли науки, но и в том, чтобы приводить в соответствие содержание и объем статьи со сферой употребления заголовочного слова. Иначе говоря, пометы-квалифика-

торы сужают значение заголовочного слова и тем самым уменьшают объем статьи. Автор выдвигает следующие критерии правильности дефинирования: 1) достаточность информации, обозначенной определяемым термином и 2) доступность формулировки для читателя. Эти условия не вызывают сомнений. Что касается порядка следования значений в энциклопедической статье, то первым, по мнению автора, должно располагаться наиболее актуальное значение. Соответственно устаревшее значение должно подаваться последним по порядку. Эти соображения нам представляются справедливыми. Глубокие и интересные наблюдения высказываются автором также по поводу методов

отсылки, элементов историзма в энциклопедии и по содержанию статьи.

Несмотря на спорность отдельных решений, работа А. Мельчарка представляется весьма ценной для лексикографов-теоретиков, лексикографов-практиков и для издателей. Автору удалось не только определить задачи энциклопедического лексикографии, но и указать на всю богатую проблематику данной области науки. Для того чтобы в дальнейшем более полно раскрыть некоторые из проблем (словник, толкование, полисемию и др.), потребуются специальные, более узкие монографические исследования. Путь к ним открыт трудом А. Мельчарка.

А. Е. Карпович

**Л. Г. Скрипник. Фразеологія української мови. — Київ, «Наукова думка», 1973, 280 стр.**

Украинская фразеология, если сравнивать ее с усиленно разрабатываемой русской и белорусской, оставалась до последнего времени наименее исследованной областью языкознания. Монография Л. Г. Скрипник успешно восполняет этот пробел и создает предпосылки для синтетического анализа фразеологического фонда восточнославянских языков. В этом труде дается достаточно полный обзор украинской фразеологии, анализируются структурно-грамматические и семантические аспекты ее функционирования, раскрываются источники ее происхождения. Опытный лексикограф-украинист, составитель и редактор многих словарей, Л. Г. Скрипник собрал огромный фактический материал, который обеспечивает объективность большинства теоретических выводов работы.

Структура книги, состоящей из 11 глав, отражает наиболее актуальные аспекты анализа фразеологических единиц (далее — ФЕ). В трех первых главах монографии определяются задачи фразеологии как лингвистической дисциплины (стр. 5—8), описываются основные лингвистические параметры ФЕ (стр. 9—12) и на украинском материале демонстрируются различные способы их классификации (В. В. Виноградова — Н. М. Шанского, Б. А. Ларина, Л. А. Булаховского, С. Г. Гаврина, В. Л. Архангельского, М. Т. Тагиева — стр. 13—23). В IV главе (стр. 24—72) рассматриваются особые «жанровые разновидности» украинской паремии (пословицы, поговорки, крылатые слова). Особо исследуются проблемы взаимообусловленности содержания и формы ФЕ (гл. V, стр. 73—79), дается структурно-грамматическая типология ФЕ и выявляются их синтаксические функции (гл. VI, стр. 80—101), анали-

зируется их лексический состав (гл. VII, стр. 102—119). Большое место отведено вариативности (гл. VIII, стр. 120—148) и системным отношениям — прежде всего полисемии, синонимии и антонимии — в сфере фразеологии (гл. X, стр. 192—232). Очень детально описываются источники украинской фразеологии (гл. IX, стр. 149—191) и история ее изучения и лексикографического описания (гл. XI, стр. 233—274).

Л. Г. Скрипник придерживается традиционного взгляда на ФЕ, определяя последнюю как «лексико-грамматическое единство двух и более раздельно оформленных компонентов, грамматически организованных по модели словосочетания или предложения, единство, которое при наличии целостного значения воспроизводится в речи по традиции, автоматически» (стр. 11). Автор вслед за Н. М. Шанским и В. Л. Архангельским широко понимает фразеологию, в границы которой включаются не только устойчивые словосочетания, но и пословицы, поговорки и крылатые слова (стр. 69). Нужно сказать, однако, что в книге в основном анализируются устойчивые словосочетания.

Одна из задач работы — показать динамику фразеологической системы украинского языка. По мысли Л. Г. Скрипник, он проявляется в двух противоположных тенденциях: живое функционирование ФЕ, возникших в далеком прошлом, и постоянное обновление фразеологического фонда (стр. 185—186). Автору удалось показать этот динамизм, анализируя широкую вариативность ФЕ. Детальная классификация фразеологических вариантов опирается на обильный материал, собранный Л. Г. Скрипник как в литературных источниках, так и методом анкетирования.

Например, пословица *за морем телушка — полушка, та дорогий перевіз* записана в 50 лексико-грамматических вариациях в разных областях Украины (стр. 143)<sup>1</sup>. Такие факты дают автору полное основание утверждать, что «стабильность внешней оболочки многих ФЕ не является абсолютной» (стр. 120). Автор предлагает разграничивать собственно грамматические (формальные) варианты и варианты парадигматические (стр. 136), выделяет лексико-грамматический, или смешанный, тип варьирования (стр. 141).

Для исторического анализа фразеологии большое значение имеет и учет синтаксических вариантов ФЕ, до недавнего времени проводившийся весьма спорадически. Л. Г. Скрипник тщательно исследует этот тип грамматической вариантности, аргументируя его активность многочисленными рядами «редуцированных вариантов» (стр. 137—140). В главе об источниках украинской фразеологии исследователь вновь обращается к этому типу вариантности, широко разработанному в свое время А. А. Потебней (стр. 178), чтобы показать его роль в создании фразеологических неологизмов (стр. 190—191).

Далеко не все приведенные примеры, однако, можно трактовать вслед за Л. Г. Скрипник как следствие редукции пословиц и поговорок. Так, обороты *ні кола ні двора*; *не всі дома і ні риба ні м'ясо*, как кажется, не являются «ужатыми» вариантами пословиц и поговорок *ні кола, ні двора, ні рогатого вола (один сіренький коток та на ший мотузок); не всі дома, половина поїхала (пішли по дрова, поїхали на курай); ні риба, ні м'ясо, а щось наче гриб (і в раки не годиться)* (стр. 140). Скорее всего это, наоборот, позднейшие развертывания приведенных ФЕ, на что указывает индивидуальный, спорадический характер приведенных вариантов, особенно заметный при обращении к материалу других славянских языков. Ср. белорусск. *ні кала ні двара*, русск. *ни кола ни двора*; белорусск. *не ўсе дома*, русск. *не все дома*, польск. *nie wszyscy w domu*, чеш. *netít všech doma*; белорусск. *ні рыба ні мяса*, русск. *ни рыба ни мясо*, польск. *ni ryba ni mięso*, чеш. *ani ryba ani rak*. Об исконности менее пространств вариантов ФЕ *ні кола ні двора* и *ні риба ні м'ясо* свидетельствует и характерная для подобных оборотов двучленная структура<sup>2</sup>.

К сожалению, недооценка факта син-

таксического развертывания ФЕ вообще характерна для решения проблемы «контекст — фразеологизм — слово». Поэтому уже то, что Л. Г. Скрипник обращает внимание на случаи «уточнения, развития основной идеи фразеологизмов» [типа *Вік живи — вік учись (а дурнем умреш)*] — стр. 140] свидетельствует об объективном подходе к некоторым случаям синтаксической вариантности такого рода.

Большое внимание уделено в книге изучению лексической вариантности. Это и понятно: границы заменяемости компонентов ФЕ являются одновременно и гранью, отделяющей фразеологический вариант от фразеологического синонима. Отмечая, что большая группа лексических вариантов ФЕ возникает «вследствие взаимодействия слов одного предметно-логического класса или одного тематического ряда» (стр. 126—127), автор, как кажется, находит верный путь к решению проблемы границ синонима и варианта. Этот принцип, однако, не проводится последовательно: автор далее допускает возможность и «неупорядоченных с точки зрения лексической системы замен» компонентов ФЕ (стр. 128). Если признать такую возможность, то понятие лексического варианта станет весьма расплывчатым и дилемма «вариант: синоним» остается нерешенной.

Тезис о неупорядоченности лексических замен кажется спорным. Л. Г. Скрипник аргументирует его примерами вариаций оборота *ні богові свічка, ні чортові огарок (ладан, шпичка, кочерга, рогачилно, надовбень, куришка)*. Однако диахронический анализ этого вариантного ряда показывает, что «неупорядоченными» эти замены компонента *огарок* назвать нельзя. Все эти лексемы, как кажется, первоначально были тематически близки друг другу, поскольку могли обозначать плохо горящий, чадающий источник света — в отличие от яркой свечи. Разумеется, современные значения слов *кочерга, рогачилно, надовбень* уже далеки от наименования источника света: железная кочерга, например, никак не ассоциируется с последним. Народные говоры, однако, сохраняют древнейшее значение слова *кочерга* — «деревянная палка, клюка»: по материалам картотеки «Словаря русских народных говоров» (словарный сектор ЛО Института языкознания АН СССР) оно зафиксировано в рязанских, ярославских, уральских и других русских диалектах. Обозначение деревянной реалии подчеркивают для этого слова и этимологи, связывающие его с лексемами *корень, коряга, кочера, кокора* и под.<sup>3</sup> Значение

<sup>1</sup> Подробное описание вариаций этой пословицы см.: Л. Г. Скрипник, Видозміни форми фразеологічних одиниць, «Мовознавство», 1969, 4.

<sup>2</sup> Ср.: Н. В. Коссеке: Фразеологизмы, включающие в свой состав отрицание, «Вопросы семантики фразеологических единиц», ч. 1, Новгород, 1971, стр. 51—54.

<sup>3</sup> Н. М. Шанский, Слова с приставкой *ко-* и ее алломорфами в русском языке, «Этимологические исследования по русскому языку», VII, М., 1972, стр. 208—209.

«деревянная палка» (ср. *лучина*) делает оправданной лексическую замену *огарок — кочерга*. Привлечение других славянских ФЕ, образованных по данной модели (русс. диалектн. *ни богу свечка, ни черту огарыш, ни богу свечка, ни черту ожег*; белорусск. *ні богу свечка, ні чорту галавешка*; польск. *ni Bogu świeczki, ni diabłu ożoga*, чеш. *i bohu svěčku i čertu oharek* и под.), показывает, что в основе их лежит противопоставление «свеча: обгорелая головешка». Именно такую этнографическую расшифровку польского оборота *ani Bogu świeczki, ni diabłu ożoga* предлагает Ю. Кржижановский<sup>4</sup>.

Разумеется, с забвением исходной мотивировки второго компонента тематические возможности его замены могут расширяться: так, слово *ладан*, обозначающее реалию, горящую «для бога», становится (но надо подчеркнуть, что в рамках общего противопоставления «хороший источник света: плохой источник света») наименованием источника света «для черта». Тем не менее такие замены нельзя назвать «неупорядоченными»: они продолжают регулироваться тематической общностью компонентов, которая является одной из причин моделируемости ФЕ в диахроническом плане.

Тематическое единство компонентов, как кажется, — необходимое условие диагностики лексической вариативности ФЕ. За пределами этого единства кончается фразеологический вариант и начинается фразеологический синоним.

Лексикографический опыт автора наиболее ярко проявился в разделах, посвященных синонимии и полисемии украинской фразеологии. Л. Г. Скрипник тонко определяет значение ФЕ и выявляет их иерархию, дает исчерпывающе полные сводки синонимических рядов (см., например, стр. 218—219). Основой для группировки ФЕ в синонимические ряды служит их предметно-понятийная близость, но учитываются и стилистические характеристики.

Л. Г. Скрипник убедительно показывает малый удельный вес многозначных ФЕ в украинской фразеологии: по ее подсчетам, из 2990 ФЕ, зафиксированных в трех первых томах «Словника української мови», лишь 188 многозначны (стр. 206). Л. Г. Скрипник вслед за М. И. Сидоренко видит причины этого явления в специфике природы значения ФЕ (метафоричности, высокой степени абстракции) и ограниченности их употребления как образно-экспрессивных характеристик предметов или действий (стр. 207). Число многозначных украинских ФЕ, как кажется, можно еще более сократить: к последним

ошибочно причисляются и случаи, когда семантическая структура сочетания включает лишь прямое и образное его значение (например, *Не помажеш — не поїдеш* «буквально о вове, а образно о всякой протекции» — стр. 193; *віддавати кінці* «отвязывать канаты при швартовке судна» и «быстро уезжать откуда-нибудь» — стр. 194—195). При диагностировании фразеологической полисемии, как кажется, необходимо отвлекаться от прямого значения сочетания, ставшего его основой. В противном случае подавляющее большинство ФЕ можно было бы назвать многозначными.

Исторический анализ восточнославянской фразеологии все еще делает первые шаги, что резко контрастирует с ее основательной изученностью в синхронном плане. Л. Г. Скрипник постоянно подчеркивает необходимость обращения к исторической фразеологии (стр. 274), пытаясь найти в сфере первоначального употребления устойчивых сочетаний или в тематической группировке их стержневого компонента их генетические истоки.

Такой подход, в свое время успешно примененный при историческом анализе английской фразеологии Л. Смитом и польской — С. Скорушкой, во многих случаях, действительно, приближает к этимологическим решениям. Так, исключительно скрупулезная и детализованная классификация украинской фразеологии, восходящей к профессиональным терминам (стр. 159—172), нередко оказывается и диагностикой первичной мотивировки сочетания.

Установление исходной мотивировки ФЕ, однако, далеко не всегда тождественно определению сферы ее употребления. И не только потому, что последняя может быть весьма мобильной и распливающей. Чисто языковые факторы могут значительно изменить первоначальное содержание сочетания, грамматическая и лексическая вариантность — полностью преобразовать его исходную форму. Вот почему чисто лингвистический анализ, как кажется, должен предшествовать предметно-тематическому распределению фразеологии и ее классификации по сферам употребления. Л. Г. Скрипник подчеркивает необходимость учета семантической и структурно-грамматической эволюции ФЕ при определении их источника (стр. 185). Однако при конкретно-этимологическом анализе этнографическим и историческим фактам неизменно отдается предпочтение, что, как кажется, приводит к односторонней трактовке ФЕ. Так, происхождение ФЕ *дати* (*пам'яткового*) *прочухана*, употребляющегося в современном языке в значении «побить, поколотить кого-н.», прямо связывается с хорошо известным обрядом сечения на меже для «запоминания» полевых границ (стр. 157—158). Этот обряд, действительно, хорошо известен и описан русскими

<sup>4</sup> J. K r z y ż a n o w s k i, *Mądrej głowie dość dwie słowie*, I, Warszawa, 1958, стр. 87—88.

и украинскими этнографами<sup>5</sup>. С этимологической точки зрения, однако, эта «этнографическая специализация» — вторичное, а не первичное явление. Исходным значением этой ФЕ было, по-видимому, «бить, колотить», характерное и для его современного употребления. Слово *прочухан* образовано от глагола *чухати* «скрести, чесать», переосмысленного как «бить, сечь розгами» (ср. русск. *дать чесу* «побить»<sup>6</sup>). ФЕ же *дати прочухана* можно рассматривать как одно из перифрастических развертываний глаголов со значением «бить, колотить», образованное по активной фразеологической модели *дати + <удар>* (ср. укр. *дати ляца, ляпаса, нагинки, нагоняй*; русск. *дать порки, туза, вбучки, дрючки* и мн. др.). Не расширение «обрядового» значения, а, наоборот, этнографическая специализация более широкого исходного значения — таков результат чисто лингвистического подхода к этимологии этой ФЕ. Примерно такого же рода констатация характерна и для «отнесения оборота *дати (асипати) берегової каші* (стр. 170—171) к ФЕ «школьного происхождения». Она опровергается славянскими параллелями, не имеющими столь конкретного ограничения сферы употребления; ср. русск. *узнаешь вкус береговой кашки*<sup>7</sup>, белорусск. *даваць, даць бярозавай кашы «высечь розгами»*<sup>8</sup>, польск. *daj jej rózgi, ale brzo-zowego*, чеш. *poslat pana Brezovce na nékoho* и др.

Стремление к этнографической трактовке исходного значения ФЕ в книге Л. Г. Скрипник — это, вероятно, дань вековой традиции историко-этнографического подхода к фразеологии, ведущего свое начало от С. Максимова (ср., например, констатацию «чиновничьего» проис-

хождения пословицы *Дороге ячкю к великодню* — стр. 157). В исторической фразеологии, однако, давно уже назрела необходимость строго разграничить сферу употребления ФЕ от собственно лингвистических факторов их образования. Такое разграничение дает возможность сделать лингвистическую аргументацию необходимой предпосылкой для выбора той или иной этнографической версии<sup>9</sup>.

Необходимо в то же время подчеркнуть, что общая неразработанность методики исторического анализа фразеологии оправдывает принятое Л. Г. Скрипник ограничение этого анализа рамками сферы употребления фразеологических рядов. Тщательное распределение украинской фразеологии по этому принципу дает историю фразеологии ценный материал, предварительная интерпретация которого уже сделана. Эта интерпретация, как правило, опирается на высказанные прежде этимологические гипотезы. Отдельные лакуны в этом отношении (например, ФЕ *ні в зуб* «из учебного аргю» при наличии убедительной гипотезы Б. А. Ларина о его «помещичьем» происхождении<sup>10</sup> или констатация «общеславянского» характера оборота *мати зуб на кого* — стр. 149 при известном предположении о его калькировании с франц. *avoir une dent sur qn.*<sup>11</sup>) редки.

Исследование Л. Г. Скрипник дает хороший стимул для дискуссий по отдельным теоретическим и практическим проблемам. Некоторые взгляды на эти проблемы, возможно, со временем изменятся. Но богатый фактический материал монографии, обработанный опытным лексикографом, несомненно, останется ценным источником будущих исследований по восточнославянской фразеологии.

В. М. Мокиенко

<sup>5</sup> См.: М. Кулишер, *Межевые обды прежних времен*, «Вестник Европы», 1886, июнь, стр. 615—616; И. И. Иллустров, *Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках*, 3-е изд., М., 1915, стр. 185 и др.

<sup>6</sup> В. И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, IV, М., 1955, стр. 598.

<sup>7</sup> Там же, II, стр. 100.

<sup>8</sup> Г. Ф. Юрчанка, *I коціца і валіцца*, Мінск, 1972, стр. 162.

<sup>9</sup> Подробнее об этом. см. в нашей статье «Историческая фразеология: этнография или лингвистика?», ВЯ, 1973, 2.

<sup>10</sup> Б. А. Ларин, *Очерки по фразеологии*, «Уч. зап. ЛГУ», 198. Серия филол. наук, 24, 1956, стр. 211.

<sup>11</sup> Н. М. Шанский, *Лексикология современного русского языка*, М., 1972, стр. 240.

«Revista española de lingüística». Organó de la Sociedad española de lingüística. Año 1, fasc. 1, enero — junio 1971. 210 стр.

В 1971 г. вышла в свет первая тетрадь нового испанского языковедческого журнала «Revista española de lingüística». Периодичность, публикации — две тетради в год. Журнал является органом вновь образованного «Испанского линг-

вистического общества» («Sociedad española de lingüística»), задачи которого его создатели (miembros fundadores «члены-учредители») формулируют следующим образом: а) содействовать развитию лингвистических исследований в аспекте об-

щего и теоретического языкознания; б) установить контакты и наладить сотрудничество с институтами и организациями, занимающимися сходными проблемами (в частности, с Международной ассоциацией лингвистов, в которую, как говорится в уставе, Испанское лингвистическое общество намеревается влиться, когда для этого будут созданы благоприятные условия).

Столь позднее появление журнала, посвященного вопросам теоретического языкознания, в Испании, имеющей давние и прочие языковедческие традиции, может показаться странным, если не учесть некоторой специфики развития языкознания в этой стране.

Своеобразие испанской лингвистики состояло и состоит в том, что она зародилась и постоянно развивалась в лоне филологии с присущей этой науке комплексностью методов изучения, обязательным историзмом, тесной связью с конкретным языковым материалом, учетом целенаправленности речевого высказывания, вниманием к индивидуальному языковтврчеству.

Формирование лингвистических концепций в современном испанском языкознании может быть представлено как реакция на позитивизм и детерминизм младограмматиков и «обезличенный» социологизм Соссюра и вообще всей «французской социологической школы». Критика этих направлений велась с позиций эстетического идеализма (К. Фосслер), неолингвистики (М. Бартоли) и школы «слов и вещей» (Г. Шухардт). Испанским филологам и лингвистам наиболее близкой оказалась шухардтовская концепция языка.

Самостоятельность испанской лингвистической школы проявилась, во-первых, в конкретизации общих положений Фосслера — Шухардта, во-вторых, в конструктивной критике соссюрской дихотомии «язык — речь», концепции произвольности языкового знака, тезиса о принципиальной несовместимости синхронного изучения языка и исторического увлечения результатами языковой эволюции в ущерб выявлению ее причин, в-третьих, в уточнении условий, влияющих на функционирование и развитие языка (социальное положение индивида, условия его жизни, уровень его культуры, характер, возраст, эстетическое воспитание и т. п.).

Конкретизируя общетеоретические положения идеалистической эстетики, испанские филологи и лингвисты не только сняли с них налет абстрактности и умозрительности, но существенным образом их переработали: испанцев увлекла не столько концепция языковтврческой деятельности индивида (индивида вообще, любого индивида), сколько индивидуальное творчество в сфере художественной речи. Исследование языка писателя — и вообще любых текстов — стало одним

из важнейших средств изучения истории формирования и развития национального литературного языка. Именно на этом пути, уже вне зависимости от абстрактного эстетизма Фосслера — Кроче и даже в полемике с ним, были разработаны основы комплексного лингво-филологического метода изучения текстов с широким привлечением данных лингвистики, литературоведения, географии, хронологии, этнографии, истории и культуры. Создателем этого направления был выдающийся испанский филолог и лингвист Рамон Менендес Пидаль. Его идеи и методы были воплощены и реализованы в целой серии блестящих исследований его учеников и последователей — А. Кастро, Д. Алонсо, А. Алонсо, М. Альвара, Р. Лиды и др. Достижения лингво-филологической школы Р. Менендеса Пидалья велики, доказательством чему является «экспортирование научных идей и методов» в другие национальные филологические школы (ср. высказывание Д. Алонсо о том, что пидальская школа есть «la única escuela desde la caula España ha exportado ciencia»). Успехи лингво-филологии подготовили почву для расцвета испанской исторической диалектологии, лингво-географии и исторической лингвистики. Синхронное описание языка развивалось спонтанно, стимулированное скорее нуждами преподавания, чем потребностями научно-методологического характера. Что касается общетеоретических языковедческих идей, методологии синхронного изучения языка, то нужно сказать, что здесь импорт заметно превосходит экспорт.

У испанских языковедов интерес к общелингвистическим проблемам обычно сочетается со стремлением глубже осмыслить конкретный материал частных языковедческих дисциплин, прежде всего испанистики. Типична в этом отношении книга Диего Каталана Менендеса-Пидалья «Испанская лингвистическая школа и ее концепция языка» («La escuela lingüística española y su concepción del lenguaje», Madrid, 1955), в которой автор следующим образом формулирует свой «методологический принцип»: «...постановку вопросов общелингвистического характера я иллюстрировал чисто испанским языковым материалом» (стр. 10). Более точно содержание и смысл книги отражен в подзаголовке «Введение в общее языкознание применительно к испанскому материалу».

«Структурная грамматика» Эмилио Аларкоса Льюрака («Gramática estructural», Madrid, 1951) также имеет характерный подзаголовок: «В соответствии с теорией копенгагенской школы и с особым вниманием к грамматике испанского языка» («Según la escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española»).

Подобная «перелицовка» испанского грамматического материала по структурным лекалам является реакцией, в какой-

то степени понятной, на традиционные грамматики, школьные и академические, которые представляют собой каталоги «случаев употребления» грамматических форм и значений, но от которой трудно ожидать оригинальности.

Испанские грамматики, описанные «по Ельмслеву», или фонологии, «сделанные по Трубецкому», иллюстрации различного рода законов (например, экономии, асимметричности языкового знака и пр.) испанским материалом, подтверждая справедливость общетеоретических положений, формул, законов и концепций, пока еще не дали желаемых (или ожидаемых) результатов: новые пути приводят чаще всего к подтверждению старых открытий (что тоже важно), чем к новым находкам.

Первый номер журнала отражает стремление редакционной коллегии сочетать исследования общезыковедческих проблем с разработкой частных вопросов в общетеоретическом аспекте. Вместе с тем, частные вопросы касаются не только испанского, но и других языков, что также соответствует стремлению редакции журнала выйти за пределы испанского материала и включить также некоторые междисциплинарные проблемы. К первому типу можно отнести теоретическую статью крупнейшего испанского филолога и лингвиста Мануэля Альвара «Bilingüismo e integración» («Билингвизм и языковая интеграция»), в которой с присущей этому автору основательностью уточняется ряд положений теории языковых контактов. Важной особенностью этой новой работы М. Альвара является не только глубокий анализ языковой ситуации в Латинской Америке, но и понимание ответственности ученых-лингвистов за судьбы языкового строительства.

Проблему билингвизма, как это является из заглавия статьи, автор связывает с интеграцией: слиянием индейского и европейского начал в единый национальный сплав, культурный, экономический и политический. Общность любой социальной группы может быть достигнута при помощи языка, хотя и не сводится только к языковому единству. При слиянии двух разноязычных групп происходит смена языка: одна из групп вынуждена принять чужой язык. Практически в Латинской Америке идет речь о приобщении индейского населения к национальной культуре соответствующей страны и о смене индейского языка на испанский. Процесс переключения с одного языка (индейского) на другой (испанский) осуществляется разными способами. Один из них, применявшийся еще в колониальный период, сводился к следующей программе: 1) обучение письменности на родном языке раньше, чем на испанском; 2) использование родного языка для объяснения элементарных понятий соответствующих школьных дисциплин; 3) привле-

чение в качестве учителей лиц индейского происхождения. Этот способ приобщения к национальному (испанскому) языку может рассматриваться в качестве переходного этапа на пути овладения национальным государственным языком в его устной и письменной форме.

Другой способ состоит в преподавании устной формы испанского языка с учетом местных особенностей этого языка на первом этапе и обучение общенациональной норме испанского языка на втором.

В большинстве случаев проблема интеграции решается (речь идет о рекомендациях) путем преподавания индейской письменности (на основе испанского алфавита) в начальной школе и испанского языка в устной и письменной форме в средней и высшей школе. В этих и подобных случаях речь идет вовсе не о том, чтобы индеец забыл о своей этнической принадлежности, покинул свою социальную группу, изменил характер одежды, перестал говорить на своем языке. Речь идет о том, чтобы посредством билингвизма он приобщился к более разнообразной и богатой культуре, что помогло бы ему более глубоко оценить достоинства индейской культуры и языка. Мануэль Альвар неоднократно подчеркивает в своей статье, что в таких социолингвистических ситуациях, какие сложились, например, в Мексике, Перу, Эквадоре и в других странах Латинской Америки, где наличие огромного количества индейских языков является «фактором, тормозящим национальную консолидацию», знание официального языка есть неременное условие нормального развития метисованных (не только в биологическом, но и в культурном смысле) наций.

В связи со статьей М. Альвара следует обратить внимание на то обстоятельство, что испанская социолингвистика лишена черт умозрительности и теоретичности, которые характеризуют современный этап развития некоторых национальных социолингвистических школ.

Отношения между языком и социумом рассматриваются и изучаются испанскими языковедами в двух аспектах. Первый отвечает формуле-призыву, с которым современный испанский поэт Хорхе Гильен обратился к своим соотечественникам «обитателям Пиренейского полуострова»: «¿Península? No basta geografía./Queremos un paisaje con historia» «Полуостров? География — это не все./Нам нужен ландшафт с историей». Испанские диалектологи, много и плодотворно изучавшие мозаичный лингвистический ландшафт страны, обратили внимание на социально-историческое пространство и теперь вплотную занялись «вертикальными» диалектами (М. Альвар, А. Килис, Д. Каталан Менендес-Пидаль, Г. Сальвадор, Х. Регуло Перес и др.). Среди работ этого направления следует назвать фундаментальное исследование М. Альвара,

посвященное городской речи Лас Пальмас (Канарские острова)<sup>1</sup>.

Другой аспект испанской социолингвистики характеризуется обостренным вниманием к испанской языковой ситуации в связи с тем, что ее «участниками» в пределах государства являются официальный «высокопрестижный» испанский, с одной стороны, и «непрестижные» галисийский, каталанский<sup>2</sup> и баскский — с другой.

Ситуация таких «непрестижных» романских языков, как каталанский и особенно галисийский, в современной Испании настолько драматична, что, описывая ее, лингвисты перемежают «беспристрастные» научные термины социолингвистики с вполне оправданными социально-политическими определениями, оценивающими нынешнее положение неофициальных языков Испании как катастрофическое. Социальное неравенство двух языков — испанского и галисийского — в условиях двуязычия нашло отражение во введении специального термина «длингвизм» (*dilinguismo*), которым обозначают сложившуюся конфликтную двуязычную ситуацию: функции галисийского ограничиваются узкой сферой бытового общения, тогда как испанский используется во всех престижных функциях (официально-деловой, научной, художественной)<sup>3</sup>.

Интерес испанских языковедов (и ученых Латинской Америки) к билингвизму в испаноязычных странах возник давно и всегда носил не абстрактно-теоретический, а «прикладной» характер в связи с тем, что латиноамериканский ареал с самого начала формировался как испано-индейский, а в дальнейшем и испано-африканский. Рецензируемая статья М. Альвара принадлежит к числу лучших работ, посвященных билингвизму на американском континенте<sup>4</sup>.

В серии статей второго типа обращает на себя внимание исследование Ф. Р. Адрадоса «Семантическое поле „любовь“ у Сафо» («El campo semántico del amor en Safo»). Теоретический смысл и научная актуальность этой блестяще выполненной работы заключаются, между прочим, в ее полемичности. В рецензии

на испанский перевод книги К. Балдинге-ра «Teoría semántica. Nacia una semántica moderna» (Madrid, 1971) Ф. Р. Адрадос, не отвергая нового («блочного») метода семантического анализа, вместе с тем считает нужным заметить: «Я лично предпочитаю исходить из совокупности реальных фактов данного языка, т. е. только таких, которые в нем действительно содержатся» (рецензия помещена в этом же номере журнала, стр. 203—205). Автор видит свою задачу «не в построении трапений и треугольников», а в описании и анализе конкретного («текстового») материала с тем, чтобы всякий раз возникали предпосылки для установления связей между языком, литературой и мышлением.

Эту трудноустанавливаемую связь удалось показать, например, блестящему теоретику-стилисту Амадо Алонсо в целой серии работ, посвященных анализу поэтического языка писателей, крупнейшему испанскому филологу Дамасо Алонсо в исследованиях по языку и стилю Гонгоры, Гарсиасы де ла Вега, Хуана де ла Крус и др. Однако в испанской филологической школе не было сделано сознательных попыток исследования семантической природы словаря чисто лингвистическими методами (не говоря уже о структуральных). Статья Ф. Р. Адрадоса — не исключение. Вместе с тем в ней автор стремится вскрыть и описать собственные значения слов и внутриязыковые их связи, действительно существующие не только «в речи» Сафо, но и «в языке» греков, используя для этой цели комплексный анализ категорий поэтики, художественных представлений, логических понятий и элементов реальной (исторической) действительности.

Статья Хесуса Кантера посвящена способам выражения экспрессивности в современном французском языке («Los procedimientos de expresividad en francés moderno»). Интересная по материалу, она не содержит принципиально новых теоретических положений. Противопоставление старофранцузского языка как «языка сердца и чувств» (*lengua del corazón y de los sentimientos*) современному, как «языку головному и рациональному» («*lengua del cerebro y de la razón*») следует отнести скорее к чувствам исследователя, чем к рациональному осмыслению специфики французского языка, рассматриваемого по двум историческим срезам.

В небольшой, но содержательной статье Видаль Ламикис описываются свойства испанского глагола с точки зрения «уровней актуальности» («Los niveles de actualidad») в соответствии с идеей Бенвениста о двух различных планах сообщения: плана истории (неактуальность) и плана говорения (актуальность). В последнем разделе статьи автор анализирует характер соотношения уровней актуальности глагола с деиктической функ-

<sup>1</sup> M. A l v a r, Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1972.

<sup>2</sup> Ср.: A. M. B a d i a i M a r g a r i t, Lengua i cultura als països catalans, Barcelona, 1966; F. V a l l e r d ú, Dues llengües: dues funcions?, Barcelona, 1970.

<sup>3</sup> Ср.: X. A l o n s o M o n t e r o, Informe dramático sobre la lengua gallega, Madrid, 1973, стр. 32—36.

<sup>4</sup> Обширная библиография содержится в книге Э. Хаугена «Bilingualism in the American: a bibliography and research guide», Alabama, 1956.

цией места и времени и указательных местоимений.

Индоевропейстика не получила развития ни в Испании, ни в других испаноязычных странах, поэтому появление даже небольшой работы Франсиско Вильяра, посвященной фонологическому статусу аспирированных глухих в индоевропейском («El problema de las sordas aspiradas indo-europeas») представит интерес для испанских и латиноамериканских лингвистов (особенно молодого поколения) и может стимулировать обращение их к спорным проблемам этой области языкознания.

В статье Эулалии Родон исследуется фоно-фонологическая природа /г/ в английском языке («Caracterización del fonema /R/ en inglés») и устанавливается ее двойственная природа: в современной фонологической системе она занимает промежуточное положение между согласными и гласными фонемами.

В журнале помещена единственная работа, относящаяся к ряду дисциплинарных. Речь идет о статье Хосе Луиса Пинильоса «Значение с психологической точки зрения» (Significación desde el punto de vista psicológico). Автор широко использует идеи акад. И. П. Павлова о двух сигнальных системах, противопоставляя их ошибочным положениям бихевиористов и необихевиористов и приходит к выводу о том, что «значение, в конечном счете, является собой род схемы, которая организует определенным образом предшествующий опыт, отложившийся в виде ступков-абстракций, способных реактуализироваться и развертываться под активным влиянием словесных знаков» (стр. 117).

В критико-библиографическом разделе («Reseñas») привлекают внимание пять (из 12) рецензий Ф. Адрадоса, анализирующих новые работы в области функциональной лингвистики и трансформационной грамматики (Кр. Рорер), синтаксиса (Ахманова и Микаэлян), семантики (Балдингер), теории слова как единицы языка (Крамски) и семиотической теории классов слов (В. Шмидт). Все рецензии проникнуты общей идеей: признавая полезность самых разнообразных подходов к такому сложному объекту, как язык, автор напоминает о том, что не следует забывать о реальных возможностях используемых методов, достоинство которых часто состоит в «удобстве описания», «не гарантирующем, однако, достоверности описываемого объекта».

Остальные рецензии посвящены материалам X Международного конгресса лингвистов (где особо отмечаются интересные доклады советских языковедов О. С. Ахмановой и Г. Г. Почепцова), книгам по социалингвистике (О. Урибе Вильегас), функциональному аспекту языка (А. Мартине), языковым контактам (В. Руке-Дравина) и др.

В разделе информации, кроме «Устава испанского лингвистического общества», помещены сообщения о проблемах

математической лингвистики, разрабатываемых в вычислительном центре Мадридского университета, и о работе семинара по математической лингвистике в том же университете. Одна из информации заканчивается следующими словами: «Нам хотелось бы использовать страницы этого журнала в целях наведения моста, который соединил бы нас с учеными, интересующимися проблемами языка с иных позиций, в целях преодоления языкового барьера, которым отгораживается каждая область специальных лингвистических исследований, и мы выражаем убеждение в том, что если нам удастся преодолеть этот барьер, то все от этого окажется в выигрыше; при этом следует признать, что в наибольшем выигрыше окажемся мы сами, ибо, погружаясь целиком в исследование формальной стороны языка, мы часто упускаем из вида материальную субстанцию изучаемого объекта».

Характерно заявление, свидетельствующее о том, что самые общие идеи испанской национальной филологической школы служат испанским представителям математической лингвистики своеобразным ориентиром, не позволяющим терять из виду действительные пределы своих знаний.

Тот же дух филологий как комплексной науки пронизывает и лучшие лингвистические статьи журнала.

«Испанский лингвистический журнал», на страницах которого, естественно, должна найти отражение чисто испанистическая проблематика, явится важным пополнением журнального фонда, основу которого составляют такие широко известные испаноязычные периодические издания, как «Revista de filología española» (RFE), выходящее в Мадриде, «Nueva Revista de filología hispánica» (NRFH) — в Мексике, а также несколько академических и университетских бюллетеней: «Boletín de la Academia Argentina de letras» (BAAL) — в Буэнос-Айресе, «Boletín de la Real Academia Española» (BAE) — в Мадриде, «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (BICC) — в Боготе и некот. др.

Включение общероманской тематики и исследований по отдельным романским языкам или подгруппам романских языков восполнит в какой-то степени отсутствие в Испании специальных романистических журналов вроде «Romanische Forschungen» (RF, Кёльн — Франкфурт), «Revue de linguistique romane» (RLiR, Лион), «Romance philology» (Rom Ph., Беркли — Лос-Анжелес — Лондон), «Romanic review» (RR, Нью-Йорк) и др.

Однако следует полагать, что первый лингвистический журнал Испании в дальнейшем будет уделять внимание широкому кругу языковедческих проблем, связанных не только с романской и испанской тематикой, но с общей теорией языка и с другими частными языковедческими дисциплинами.

Г. В. Степанов

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

10 января 1974 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись очередные — пятые — чтения памяти академика Виктора Владимировича Виноградова, посвященные проблемам культуры речи.

Во вступительном слове член-корр. АН СССР Ф. П. Филин дал высокую оценку работам академика В. В. Виноградова, в частности, тем, в которых В. В. Виноградов обращается к вопросам стиля и нормы, к проблемам речевой культуры; Ф. П. Филин выделил круг вопросов названной области, которые особенно остро нуждаются в дальнейшем углубленном изучении.

С докладом «Функциональные стили в региональных вариантах языка» выступил Г. В. Степанов (Москва). В докладе развивалась мысль о том, что понимание языка в целом следует соединить с идеей о языке как об исторически выработанном наборе форм существования и типов функционирования, возникших на базе варьирования единой в своей основе языковой субстанции в целях обеспечения наиболее целесообразной и эффективной передачи общественных видов информации. Вариативность языка (территориальная, социальная, функционально-стилистическая, жанровая) осуществляется на уровне нормы, на уровне системы и в результате использования подсистемных (территориальных, социальных) и иносистемных единиц, а также за счет переразложения элементов различных функциональных стилей и их экспрессивно-стилистической маркировки.

Принцип функционального описания внешней системы языка (и его вариантов) основывается на последовательном применении понятийного аппарата, состоящего из нескольких категориальных понятий, организованных в форму оппозиций: синхрония — диахрония, синтопия (атопия) — диатопия, синстратия (моностратия) — диастратия. Последняя используется для описания социального типа варьирования. Функционально-стилистическая вариативность языка, возникающая как результат прагматического подхода носителей языка к языковой деятельности, может быть описана на основе еще одной оппозиции: монофункция —

полифункция. Этот понятийный аппарат используется докладчиком при описании двух региональных вариантов испанского языка: сефардского (пример «дисфункций») и аргентинского (пример нормального развития функций).

В докладе был подчеркнут огромный вклад акад. В. В. Виноградова в изучение проблемы общей («внешней») системы языка.

Доклад Т. Г. Винокур (Москва) «О смысловых сдвигах в стилистической синонимике» был посвящен анализу соотношения синонимии с функционально-стилистической стратификацией элементов языка. Понятием «стилистика синонимии» не исчерпывается содержание функциональных соответствий, которые далеко не всегда могут быть обнаружены при сопоставлении конкретного наполнения разных сфер языкового употребления. Причина этого заключается в том, что каждая такая сфера характеризуется чисто содержательными критериями, предопределяющими избирательность смысловых структур, наиболее свойственных языковым единицам, обслуживающим данную функцию речевого общения.

Поэтому, по мнению докладчика, общее представление о стилистической синонимии как основе экспрессивно- и функционально-стилистической дифференциации языковых средств выражения может быть уточнено, если будут выделены три типа связи сопоставимых единиц разных стилей: смысловые сдвиги, смысловая адаптация и описательные эквиваленты.

В докладе Л. И. Скворцова (Москва) «Культура языка как элемент национальной культуры» была сделана попытка определить характерные черты русского национального стилистического выражения (в литературе и в языке); докладчик ввел понятие общенациональной языковой нормы.

История языка — это история народа, на нем говорящего. И в этом смысле всякий развитый национальный язык представляет собой своеобразный стиль национального выражения. Знаменитое высказывание И. С. Тургенева о великом, могучем, правдивом и свободном русском языке можно, по-видимому, достаточно строго научно интерпретировать и дока-

зять его лингвистическую содержательность как формулы составляющих частей русского национального стиля. Величие русского языка подтверждается величиной русской литературы, которая вошла в сокровищницу общечеловеческой художественной мысли. Могущество и сила русского языка проявляются в особенностях его структуры, скрывающей богатейшие смысловые и выразительные возможности. Правдивость русского языка и национального русского стилевого выражения справедливо усматривается в стилистической смелости больших русских писателей, в их верности правде жизни и языка. Свобода русского языка проявляется в богатстве синонимических средств, емкости семантической структуры, незакрепленности синтаксических конструкций, позволяющих различными способами передавать сложнейшие и тончайшие оттенки мыслей и чувств.

Национальный язык и литература любого народа отражают его мировоззрение, психологию и накопленный исторический опыт в формулах оригинально-специфических и понятных народу. Национально-специфические черты несут в себе и литературные жанры: роман, очерк, рассказ и т. п. Обращение к опыту читателя и слушателя, надежда на его живое сопереживание — характерная черта национального художественного стиля, ярко проявляющаяся в языке (фольклорные мотивы, сказовая манера повествования и т. п.).

Литературный язык — это язык отработанный, отшлифованный вековым употреблением; богатый письменными традициями. Поэтому одно из главных его достоинств — сложность и многообразие системы выразительных средств, их освоенное богатство для выражения тончайших оттенков мыслей и чувств. В советскую эпоху происходит постоянное расширение нормативности русского речевого употребления, — как в сфере бытовых и производственных отношений, так и в области литературно-художественной деятельности. Научно-техническая революция, приводя к «технизации» общества, своеобразно отражается в «технизации» языка — от этого он усложняется, но не «рационализируется» и не «логизируется», а стилистически перестраивается.

В докладе К. С. Горбачевича (Ленинград) «Зоны интенсивной вариантности и компромиссная норма» был поставлен вопрос зависимости нормы от характера вариантности. На основе различий причин, обуславливающих появление вариантов, докладчиком выделяются сильные (порождающиеся внутрисистемными факторами развития языка) и слабые (порождающиеся причинами внешнего характера) зоны варьирования. Для вариантов слабой зоны характерна жесткая (императивная) норма. В зонах

сильной вариантности, где действуют живые языковые тенденции, кодификация языка объективно затруднена, вследствие чего и появляется компромиссная норма, согласно которой варианты признаются относительно равноценными в лингвистическом отношении.

В докладе Л. К. Граудиной (Москва) «Об одном критерии нормы в грамматике» говорилось о том, что для исследования теоретических основ культуры языка и культуры речи «должны быть использованы все живые и продуктивные методы современного языкознания — качественные и количественные, структурные и внутренние, семантические и др.»<sup>1</sup>. Статистические показатели могут быть использованы как объективные показатели употребительности форм. В докладе были освещены результаты работы, позволившей определить, какие именно закономерности могут быть раскрыты с помощью вероятностно-статистического метода в области нормативного исследования грамматических вариантов. В связи с проблемой прогнозирования был предложен прием перспективной экстраполяции, который позволяет определить ближайшее будущее литературной нормы для некоторых типов грамматических вариантов.

В докладе Н. Г. Михайловской (Москва) «Историческая динамика нормы» рассматривались возможности применения нормативного аспекта к исследованию истории языка. Для определения исторической динамики нормы следует определить основные тенденции развития, которые приводят к смене и изменению языковых явлений. При становлении новых норм оказываются возможными такие факты, как потеря языковыми элементами своей традиционной функциональной закрепленности, когда границы употребления форм, принадлежащих определенной стилевой разновидности, становятся распылчатыми.

Докладчик считает возможным дополнить традиционный метод диахронического рассмотрения истории языковых явлений, при котором за точку отсчета принимается более ранний период, ретроспективным методом. Применительно к рассматриваемой проблеме точкой отсчета послужат современные нормы.

В заключение присутствовавшие прослушали магнитофонную запись беседы академика В. В. Виноградова по первой программе радиовещания 2 февраля 1961 г. «О культуре русской речи»<sup>2</sup>.

Г. И. Мисьяевич (Москва)

<sup>1</sup> В. В. Виноградов, Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания, ВЯ, 1964, 3, стр. 18.

<sup>2</sup> Эта запись издана как приложение (пластинка) к журналу «Кругозор», 1973, 9.

11 января 1974 г. на кафедре русского языка филологического факультета МГУ состоялись традиционные чтения памяти академика Виктора Владимировича Виноградова, которые были посвящены проблемам современного русского языка, в частности, вопросам морфологии, синтаксиса и функциональной стилистики.

Открывая чтения, Г. В. Горшкова (Москва) в кратком вступительном слове указала на многосторонность научной деятельности академика В. В. Виноградова. Сиякретический характер дарования В. В. Виноградова позволил ему быть исследователем самых разных сторон языка — истории русского литературного языка, его грамматики и стилистики, взятых в их взаимодействие и взаимообусловленности. Он неоднократно указывал на стилистическую сложность системы современного русского литературного языка, в которой наблюдается сложное, подчас противоречивое взаимоотношение ее подсистем.

Развитию этих идей В. В. Виноградова, и в частности, идей взаимоотношения синтаксиса с другими ярусами языковой системы, был посвящен доклад О. А. Лаптевой (Москва) «Труды В. В. Виноградова по грамматике и стилистике и вопрос о взаимоотношении этих дисциплин». При функциональном размежевании литературного языка наблюдается отход от единообразия речевой реализации грамматического строя, которое диктуется требованием консолидирующей нормы. В результате на одном полюсе наблюдается упрощение нормативности литературного языка, его «уединоображивание», на другом — усиление его функционального размежевания, возникновение особых внутрителивых норм. Функциональное размежевание захватывает все ярусы языковой системы и активно влияет на грамматику, определяя множественность ее реально-языковых воплощений. Это противоречие снимается выработкой определенных способов взаимодействия общелитературной нормы с внутрителивыми и их взаимоупорядочения. Далее докладчик останавливается на вопросе о том, каким образом функциональная специфика воздействует на организацию синтаксического ряда в устноразговорной разновидности современного русского литературного языка. Этот ряд имеет сложное строение, в нем можно выделить горизонтальную часть как воплощение синонимических гетерофункциональных отношений и вертикальную, показывающую, каким образом соотносятся реализации и модификации в пределах одной синтаксической модели. Докладчик перечисляет конструктивные признаки некоторых моделей и их модификаций и

показывает возможности слияния модификаций и реализации разных моделей при некоторых дополнительных структурных условиях. Производя варьирование некоторых элементов, докладчик иллюстрирует возможность таких слияний. Затем он показывает, каким образом в горизонтальную часть сложного ряда входят соответствующие общелитературные эквиваленты. При этом отмечается, что вариантность не ослабляет строгости требований нормы, которая в пределах данной функционально-речевой сферы допускает обычно лишь две возможности — либо верность стереотипу, либо обращение к общелитературной модели. Выбор той или иной возможности определяется ситуационно — тематическими условиями речи.

В докладе И. Г. Милославского (Москва) «Являются ли местоимения частью речи?» развивается идея В. В. Виноградова о необоснованности выделения местоимений как особой части речи. Два с небольшим десятка местоименных лексем, выделяемых в самостоятельную часть речи, В. В. Виноградов рассматривал как «грамматические пережитки местоимений как особой части речи в современном русском языке». Между тем в школьных учебниках, вышедших спустя 25 лет после работ В. В. Виноградова, местоимения по-прежнему рассматриваются как часть речи, которая «указывает на предметы, признаки, количества, но не называет их». Докладчик убедительно говорит о неправомерности такого подхода к местоимениям и на конкретных примерах показывает, что предметно-личные местоимения не обладают какими-либо специфическими свойствами в отношении числа, рода, падежа, которые не наблюдались бы у существительных (например, местоимения *я, ты, мы, вы, чуждые* идее счета, тождественны существительным типа *совесть, злопоты*; местоимение *кто* и производные от него могут иметь синтаксическое ед. и мн. число, как и существительные *пальто, такси*; что касается рода местоимений, то местоимение *что* и производные от него могут быть отнесены к ср. роду, *мы, вы* — к парному роду, *кто* — к муж. и жен. роду и т. д.). Выделение предметно-личных местоимений в особую часть речи на основании особенностей в склонении (супплетивизм) также неправомерно, так как подобные явления наблюдаются и у глаголов. В то же время предметно-личные местоимения обладают рядом синтаксических особенностей, о которых много писал В. В. Виноградов, однако классификация словоформ на основе их синтаксической функции не тождественна с грамматическим выделением части речи.

В. В. Виноградов придавал большое значение изучению контекстных связей слова и предложения. Проблемам смы-

словой и формальной организации связного текста на чтениях был посвящен доклад Т. М. Николоевой (Москва) «О содержательных категориях и формальных средствах связного текста». Докладчик показал, что при включении предложений в текст в зависимости от установки говорящего они могут приобретать определенные структурные признаки: связочные элементы типа частиц, тот или иной порядок слов, разные способы выделения отдельных элементов. По-видимому, существует не просто недифференцированная «связность» текста, но разные структурные возможности достичь эту связность. Существует целый ряд типовых смысловых установок, определяющих наличие типовых признаков. В качестве первого экспериментального списка докладчик перечисляет ряд смысловых единиц и соответствующих им формальных способов организации текста. Смысловые категории: смысловое равновесие, выделение, определенность, нарративность, предупоминание, градация смысловой важности, presupпозиция; формальные средства: актуальное членение, линейное расположение элементов, подчеркивание, движение тем, проминализация, артиклизация, определенные способы последовательного представления понятий. В каждом реальном высказывании может выражаться разная комбинация текстовых смыслов, от максимальной до минимальной, — так же, как реальная словоформа может выражаться различным числом грамматических морфов. Смысловые единицы и формальные способы не соотносятся однозначно, возможно синонимическое и функциональное их перекрещивание.

Г. В. В а л и м о в а (Ростов-на-Дону) в докладе «Семантико-синтаксические соответствия вопросительных предложений другим структурам», указав на сложность семантики вопросительного предложения (включающей сему поиска, сему сообщения и сему побуждения), остановилась на различных группировках этих сем и определении условий синонимии вопросительных предложений с предложениями невопросительными. Одним из таких условий, по мнению докладчика, является сближение семантики вопросительного и побудительного предложений, которое происходит на основе сближения их модальных значений и реализации семы побуждения к невербальному действию, являющемуся результатом согласия или несогласия с предложением, выраженным в вопросительной форме. Далее докладчик показал многозначность структуры вопросительного предложения, регулярность указанных синонимических отношений. Их ограничения проявляются как в семантике, так и в структурных признаках предложения.

В докладе А. Ф. П р и я т к и н о й (Владивосток) «О конструктивных свой-

ствах союзов» было подчеркнуто, что В. В. Виноградову принадлежит идея о синтаксической природе союзов и их принципиальной независимости от морфологических характеристик связываемых слов. Это положение, по мнению докладчика, можно интерпретировать и более широко — как положение о независимости союза вообще от формы связываемых единиц, что позволяет ему выражать отношения не только между словами, но и между группами слов, синтагмами, предложениями. В то же время каждый союз обладает индивидуальными синтаксическими свойствами и может быть охарактеризован с точки зрения способности образовывать синтаксическую конструкцию. Формальная характеристика союзов, лежащая в основе выделения сочинительных и подчинительных союзов, является слишком общей и не отражает в полной мере различий в способности союзов образовывать синтаксические построения (союз *а*, например, в отличие от *и*, не способен самостоятельно соединять два слова, он нуждается в опоре на служебное слово, например, отрицание: *не он*, *а ты*, или дополнительный член, хотя оба они сочинительные союзы). Поэтому докладчик выдвигает понятие «конструктивные свойства союзов», которое выражает способность союза создавать конструкцию. Союзные конструкции не вписываются полностью ни в синтаксис словосочетания, ни в синтаксис предложения, поэтому компоненты их не могут быть охарактеризованы в терминах членов предложения.

В. В. Виноградов в своих работах неоднократно писал о синтаксических свойствах предлогов. Предложные конструкции могут иметь относительную смысловую самостоятельность и выражать особые обстоятельственные значения. В докладе А. А. К а м ы н и н о й (Москва) «О роли предлогов в формировании предикативно-обстоятельственных оборотов» была высказана мысль о том, что существуют разные типы отношения периферийных обстоятельственных членов к предложению: одни семантически представляют собою потенциальное предложение, другие же аналогичны предложению по своей семантико-синтаксической организации. Последние образуют вторичные предикативные центры в предложении. На периферии они представлены обстоятельственными предложными оборотами. Эти обороты характеризуются относительной смысловой автономностью и синтаксической изолированностью на основе этой автономности. Предлог в таких оборотах выходит за пределы морфологического синтаксиса, о чем свидетельствует способность отдельных предлогов образовывать только предложенческие структуры, а иногда входить в союзные сочетания или даже употребляться в роли союза. Такой предлог участвует в фор-

мировании модально-временного значения оборота (на основе относительного синтаксического времени). В связи с этим предлоги могут рассматриваться как актуализаторы именных форм в составе оборота, входящего в предложение.

Доклад В. А. Белошапковой (Москва) «О синтаксической связи между подлежащим и сказуемым» был посвящен анализу традиционных представлений об этом виде связи в свете идей В. В. Виноградова. Синтаксическая традиция определяет связь между подлежащим и сказуемым как согласование, при котором наблюдается уподобление зависимого компонента (сказуемого) главному (подлежащему) в общих у них грамматических формах. Однако существует и другое направление зависимости, а именно подлежащего от сказуемого. В этом случае связь между ними можно рассматривать как управление, так как глагол требует именительного падежа существительного. Наличие такой двойной разнонаправленной зависимости в сочетаниях именительного падежа существительного и спрягаемой формы глагола заставляет квалифицировать связь между ними как взаимозависимость, основанную на сосуществовании согласования (в котором реализуется зависимость сказуемого от подлежащего) и управления (в котором реализуется зависимость подлежащего от сказуемого). Во взаимозависимости подлежащего и сказуемого В. В. Виноградов видел специфику связи компонентов предикативных сочетаний. Однако взаимозависимость существует и в непредикативных сочетаниях, в частности в сочетаниях, образованных именительным — винительным падежом числительного, изменяющегося по родам, и родительным падежом существительного (типа: *два друга — две подруги*). В заключение докладчик останавливается на вопросе о разной ценности подлежащего и сказуемого в предложении. Подлежащее и сказуемое не составляют, подобно сочетаниям взаимосвязанных форм числительного и существительного, одного комплексного компонента предложения: сказуемое, являясь носителем предикативности, образует конструктивный центр предложения, подлежащее же представляет собой конструктивно необходимое расширение этого центра.

Т. И. Вендина (Москва)

\*

26—27 ноября 1973 г. в г. Ленинграде состоялась Мещаниновские чтения, посвященные 90-летию со дня рождения акад. И. И. Мещанинова и организованные ИЯ АН СССР, ЛО ИЯ АН СССР и Научным советом по теории советского языкознания при ОЛЯ АН СССР.

Открывая заседание, А. В. Десницкая (Ленинград) отметила, что тема настоящих чтений — «Типология грамматических категорий» — вплоть до смерти ученого занимала одно из центральных мест в его исследованиях: от типологических исследований с исторической ориентацией 30-х гг. до синхронно-типологических исследований 40—50-х гг., ставших в настоящее время одним из основных направлений современного языкознания. В этих исследованиях И. И. Мещанинов выступал как смелый новатор, остро чувствующий актуальность лингвистической проблематики. В заключение А. В. Десницкая выразила пожелание о том, чтобы на очередных Мещаниновских чтениях были бы специально рассмотрены проблемы исторической типологии грамматических категорий.

В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языка», отметив сложность взаимодействий морфологических и синтаксических средств, образующих грамматическую категорию, остановилась на разнообразии форм их выражения в языках различных типов, выделив «опорные» значения для той или иной группы форм, которые наиболее полно реализуются в соответствующих парадигматических рядах. Типология сравниваемых языков проявляется главным образом в различном построении систем грамматических значений, путем изучения которых могут быть установлены общие законы развития грамматических явлений в языках мира.

М. М. Гухман (Москва) в докладе «Соотношение морфологических категорий и типологии языков» предложила разграничивать грамматические категории и грамматические понятия (понятийные категории). Первые конкретны для каждого языка, вторые проявляются в бесконечном многообразии реализаций. Грамматические понятия часто обнаруживают универсальность, а грамматические категории, особенно словоизменительные, — типологичность. Некоторые грамматические категории словоизменительного уровня соотнесены с типом языка и выступают как индикаторы (категории типологически релевантные), другим это не свойственно (категории типологически иррелевантные). Раскрытие грамматической категории определяется не внешними признаками (флексия, агглютинация), но структурой парадигмы (например, на словоизменительном уровне).

Т. С. Шарадзендзе (Тбилиси) в докладе «Грамматические категории и морфологические типы языков» отметила, что грамматические категории передаются специфическими средствами (аффиксация, аблаут, вспомогательные слова или частицы, порядок слов и др.). Отношения, передаваемые в одном языке грамматическими категориями, в другом выражаются

лексически. Для разграничения языковых явлений решающее значение имеет не выражаемое содержание, а форма выражения. Однако отсутствие дифференцированности морфологических и синтаксических категорий приводит к игнорированию структурных особенностей различных языков. В языках одного морфологического типа могут наблюдаться различные грамматические категории, в языках различных типов могут существовать сходные грамматические категории; более того — в одном языке на разных этапах его развития бывают представлены различные грамматические категории при сохранении неизменным морфологического типа языка. Было бы преждевременно говорить о типологии грамматических категорий в целом, но во всяком случае, по мнению докладчика, целесообразно создание типологических классификаций на основе отдельных грамматических категорий.

Ф. А. Г а н и е в (Казань) остановился на лингвистических принципах типологических исследований, отметив, что иногда сопоставляются грамматические категории в качестве одинаковых, хотя в основе их лежат различные сущностные признаки. При сопоставительном изучении, например, тюркских языков обращается мало внимания на их аналитизм. Между тем значительная роль аналитизма в тюркских языках позволяет, по мнению Ф. А. Ганиева, называть их «синтетико-аналитическими».

П. Я. С к о р и к (Ленинград) в докладе «Грамматические категории и структурный тип языка» отметил, что, как явствует из исследований И. И. Мещанинова, для типологической классификации языков наиболее приемлемым является не морфологический критерий, а общеграмматический, когда за определяющий признак принимается грамматический строй языка, наиболее полно выражающийся в структуре предложения. Подробно рассматривалась система грамматических категорий и их выражение в соответствующих грамматических формах, главным образом на материале инкорпорирующих языков. Наиболее правильным для типологической классификации признается синтактико-морфологический критерий, применявшийся И. И. Мещаниновым. По мнению докладчика, языки разделяются на два основных типа — аналитические и синтетические. В первых доминируют синтаксические средства, во вторых — морфологические. В свою очередь эти языковые типы подразделяются на более узкие структурные типы. Инкорпорирующие языки, несомненно, относятся к синтетическим языкам.

В аморфном языке слово не делится на вещественную и формальную части, и не всегда равно корню — возможны состоящие из двух и более корней слож-

ные слова, — сказал в докладе «Грамматические категории аморфного языка» С. Е. Я х о н т о в (Ленинград). В аморфных языках не может быть падежей, а также категорий согласования (например, по лицу и роду). Но слово может иметь несинтаксические категории (число существительных, время глагола), выражающиеся аналитически (специальными служебными словами). Если аморфный язык определить как язык, не имеющий никаких служебных морфем, то в нем члены предложения, а также части речи (классы слов) различаются лишь особенностями сочетаемости. К такому состоянию близок язык китайских классических стихов. В изолирующих (не аморфных) языках, кроме порядка слов и служебных слов, отношения между словами выражаются аффиксальным словообразованием, и слово имеет формы, не связанные непосредственно с синтаксисом.

Несомненной заслугой И. И. Мещанинова является то, что он ввел в лингвистическую науку данные малоизученных (или вовсе не изученных языков), — сказала Н. И. Т е р е щ е н к о (Ленинград) в докладе «Грамматические категории глагола в самодийских языках». Типологические исследования разноструктурных языков свидетельствуют о разнообразии способов и приемов выражения в них одних и тех же или близких категорий. С этой точки зрения особый интерес представляет глагол. Необходимо в каждом языке устанавливать такие категории, которые являются исключительно глагольными; при этом нужно учитывать, что критерии выделения глагола в самодийских языках иные, чем в индоевропейских. В самодийских языках использование одних и тех же формантов в глагольных и именных формах затрудняет выделение категорий глагола, тем не менее к исключительно глагольным относятся такие категории, как видовая направленность, наклонение, залог.

О. Г. У л ь ц и ф е р о в (Москва) в сообщении «О некоторых особенностях выражения морфологических категорий в аналитических языках», пользуясь материалами современного литературного языка хинди, поддержал положение П. Я. Скорика о том, что флективность, агглютинация и т. п. являются лишь техникой выражения в языке системы его грамматических категорий. Малочисленность и однообразие морфологических форм в хинди привели к широкому полисемантизму и грамматическому оморфизму этих форм, реализующих свое значение только в синтаксисе. Это особенно отчетливо проявляется в глаголе, где практически все грамматические категории образуются сочетанием основного глагола с показателем времени, показателем залога, показателем аспекта, а также сочетанием этих компонентов. Некоторые из подобных синтаксических

структур могут морфологизироваться, что в конечном итоге приводит к образованию морфологических категорий чисто аналитическим путем.

В. М. Солнцев (Москва) в докладе «О некоторых свойствах морфологических категорий в изолирующих языках»<sup>1</sup> одну из главных черт изолирующих языков, в частности китайского, видит в том, что в них морфологические показатели не выражают синтаксических отношений между словами. Это определяет типологическую характеристику китайского и ряда других языков как языков изолирующих, обладающих особыми свойствами морфологических категорий. Категория может быть представлена несколькими формами, которые объединяются в несколько пар, в пределах этих пар формы противопоставлены по значению, но сами пары не противопоставлены друг другу. Особо рассматривалась роль нулевой формы и отношение ее к другим формам.

А. В. Бондарко (Ленинград) посвятил свой доклад классификации морфологических категорий, которые могут быть разделены на три группировки: 1) собственно морфологические классификации по характеру формообразования в его отношении к лексике, 2) структурно-синтаксические, 3) содержательные. Далее докладчик подробно рассмотрел различные аспекты этих трех видов классификаций на материале славянских, главным образом русского, языков. Установление отношения зависимости и независимости между типами, отметил в заключение докладчик, позволит перейти от совокупности отдельных классификаций к их системе.

О. Г. Ревзина (Москва) в докладе «Типологическое анкетирование» раскрыла цели и значение для типологических исследований использования анкеты «Грамматические категории», ранее уже примененной для единообразного описания по роду и классу языков различных систем.

Н. Д. Андреев (Ленинград), используя структурно-вероятностную методику, предложил типологию отношений между грамматическими категориями слова и его семантикой, положив в основу их анализа степень переходности/непереходности глаголов.

В докладе о глагольных категориях вида и залога в морфологической структуре слова тюркских языков Н. А. Баскаков (Москва) отметил, что эти категории выражаются как синтетическими, так и аналитическими формами, и их природа тесно связана с дифференциацией таких понятий, как лексико-семантический субъект (реальный исполнитель действия), грамматический субъект

(подлежащее) и тематический, или психологический субъект. В основе категориального вида и залога лежат отношения действия к лексико-семантическому субъекту, поэтому докладчик относит их к категориям словообразовательным, а не словоизменительным.

В докладе В. С. Храковского (Ленинград) и А. П. Володина (Ленинград) рассматривалась типология морфологических категорий глагола (финитного) в разноструктурных языках. Проанализированы типы наборов морфологических категорий в составе глагольной словоформы, порядки их следования и комплексы значений различных категорий, выражаемых в одной морфе.

М.-С. М. Мусаев (Махачкала) выступил с сообщением о морфологической структуре непроизводного глагола и категории вида в даргинском языке. Структура непроизводного глагола, представляющая собой совокупность корня и предкорневых основообразующих элементов, обусловлена наличием в даргинском языке категории грамматического класса, которая выражается префиксальными классными показателями, в свою очередь дающими возможность путем модификации морфологически выражать и видовое противопоставление.

А. Н. Жукова (Ленинград) подчеркнула, что для современных типологических исследований чрезвычайно важно упорядочение описаний конкретных языков; при этом данные, получаемые путем анкетирования, необходимо соотносить с исторически сложившимся комплексом представлений о грамматическом строе конкретного языка. Изучение иерархии грамматических категорий должно производиться не только в ряде сравниваемых языков, но и в каждом отдельном языке, причем в этом аспекте материалы языков чукотско-камчатской группы представляют несомненный интерес.

*Е. В. Пузицкий (Москва)*

\*

С 10 по 14 сентября 1973 г. в г. Горьком состоялось межотраслевое научно-техническое совещание по информационно-языковым языкам («ИПЯ-73»). Совещание было организовано Научным советом АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», НИИ прикладной математики и кибернетики при Горьковском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, Горьковским центром научно-технической информации, а также Горьковским областным советом НТОРЭС им. А. С. Попова.

На совещании обсуждались актуальные вопросы теории и практики построе-

<sup>1</sup> Доклад написан совместно с Н. В. Солнцевой (Москва).

ния и исследования информационных языков, лингвистической совместимости ИПЯ, различных методов автоматического индексирования, а также принципы построения тезаурусов.

В работе «ИПЯ-73» приняли участие ведущие специалисты в области информатики Москвы, Ленинграда, Горького, Киева, Перми, Тарту, Вильнюса, Таллина.

Участники совещания уделили большое внимание лингвистическим аспектам построения информационно-поисковых языков.

В. А. Моско в и ч (Москва) подчеркнул важность анализа соотношения информационно-поисковых языков и естественного языка. Типологии информационных языков, рассматриваемых как функциональные модели естественных языков, могут строиться на основании известных в языкознании традиционных типологий естественных языков. В докладе намечались пути построения информационных языков различных типов. В. А. Москович обратил особое внимание на необходимость разработки многоязычных информационно-поисковых систем (ИПС), которые найдут широкое применение для нужд патентного поиска.

Совместный доклад Г. Г. Бел о н о г о в а, Ю. И. Ш е м а к и н а, А. П. Н о в о с е л о в а, В. А. Ч и р к и н а, Б. П. Р ы б а к о в а (Москва) был посвящен автоматическому индексированию документов и запросов. В докладе излагаются результаты экспериментов по автоматическому индексированию рефератов документов и поисковых запросов на основе тезауруса научно-технических терминов (см. «Тезаурус научно-технических терминов» под общей редакцией Ю. И. Шемакина, Воениздат, М., 1972). Тезаурус включает в свой состав около 19 тыс. терминов и содержит сведения о парадигматических связях между ними.

Б. Н. Г о л о в и н (Горький) остановился на терминологическом аспекте проблемы информационного обеспечения. Докладчик отметил особую актуальность построения на терминологических ИПС, основывающихся на лексико-синтаксических структурах естественного языка (ЕЯ). В связи с этим, по мнению докладчика, представляется необходимым сосредоточить внимание лингвистов на лингвостатистическом и логико-понятийном анализе терминологических структур.

Несколько иной подход к построению ИПС на естественном языке был предложен Г. Э. В л э д у ц е м (Москва). Докладчик подчеркнул необходимость эксплицитного представления семантики естественных языков для последующего отражения семантических отношений ЕЯ в структурах информационно-поисковых языков.

Рассматривая развитие информационных языков в ретроспективе, Г. Э. Влэ-

дущ выделил два возможных подхода к построению ИЯ: 1) эмпирический подход, основывающийся на использовании языка ключевых слов; 2) логико-семантический подход, основывающийся на использовании логико-математических методов.

Н. А. С т о к о л о в а (Москва) рассказала о попытках построения идеальной модели функционирования ИЯ, эксплицитно представляющей основные понятия теории информационных языков. По мнению автора, изучение на этой модели парадигматических и синтагматических средств в процессе алгоритмического моделирования информационного поиска позволит «проектировать» информационные языки заданного качества.

Р. Ю. К о б р и н (Горький) остановился на проблеме лингвистической совместимости информационно-поисковых языков. Докладчик подчеркнул необходимость разработки единого ИПЯ для систем информационного обеспечения автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем научно-технической информации (АСНТИ), рассматриваемых в качестве функциональных подсистем АСУ.

А. И. Б о б р о в (Пермь) доложил участникам совещания о разрабатываемой лингвистической модели информационной системы «запрос — ответ», осуществляющей смысловые выводы. Подобные информационные системы являются прообразами информационно-логических систем, которые будут входить в качестве важной составной части в любые сложные автоматизированные системы управления. В разработке модели информационной системы автор исходит из той предпосылки, что теоретическое осмысление и практическая работа по созданию информационно-логических систем должна вестись в направлении от языковых фактов к постепенной логической интерпретации.

С. Я. Ф и т и л о в (Ленинград) рассмотрел два крайних типа ИПС: 1) ИПС с жесткой номенклатурой используемых понятий на базе логико-арифметических и алгоритмических входных языков (условно — ИПС анкетного типа), 2) ИПС фактографического типа на базе естественного языка (условно — ИПС глобального типа).

Несколько докладов было посвящено описанию конкретных ИПС. Б. А. А в д е е в и В. В. Б о р о д и н (Горький) рассказали об итогах разработки системы избирательного распределения информации «Сигнал». Э. И. К о р о л е в (Москва) в докладе «Обработка информации в автоматизированной ИПС по оптике» и Л. М. М о в ш о н (Москва) в докладе «Один подход к автоматизации индексирования научно-технических текстов с использованием аппликативной грамматики» предложили различные под-

ходы к построению ИПЯ — подход, основывающийся на использовании так называемых лексических ИПЯ без сложных грамматик, и подход, связанный с использованием в ИПС унифицированных грамматических отношений естественного языка.

А. К. Хелемяэ и И. Г. Куллер (Тарту) доложили участникам совещания об итогах разработки формализованного языка для юридических документов. Л. М. Шурухт (Таллин) рассказал об автоматизированной системе информационного обеспечения распределения, обмена и перераспределения жилой площади (АСИОРЖ).

Доклады В. Ш. Рубашкина и А. В. Соколовой (Ленинград), Г. Г. Воробьева (Москва) были посвящены фасетно-блочному принципу построения тезаурусов, а также использованию методов и подходов современной документалистики для анализа типов тезаурусов.

На совещании были прослушаны также сообщения Л. С. Соколовой и В. В. Фармаковского (Горький) «Бионические подходы к построению ИПС», В. К. Вахובהва (Пермь) «Комплекс семантических средств для отраслевой АСНТИ», Т. В. Мурановского (Москва) «Сравнительный анализ возможностей различных типов ИПЯ», В. Н. Миронова и Л. Д. Углева (Горький) «Системно-структурный подход к типологии информационных языков», А. Б. Антопольского (Москва) «О принципах полуавтоматизированного создания семейства ИПЯ для спе-

циализированной ИПС», Н. Н. Леонтьевой (Москва) «Этапы построения информационной записи документа».

Межотраслевое научно-техническое совещание «ИПЯ-73» отметило в своем решении, что исследования, проводимые по совершенствованию структуры информационных языков с целью приблизить их семантическую силу к выразительным возможностям естественных языков, имеют большое значение для разработки следующего поколения автоматизированных информационных систем фактографического и информационно-логического типов, которые должны использоваться в автоматизированных системах управления.

Учитывая распространенность терминологических словосочетаний в терминологиях различных отраслей науки и техники, совещание обратило особое внимание на важность разработок и внедрения ИПЯ, в которых наряду с однословными терминами широко используются терминологические словосочетания. В этой связи совещание рекомендует более широким фронтом развернуть работы по изучению терминологических словосочетаний.

«ИПЯ-73» отметило первостепенную важность консолидации усилий научных коллективов, занимающихся теоретическими исследованиями в области проектирования ИПЯ, для успешного решения проблемы создания единой системы научно-технической информации в стране.

*Р. Ю. Кобрин (Горький)*

## CONTENTS

**Articles:** R. A. B u d a g o v (Moscow). The category of meaning in different trends of contemporary linguistics; G. A. K l i m o v (Moscow). Friedrich Engels on the criteria of the linguistic identification of a dialect; **Discussions:** J. K r a u s (Prague). On the general problems of sociolinguistics; V. K. Z u r a v l e v (Moscow). Genesis of akanje from the point of view of the neutralisation-theory; Y. N. K a r a u l o v (Moscow). Some lexicographic patterns; V. M. Z i v o v (Moscow). Problems of syntagmatic phonology in the light of phonetic typology; V. B. K a s e v i ċ (Leningrad). On the perception of speech; **Materials and notes:** C. E. B a z e l l (London). Marginal phonetic laws; E. I. C a r e n k o (Donetsk). On the phonological system of Proto-quechua; R. Z. M u r i a s o v (Ufa). Some problems of derivational word-structure; I. G. D o b r o d o m o v (Moscow). Reflexes of two varieties of rhotacism in Bulgar loans from Slavonic languages; A. A. D e m e n t i e v (Kuibyċev). On the so-called «interfixes» in Russian; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** R. A. B u d a g o v (Moscou). La catégorie de signification dans les différents courants de la linguistique contemporaine; G. A. K l i m o v (Moscou). Friedrich Engels sur les critères de l'identification linguistique du dialecte; **Discussions:** J. K r a u s (Prague). Problèmes généraux de la sociolinguistique; V. K. Z u r a v l e v (Moscou). La genèse de l'akanje au point de vue de la théorie de la neutralisation; Y. N. K a r a u l o v (Moscou). Sur quelques régularités lexicographiques; V. M. Z i v o v (Moscou). Problèmes de phonologie syntagmatique à la lumière de la typologie phonétique; V. B. K a s e v i ċ (Léningrad). Sur la perception de la parole; **Matériaux et notices:** C. E. B a z e l l (Londres). Lois phonétiques marginales; E. I. C a r e n k o (Donetsk). Sur le système phonologique du proto-kiċua; R. Z. M u r i a s o v (Oufa). Quelques problèmes de la structure dérivative du mot; I. G. D o b r o d o m o v (Moscou). A propos de deux variétés du rhotacisme dans les emprunts slaves faits au bulgar; A. A. D e m e n t i e v (Kouibyċev). Sur les prétendus «interfixes» en russe; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Шеленкова*

Сдано в набор 29/IV-1974 г. Т-12209 Подписано к печати 24/VI—1974 г. Тираж 7200 экз.  
Зак. 584 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Уч.-изд. л. 15,5

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10